

СОДЕРЖАНИЕ

Страница главного редактора3

НЕИЗВЕСТНАЯ КЛАССИКА

Илья Сургучев

Ротонда (окончание)..... 9

ПОЭЗИЯ

Алла Мельник-Халимонова

Стихотворения.....5

Елена Иванова

Стихотворения..... 131

Владислав Бударин

Стихотворения..... 141

ПРОЗА

Геннадий Рытченко

Сергей Скрипаль

Два друга Повесть..... 147

Валерий Бродовский

Обманутая женщина желает..

Рассказ 219

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексей Кругов

Не более чем миф 255

Николай Маркелов

Ужасный край чудес! (окончание)..... 265

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Иван Подсвилов

Провинция и столица 301

Сведения об авторах..... 319

Главный редактор альманаха
«Литературное Ставрополье»
В. БУТЕНКО



Литературное

Ставрополье

№ 1 (2016)



© Правительство
Ставропольского края

ББК 84 (2 Рос = Рус) 6
УДК 821.161.(470.630)-8
Л 64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, А. Куприн,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова,**

**Л 64 Литературное Ставрополье. Альманах. –
Ставрополь. 2016 г. № 1 .**

Адрес редакции:
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел.: (8652) 26-31-50
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Технический редактор: Ю. П. Шаталов
Дизайн, верстка: А. П. Черкашина

Сдано в набор 05.05.2016. Подписано в печать 05.06.2016.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ № Тираж 979 экз.
ЗАО «Минераловодская типография», г. Минеральные Воды,
ул. Фрунзе, 33, тел.: 8 (87922) 7-67-17.

ISBN 978-5-905831-15-7

Завещание мастера

В минуты душевной смуты или раздумий, радуясь или грустя, я, как и многие горожане, привык бродить по Ставрополю. И всякий раз необоримо тянет меня к Кафедральной горке, месту, по ощущению моему и убеждению, совершенно особенному, священному, исцеляющему неведомой энергетической силой. Многое связано здесь с историей города, с пребыванием в нем великих людей. В давние времена на вершине этого холма первозданно красовался Казанский собор, разрушенный в период большевизма. Позже взорвали и колокольню по распоряжению партийца Сулова, а неподалеку предали земле генерала Апанасенко, увенчав его могилу чудовищным языческим каким-то саркофагом. Еще через несколько лет вблизи захоронения соорудили ресторан с названием «Горка», где увеселениям предавался советский люд. Впрочем, в подножье холма располагался памятник Сталину, напоминая всем и каждому, кто в мире хозяин. Рухнул и сей монумент! И когда у властей возникло решение возвести мемориал в память о Великой Отечественной войне, то другого выбора, конечно, не было. И теперь к Вечному огню, сменив фронтовиков, великих защитников Родины, с их портретами и цветами тянутся колонны «Бессмертного полка». И сызнова возрожден здесь и освящен Казанский собор!

Всё это беря во внимание, разве можно предположить, что в каком-



Страница главного редактора





то ином районе Града Креста мог родиться его самый знаменитый и преданный сын? Нигде иначе, как у восточного склона Горки, ровно сто тридцать пять лет назад, в доме всеми уважаемого купца появился на свет Илья Дмитриевич Сургучев. Теперь вряд ли удастся разузнать подробности о его детстве, об интересах и предпочтениях. Несомненно одно: с младых лет проникся он верой и мудростью православия, еще с юности был озарен благодатным светом русской словесности.

Безусловно, накануне крушения Российской империи Сургучев был самой популярной личностью в губернской столице. Судьба ровно на десять лет вознесла его на отечественный литературный Олимп! Редкое трудолюбие принесли молодому литератору быстрый успех, а после постановок в Малом театре и во МХАТе пьес, – всероссийскую славу и весьма солидный достаток. Примечательно, что большинство произведений тогда Илья Дмитриевич написал в родном городе, лишь ненадолго выезжая по издательским делам. Критики и читатели поставили его имя в один ряд с классиками!

Но грянул Октябрьский переворот, огненным палом прокатилась гражданская война... Отъезд Сургучева, очевидца и автора статьи о зверствах большевиков, был неизбежен. И начались годы эмиграции, полуголодного существования, случайных заработков и одиночества. Невероятно, но крепость духа, талант писателя и его дар человечности, не только не оскудели, а наоборот, обрели размах, глубину и мощь гуманизма. Тому свидетельство – публикация романа «Ротонда».

В суете компьютерного века мы, ставропольские литераторы, нередко забываем, чьими наследниками являемся. О великом служении народу и его литературе, ставшем для Ильи Дмитриевича смыслом жизни, необходимо помнить всечасно и незыблемо. Ведь для творческого человека – это святая святых. Слова Горького, когда-то обращенные к Сургучеву, и поныне важны для каждого из нас: **«Вы – большой поэт, дай Вам боже сил, здоровья и желаний!.. Ведь трудно быть русским человеком, – ведь это мучительная позиция на земле, и, мне кажется, как ноет Ваша душа – трудно! И хочется сказать Вам тоже по душе – ничего! Трудно, а и почетно, интересно же...»**

В ненастной мгле лихих
 десятилетий
 Тепло сердец поможет сохранить
 Такой непрочный мир, соединить
 Все то, что здорово, как цветы
 в букете.

И ярче жизнь от радостных
 соцветий,
 И горячей далекие огни.
 Скажи об этом, стих мой! Зазвени,
 Как колокол вселенских
 многолетий.

Восславь же красоту людских
 сердец!
 Любви сосудом их создал Творец.
 Любите ближних – будете, как
 дети.

Хоть Истина для многих далека,
 Любовь одна всегда, во все века –
 Исток воды живой на этом свете.

Мелодия

Из глубины души, как лучик
 ранний,
 Возникло звука чистое сиянье,
 И голос зазвучал – все
 многогранней,
 Все ярче, будто Неба дарованье.

Мелодия жила и наполнялась
 Высоким смыслом богооткровенья,
 И все живое чуду удивлялось –
 Рождению от звука песнопенья.



**АЛЛА
 МЕЛЬНИК-
 ХАЛИМОНОВА**

Поэзия





На свете нет предназначенья выше,
Чем славить Бога сердцем и устами.
И Бог Вас обязательно услышит,
Благословит и вечно будет с вами.

За прошлое цепляясь, пальцы в кровь
Ободрала. Зачем, скажи на милость?
Оно ушло и больше не приснилось.
Но в нем осталась первая любовь

И дорогие верные друзья –
Все то, чем счастлива была когда-то.
На сумрачных тропинках бытия
Живу теперь лишь тем, что сердцу свято.

Себе оставлю я молитвы вздох,
Мелодию строки и свежесть утра,
И мысль о том, что мир устроен мудро
И, если вдуматься, не так уж плох.

Дивеево

Хожу по земле, о которой радел и молил
Саровский подвижник. Мне здесь хорошо, будто дома.
И каждая тропка в Дивеево сердцу знакома.
Мне близок уклад этой жизни. Хватило бы сил.

Я сплю по четыре часа, чуть забрезжит – встаю,
Спешу в монастырь, совершенно не чувствуя лени.
Пред ракой святого с молитвой склоняю колени,
Прошу: «Чудотворче, услыши молитву мою».

И кажется, все изменяется в жизни моей,
И батюшка смотрит с иконы с любовью и строго.
Молюсь за любимых своих: за семью, за детей,
А он говорит: «Не ропщи и надейся на Бога».

Сумеешь с молитвой все беды свои одолеть.
Пройди по Канавке, взывая к Царице Небесной,
И ты не заметишь, как мир твой, простой и телесный,
Покажется душным и темным, как тесная клеть.

И Небо откроется, с детства зовущее нас,
К высотам духовным, ликуя, душа устремится.
И станут родными паломников светлые лица.
Молись и проси, чтобы пламень души не угас!»

Я здесь, чудотворче. Как важно не выплеснуть мне
Все доброе, то, что с огромным трудом накопила,
Когда появилась в душе моей радость и сила,
И яркий сверкающий лучик забрезжил в окне.

Я счастлива очень. Спасибо, саровский святой,
За строгость твою, за молитвы и за наставленья,
За добрый совет, по-отечески мудрый, простой,
Но душу ведущий из мрака к высотам спасенья.

Зерно

Зерно упало в землю, и росток
Проклюнулся и к свету потянулся,
И каждый появившийся листок,
Стряхнув дремоту, солнцу улыбнулся.

И скоро стало зелено вокруг.
Окрасив небеса зарей румяной,
Взошло Светило, озарило луг,
Лучами заструилось над поляной,

Согрело поле. Так из года в год
Тянулись к свету, прорастая, зерна.
Благодаря за бережный уход,
Боролись с непогодами упорно.

Упало в землю малое зерно,
Но плод богатый принесло оно.



До встречи

Ты пишешь: «До встречи!»
Конечно, любимый, до встречи.
Я очень скучаю.
Как будут тянуться мгновенья!
Я слышала часто,
Что время по-своему лечит,
Но время разлуки, как пытка,
И нет утешенья.

Я мысленно рядом.
Я чувствую прикосновенье,
Тепло твоих пальцев.
Я вижу тебя каждый вечер.
И каждую ночь
Ты приходишь в мои сновиденья,
Но утро все рушит.
До встречи, мой милый, до встречи.

Как хочется в ясном сиянии
Глаз раствориться,
Почувствовать Небо
И солнышка блики родные.
В глазах твоих искорки света
Горят озорные.
Я их замечаю, хоть ты
Опускаешь ресницы.

Я так благодарна тебе,
Мой хороший! До встречи!
Слова твои счастьем легчайшим
Ложатся на плечи.

Ротонда¹

Роман

XXII. Вера

Нам подавал лакей, которого звали Киндер-Лимон. Притащив ведерко со льдом и слегка запыленную бутылку шампанского, Киндер-Лимон был явно смущен. Он умел налить кофе, смешать амер-пикон с кассисом, открыть капсюльку воды Перье, но служить шампанским ему, видимо, никогда не приходилось. Развернув круглый штопор, он пытался поддеть его под проволоку, и Рауль, увидевший это, позеленел от злости и срама. Как коршун, он бросился к Киндер-Лимону, вырвал у него из рук священную бутылку, ловко запеленал ее в салфетку и, сохраняя на лице независимый вид, отвернул свинцовую пломбу и осторожно, нажимом большого пальца, начал давить на пробку до тех пор, пока не раздался звонкий, теноровый выстрел, который предшествует появлению острова того газа и той шипящей торопливой струи, которая льется в стакан снежным комом.

¹Окончание. Начало № 4 2015 г.



**ИЛЬЯ
СУРГУЧЕВ**

Неизвестная классика





Этот буржуазный и слегка торжественный шум обратил на нас всеобщее и слегка насмешливое внимание. И я не знаю, что случилось бы с Раулем, если бы в его череп могла заползти мысль, что драгоценный, великий напиток, сливки вина, украшение правого берега, льется в горло людей, все наличие которых состоит из суммы в семь франков.

В то же время меня охватил задор. С магнетической силой в меня вселилась вера, та вера, которая движет горами. Вино будет оплачено. Деньги откуда-то придут! Не могут не прийти! Эти мысленные восклицательные знаки были ростом в телеграфный столб. Передо мной сидят молодожены, которых любовь вела по прихотливым тропам. Они только что пришли из мэрии и на канцелярские пошрины и гербовые марки издержали все, что у них было. Молодая держит в руках маленький и уже слегка промаслившийся сверток – ее свадебный пир: кусочек сыру или ветчины. Перед тем, как лечь спать не на прежних лежачих, а уже на солидно-супружеских основаниях, когда не страшно даже зачатие, ей будет не хватать того возвышенного коронационного тумана, который создается шумом свадьбы, блеском церковной люстры, латинской речью, росписями в графах торжественных книг, цветами, шелестом крахмальной фаты, наличием тонкой и самой дорогой в жизни рубашки. Как же не устроить ей пира? Как не вспомнить Каны Галилейской?

И я ощущаю высокое веление: не заботься ни о чем, отгони всякие сомнения, устрой этим спаровавшимся голубям пир, развесели и ободри их добрым, веселым и благородным вином. Все устроится добро и зело, и ты уйдешь из этого дома непорочным. Как когда-то вода превратилась в вино, так желтые почтовые расписки и вырезки из газет превратятся в твоём кошельке в деньги. Веселая, радостная вера

зажгла огнем все существо мое, и я б в этот момент принял любое пари. И потому мне были невероятно смешны благоразумные речи Петрова.

– Ох, – сказал он, кряхтя, – вы очень уверены в том, что у вас в кармане есть достаточно денег, чтобы погасить огонь счета?

– Дорогой Петров! – ответил я. – В этом заведении принимают в уплату квитанции на заказные письма.

– Ох! – продолжал Петров наставительно. – Не забыли ли вы кошелек дома, на комод? Рауль – благ и мягок, но когда дело коснется денег, он – тигр.

– Петров! Вы думаете, что он будет бить меня за неплатеж?

– В демократических республиках лупят за неплатеж сильнее, чем в странах с самодержавным режимом, – ответил Петров, – и все-таки я думаю не о битье, а о воплях и скрежете зубовном, что одинаково неприятно.

– Ваше здоровье, Петров, – сказал я и, повернувшись, крикнул: – Мсье Рауль, еще бутылку!

Как духовая музыка веселит отставную кавалерийскую лошадь, так мое требование возвеселило Рауля. Ему давно осточертели кафе-кремы в полтора франка. В его голове мгновенно пронеслись воспоминания о Максиме, у которого он начинал карьеру, о довоенном размахе жизни, о русских барах...

– Господа! Неслыханное происшествие! Рауль улыбается! – громко прошептала «Ротонда». – Художники! Навострите карандаши и увековечьте улыбку Рауля! Рауль улыбается, как виктория-регия, один раз в году!

Рауль, пренебрегая шепотами, пришел с новой бутылкой и скромно сказал:

– Я вам сейчас продемонстрирую другой способ откупоривания. У старого Максима это называлось «звон Реймского собора».



Про Рауля говорили – и он с гордой скромностью никогда этого не отрицал, – что в его жилах течет благородная кровь, наследие прав первой ночи. Я вспомнил об этом, взглянув на его длинные, нежные нервные пальцы, которыми он, с изящной легкостью, снял проволочную коронку и, как бы шутя, прикоснулся к пробке, и потом с уверенным терпением фокусника стал ожидать результата. Было видно, как в бутылке забурлили какие-то проснувшиеся силы, и спустя мгновение пробка вылетела пулей и упруго ударилась в полотняную крышу террасы, на мгновение образовав конус палатки. Взвилась белоснежная струя, похожая на ракету, и тут мы поняли, в чем заключалось великое искусство Рауля. Заранее приготовленным стаканом он изловил струю на лету и, собрав ее в стекло, как в рог изобилия, придворным жестом поднес нашей даме. Струя шипела и, обессиливаясь, отстаивалась, снизу вверх, в золотую винную влагу.

– Рауль! Ваши предки жили при Версальском дворе! – воскликнул я.

Рауль сделал на лице взволнованное выражение, означавшее: «Об этих вещах не время и не место говорить», и с достоинством потомственного жантийома ответил:

– Пейте вино сейчас же. Вы имеете редкий шанс услышать первичный запах вина, летавшего по воздуху. Это называется – крылатое вино.

Мы поспешно выпили и единодушно соврали, что первичный запах был слышен отчетливо. Рауль был счастлив и прошелся вдоль террасы, заложив руки назад и слегка приподымаясь на носках, что придало ему усиленный вид утонченности и элегантности.

Петрова же явно мучил дух Фомы Неверного. Казалось бы, какое ему было дело? Тебя угощают вином – пей, потом бери свою молодую жену, веди ее домой и будь счастлив. Нет, ему хотелось вложить персты в мои раны.

– Две бутылки вина стоят, по меньшей мере, сто двадцать франков. Суммочка по нашим временам невредная.

Не обнаруживая раздражения, я обратился к Раулю.

– Добрый друг, – сказал я, – звон Реймского собора показался нам величественным. Поставьте в лед еще один флакон.

Петров подавал свои реплики по-русски, и их не понимала его молодая жена. Она наслаждалась пиром, солнечной террасой, вниманием, которое мы к себе привлекали, прекрасной службой Рауля. День ее свадьбы не оказался будничным, во всем был виноват добрый дядя, посланный с неба, и она посматривала на мужа влюбленно, а на меня – благодарно. Вино уже ударило ей в мозжечок, движения и жесты слегка потеряли нормальные пропорции. Цвет глаз стал синее, и веерообразные подкрашенные ресницы казались лучиками веселья и довольства.

– У меня не блестит нос? – спросила она нас обоих и, настроив перед подбородком зеркальце, попудрилась отрывистыми движениями и посмотрела на себя сначала левым, потом правым глазом. Проверив силу лица, она плотнее натянула на ухо блинчик берета, закруглила окончание спадавшей на щеку завитушки, положила ногу на ногу, явно желая блеснуть линией подъема и венчальным, открывшимся в три четверти длины, шелковым тугим чулком. Потом приступила к самому главному: достала столбик помады, усилила сердечко, нарисованное на губах, и у меня создалось впечатление, что у нее от этого прибавилось электричества. Стало ясно, что сейчас нужно бы вызвать сильный и верный автомобиль и покружить ее вдоль озер Булонского леса, и тогда она покажется самой себе принцессой, утопающей в роскоши, и этого хватит ей на много месяцев, до тех пор, пока не станет ясно, что Петров – скучен, уныл и бездарен.



Меня все больше и больше охватывало неудержимое веселье, и со стороны могло показаться, что жених – я, а не Петров. Мы с Люль два раза спели веселую и модную песенку, которую на парижских улицах трогательно насаждали гармонисты, я вторил ей в терцию, иногда сочиняя собственные вариации, а у Петрова в глазах скользило то, что французы называли необыкновенно удачным словом «angoisse». Теперь я уже отдал бы любую руку на отсечение в уверенности, что не только будет оплачен счет, но что мы еще будем и обедать, и кататься по Булонскому лесу. Петров же, в тайный ответ на эти мысли, вдруг судорожно вздохнул и сказал:

– Ох, мама, мама, мама... Какая дпрр... ама, ама, ама!

И, наклонившись ко мне, добавил:

– А не отправить ли нам Люль домой?

Это я благодарно оценил: Петров не хотел оставить приятеля в тяжелый момент и решил вместе со мной броситься в пасть льва.

Но я ответил:

– Дорогой друг! Вино, как отличный аперитив, разбудило аппетит, и мы еще пойдем есть устрицы и обедать. Не так ли, Люль?

Люль захлопала в ладоши, подняв их в уровень лица.

– Отдайте же ваш ужин вон тому старику! – добавил я.

Около столов, бросая тайно-просительные взгляды, прохаживался сгорбленный, в широком костюме с чужого плеча и в чаплиновских ботинках, нищий. Глазами он прощупывал то Рауля, то отверстие метро, из которого могла появиться полиция. Сверточек от Люль он принял, мечтательно глядя на вывеску.

«Господи! – тайно воззвал я к небу. – Неужели же Ты еще не превратил почтовые квитанции в деньги?»

Раскрыв бумажник, я увидел, что в том отделении, в котором обыкновенно хранились деньги, по-прежнему не было ничего, а с почтовыми квитанциями, визитными карточками, вырезками из газет ничего сверхъестественного не приключилось.

В это время Киндер-Лимон подал мне записку, свернутую, как аптекарский порошок.

«SOS! – писал мне кто-то. – Вы пьете шампанское и бросаете на ветер деньги. Что стоит вам прислать два франка человеку, который сидит здесь за чашкой кофе с утра и не может сняться с места потому, что заплатить нечем? Отекли ноги, в икрах – уже судороги. «SOS!»

Достав последние два франка, я передал их Киндер-Лимону. Через минуту он доставил мне послание второе.

– Начались ротондские штучки! – проворчал Петров недовольно и постучал пальцами по столу.

XXIII. Deus ex machina

– Почему же вы не читаете записки? – спросила Люль. – Может быть, там еще сидит бедняк, взывающий о помощи? Неужели в такой счастливый день мы откажем ему? Ведь кто-то собирается есть устриц и пулярку с рисом, а?

В желаниях женщины всегда есть что-то божественное. Я развернул записку.

«Вот уже час целый сажу в глубине кафе, – так начинались первые строки, написанные знакомым извилистым почерком, – и наблюдаю за тобой, как ты чертишь (от слова: черт). И когда на тебя придет укорот (от слова: укротить). Ты что? Разбогател? Шампанское, як брагу, хлыщешь. Каждый день печатал в газетах объявления, взывая к тебе. Сегодня решил самолично пойти в твое логовище. И накрыл! Теперь от меня уже черта с два ускользнешь. Думал



одно время, что ты подох, сыграл в ящик, утонул, удушился, и не обрети я тебя сегодня здесь, завтра бы нанес визит в морг. Не желая нарушать вашей честной компании, прошу подойти ко мне на пару слов. Дениз вышла замуж, и ты получил гарбуза, с чем вашу милость и поздравляю толстым концом и обратно». «В яви чудо совершается», подумал я словами хора из «Царя Салтана» и словами же оттуда сказал Петрову:

– Покажи нам, месяц ясный, лик директора прекрасный.

Петров фыркнул, ничего не понял и явно встревожился, когда я сделал первое движение, чтобы встать из-за стола. Говоря ротондским языком, Петрову показалось, что я хочу дать ходу и оставить его одного для расплаты за пир. Он знал ротондские штучки и вторые двери.

До сих пор все для него было ясно, и только теперь начинались запутанности.

– Петров, – сказал я, – вы можете сопровождать меня, если хотите.

Петров покраснел, покачал ногой и неярко улыбнулся. Этот жест поняла и Люль, насторожилась, придвинулась к мужу, и в глазах ее промелькнула трезвая, холодно-вопросительная искорка.

Директор сидел под большой картиной, изображавшей русскую тройку и бравого ямщика. Лошади были деревянные, снег – деревянный, вожжи – деревянные, полость – деревянная, и поцелуй парочки казался ударом топора по дереву. Директор кушал лимонный сок, засыпая его сахаром. При моем приближении он бросающим жестом протянул обе руки ладонями вверх. Потом по-актерски подставил мне щеку для поцелуя, обдал запахом сигарного табака и усатина и спросил:

– Из каких источников ты разбогател? Ты сделался придворным артистом шаха персидского?

– Хуже, – ответил я, хватая быка за рога, – я продал душу черту.

– Нет! – с восхитительным раскатом, переходящим от «е» к «э», воскликнул директор. – Скажи мне скорее адрес, и я сам побегу в этот ломбард! Я печатаю объявления в газетах, трачу состояние, а он в это время вводит черта в невыгодную сделку. На кой ляд ему твоя душа, не холодная и не горячая, ко всему на свете равнодушная, ленивая, неповоротливая, ничего не желающая и ничего не желающая? Итак, кроме шуток. Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать?

– Ездил в Антверпен.

Директор сдвинул шляпу на затылок и, сморщив нос, вставил в орбиту плохо протертый монокль.

– Ты видел Дениз?

– Я видел ее жениха, табачного принца. И взял с него отступного. Дал слово, что никогда больше не буду пытаться видеть Дениз, навсегда исчезаю с горизонта, уйду в смертную тень и вообще больше счастьем не помеха.

– Ну и сколько? – жадно спросил директор и придвинул локти на середину стола.

– Пять тысяч в месяц пожизненной ренты. Плохое, скажешь, дельце?

– Ничтожество! – воскликнул он, с ненавистью глядя мне в глаза.

– Мразь, торгующая чувствами! Альфонс! Дурак! Самая маленькая цена этому делу – десять тысяч, а не твои бездарные пять!

– Знаешь, – смиренно сознался я, – когда заглушаешь совесть вином...

– Смотрите, люди добрые! – воскликнул директор. – Какой Навуходносор, царь Вавилонский, выискался! Он заглушает совесть вином! Какие бурные страсти, шекспировская трагедия! Институточка в белой пелеринке! Вином ничего сделать нельзя! Пропишись, и снова ногти в сердце. Совесть, плач души,



заглушается только бурями искусства. Возвращайся в театр, в свой край родной, в свою стихию, садись за пюпитр, бери свою палочку и действуй. Будут врать скрипачи, гобои, тромбоны, – какая радость сделать им отеческое внушение! Перемежка тактов, капризы ритма, запрещенные голосоведения, стихия звука, сплетение его окрасок и разновидностей, первая скрипка и маленький барабанчик, очарование точно поданного вступления – вся эта волшебная работа в темном дневном театре, электрические пятна над пюпитрами, жизнь человеческого лица, подчеркнутые морщины, круги под глазами, испарина на лбу, ослабевшие узлы галстуков, глаза, напряженно ожидающие твоего императорского указа, – что это тебе? Японская хурма?

– Ты – поэт! – с нарочитой и как бы сдающейся теплотой голоса сказал я и сразу увидел, как в глазах директора мелькнула хитрая мысль: «Размяк, подлец. Сейчас я тебя прихлопну».

Но мышь понюхала приманку, обвила тельце хвостиком и присела в раздумье.

– Все это так, и я люблю тебя, – продолжал я, расставляя свою сеть. – Но ведь ты же жмот, ты всегда старался выжать меня, как вот этот лимон, и это недостойно твоего коммерческого таланта. От тебя так и прет комбинациями, Одессой, кафе Фанкони.

– Дорогой мой! Ну зачем эти кислые слова? Мы всегда найдем точки соприкосновения.

– Тогда выкладывай тысячу аванса.

– Помахай вот так пальчиком тысячу раз – и то устанешь, – уклончиво сказал директор. – И на что тебе деньги, раз теперь их у тебя куры не клюют?

– Деньги деньгами, а порядок – порядком.

Меня нерешительно окликнули сзади. Обернувшись, я увидел Петрова. Из своего обеспокоенного и бледного лица он старался выкроить беспечную, светскую улыбку. Он помахал мне пальчиками, ухмыль-

нулся и фальшиво сладким голосом сказал: «Ваши друзья по вам соскучились». Петров был взволнован, и это волнение меня радовало. Я уже знал, что директор выдаст мне тысячу, и если бы мне были нужны сейчас сто таких тысяч, то все равно они откуда-то пришли бы. Я выигрывал у судьбы необычайно приятную и напряженно-рискованную ставку.

– Ну ладно, – сказал директор и, округлив локоть, грузно залез в свой внутренний карман. – Пользуйся моей добротой и отсутствием времени! – И командующим, хозяйским тоном добавил: – Но завтра, в час дня, в театре! Две вещи нужно транспонировать на полтона: у Васеньки после свадьбы ослабла глотка и ля пропало. Думаю, что это явление временное. Бери! Расписки не требую! Вера в человека.

И когда я с этой тысячею подошел снова к своим друзьям, то мне казалось, что уличные фонари, только что зажегшиеся, горят ослепительными солнцами, что трамваи звенят пудовыми колоколами, что на Рауле надет расшитый золотом костюм венецианского посла, что за столиком сидит не касирша Люль, а Джульетта. Весь мир преобразился и засверкал невиданными счастливыми красками. И только один Петров был мрачен: хмель, даже от шампанского, действовал на него угнетающе. Он смотрел исподлобья, как бык, собирающийся взять кого-то на рога. На висках у него пульсировали толстые, голубоватые жилы, – и от этого казалось, что в голову Петрова забрались недобрые мысли. Когда я расплатился, и мне на сдачу принесли целую тарелку денег, Петров облегченно вздохнул, но не повеселел. Мне уже было нерадостно, что я навязался еще с обедом и прогулкой по Булонскому лесу. Но у Люль ноги ходили под столом, и когда мы встали, она взяла меня под руку, и Петров отошел в сторону, обиженно надувшись, и издал сказал:



– Я становлюсь собакой, заболевшей насморком. Я – старая телятина. У меня до сих пор был один бесспорный талант: чувствовать деньги на расстоянии. Сидя в кафе, я тайком обнюхивал вас, и воздух не принес мне запаха даже одного заваливающего сантиметра. История с шампанским казалась мне сумасшествием. И это в то время, когда у вас в верхнем жилетном кармане лежала высшая бумага! Я – конченный человек. Отправьте меня на живодерню. Я ничего не сделаю на этой земле под этими глупыми небесами!

Мы обедали, и я с любопытством смотрел на Люль, как она, с французским сладострастием, втягивала в себя нежную зелень устриц. Свет фонаря пронизывал насквозь деревья, и были видны насквозь все ниточки листьев. Я давно уже не ел, как следует, и мне странным казалось обилие рыбы и мяса, чистота судков, накрахмаленность салфеток и скатертей, нежные корзинки для красного вина, запах хорошего, обильно засыпанного кофе.

Автомобиль промчал нас в лес. Около озер мы слезли и пошли пешком. Пахло пресной водой, из ресторана на островке слышался змеиный свист гавайских гитар. И когда сели на скамейку, я взглянул на Люль. Она сняла берет и, забыв обо всем, расширенными, чуть блестящими глазами, смотрела перед собой задумчиво и чисто. Была ли в ней тайная молитва, прислушивалась ли она к той будущей жизни, которую ей суждено было выносить и дать, но в ней, единственной среди нас, была слиянность с землей, с водой, с лесом, с сонными птичьими голосами, и казалось, что молодой месяц выплыл на правой стороне неба только для нее. Иногда сзади нас тихо и уютно шуршали автомобили с двумя силуэтами у руля, прошел сторож с фонарем и собакой, изредка ударял крылом по воде заснувший лебедь.

Воспользовавшись молчанием, Петров счел нужным сделать ко мне маленькое обращение.

– Когда напьются пьяными хохлы, они поют песни, – сказал он. – Когда напьются пьяными великороссы, они ищут предлогов для драки.

– Дальше что? – спросил я удивленно.

– Пушкин верно заметил, что русские – ленивы и нелюбопытны, – продолжал Петров мрачно.

– Приемлю смелость добавить еще одну национальную черту: мы неблагодарны.

– Слушайте, Петров, – возразил я, – вечер прекрасен, воздух легок и душист, всюду покой и тишина...

– Нет, черт возьми! – вдруг разгорячился Петров. – Вы на прекрасном вечере не отъедете! Скажите, пожалуйста, русские были благодарны создателям их великолепной империи? Русские не думали, что хлеб и мясо падает им с небес? И какой-нибудь бородатый дядя, писавший в толстом журнале внутренние обозрения, обличавший ежемесячно станковых приставов и урядников, не казался нам выше и значительнее, чем человек, налаживавший в это время денежное обращение? И потом эта проклятая склонность к критиканству. Возьмите войну, например. В штабе полка критиковали штаб дивизии, в штабе корпуса – штаб армии, в штабе армии – ставку... И так далее, и так далее... Эх!

– Вы это, собственно, к чему, – спросил я, чувствуя, что в словах Петрова кипит тайная и недобрая, ко мне подбирающаяся мысль.

– Я к тому, что в кафе я не понимал, для чего было поить меня и кормить? Я хочу расшифровать ваши тайные цели. Вы думаете, я их не вижу? Вам понравилась Люль, и вы, как стареющий пес, обнюхиваете наше счастье...

Люль, услышавшая свое имя, насторожилась и сказала:

– Вы знаете, Петрову нельзя пить. Он делается шумным и беспокойным. Пьеров! Идем! Мы еще успеем на метро.



Оставшись один, я просидел у озера до утра и увидел, как на рассвете отчаливали от ресторана плоты с нарядными и веселыми людьми, слышал возбужденный женский смех и медленный плеск весла. Высунув головы из-под крыльев, проснулись лебеди и спросонку удивленно посмотрели вокруг себя. От первого ветра шелковисто поморщилась вода. Как камень, свалился с дерева воробей, упал на берег, укоризненно взглянул на меня и решительно выкупался в песке.

XXIV. Рай

Сдержанная, высокаторжественная поступь, гордый поочередный подъем передних ног и шалеры мускулов, шелковистый блеск шерсти и почти шпорное цоканье серебряно-железных подков, чувство ритма и раздувающиеся ноздри, спортивно-задорный удлиненный глаз, боковой скат гривы, послушное понимание вожжей, гамма перехода от шага в рысь и от рыси в шаг – сколько было в этом прелести и очарованья!

Силуэт кареты, высоко поставленной на колеса из легкого обруча с тонкими лакированными спицами и конус отблеска в них, фонари с подрубленным в краях зеркальным стеклом, выгиб рессор, рисунок кронштейнов, на которых утверждалось кучерское сиденье, – все это исчезло.

На козлах священнодействовали подтянутые и спокойные кучера, дружившие со своими лошадьми, с которыми их связывал особый язык, взаимопонимание, ласка и уважение. Близость и общение с зверьми накладывало на них особый отпечаток, как близость к деревьям и цветам накладывает особый отпечаток на садовников.

Конь иначе ходит по городу и иначе – по лесу. В лесу он чувствует наслаждение от запаха трав, среди

которых у него есть любимые и целебные, от воздуха, от хруста валежника, от мягкости дороги, – и это наслаждение гипнотически передавалось езде.

Автомобилист, взяв карету, приплюснул ее к земле, испортил тупоносим футляром спереди и сундуком сзади, толстыми колесами и грубо, помакароньи, надутыми шинами. Автомобиль раздул чертово кадило бензина, напоминающее трупный запах и поедающее не только листву и травы, но и легкие. Кучера он превратил в шофера, в нервное измученное существо, которому после шести часов вечера люди кажутся только точками, которых запрещено давить. Вонью и глупой скоростью автомобиль оскорбляет чинный, одухотворенный облик Парижа, который делается похожим на себя только первого мая, в день забастовки. Автомобиль оскорбляет Булонский лес, который похож на себя только в ранний утренний час, когда воздух очистился от трупного запаха и людей нет.

Тишина. То время утра, когда, по наблюдениям русских воров, особенно крепко спит купец. Лебеди, разбуженные шумом плота, осмотрелись вокруг себя, поняли, в чем дело, и опять вправили головы в середину теплых, слегка распушенных крыльев. Вот купавшийся воробей, увидав, что солнца нет и можно спать еще, взлетел на ветку, умышленно выбрав самую тонкую: она его покачала, затуманила голову дремой, он нахохлился, принял сердитый вид, из прилизанного стал лохматым и втянул шею в спину. Все это прозрачно и туманно, как на переводных картинках. Я скорее догадываюсь, чем вижу, но вот начинаются перемены: солнце уже где-то забуровило, но свет поступает в тьму только малыми каплями, как вино в воду. Темнота начинает отлипать от земли и воды, превращается в медленно движущийся туман. Капли начинают учащаться, и вот я



вижу кружок сосен, которые стоят, как свечи на церковном ставнике. В их стройности и худобе есть отрешенность и надземность. Может быть, это монахи растительного царства. Вижу наполовину скошенную лужайку: стоят маленькие и еще не завядшие стожки. Вода в озере налита вровень с берегом, видно на расстоянии метра постепенно опускающееся в яму дно. Посреди озера – горка маленького острова, и уже различимы медальоны клумб.

Холодно, я зябну, тело уже не вырабатывает тепла, на руках – пупырышки озноба. Глаза закрываются сами собой, я знаю, что вот ко мне подошел устроитель снов и все потому волшебным образом вокруг меня перестраивается. Озеро он удлинил в реку; по реке пустил странные, длинные волжские плоты; на плотах посадил в качалках людей, которые читают газеты, напечатанные крупным, аршинным шрифтом. Я понимаю замысел и с любопытством думаю: что дальше даст мне он, этот великий поэт и маг, творец сонных зрелищ, что выдумает он для меня, чтобы забыть холод и жесткую скамью? Вижу: сзади плотов идет яхта, вижу на корме буквы:

Bel-Ami. Значит, где-то в рубке там спит Мопассан. Это хорошо. В далекие времена эта яхта пристала к берегам Ялты, и Мопассан отправился в Ливадию за виноградом, разрешив мне на ней покататься, и матрос, старый Бернар, однажды лихо, на парусах, старавшихся оторваться от дерева, домчал меня до Ласточкина гнезда и сказал мне, что черноморский июльский ветер слегка напоминает итальянских сорок братьев. Я тогда дал Бернару золотой пятирублевик, и он спрятал его себе под шапку. Теперь на корме никого не видно: яхта – таинственна, и я долго смотрю ей вслед: она оставляет на воде серебряный хвост, почти лунный.

Устроитель снов начинает изменять пейзаж, и сосны превращаются в пальмы, и я думаю, что в

пальмах есть что-то непричесанное. Прыгают по деревьям знакомые обезьяны, в этот час, вероятно, отпущенные из бродячих ярмарочных зверинцев. Я легко узнаю Огюста, Боби и маленького Гастона. Обезьяны спрашивают, есть ли у меня орехи. Я отвечаю, что нет, и обезьяны обиженно отворачиваются, по-женски надувая губы.

По дорожке идет мой отец. Он – в шелковой чесучовой жакетке, панцирная часовая цепочка полукругло спускается от пуговицы до карманчика. Я знаю, что мой отец умер двадцать лет тому назад, но то, что он сейчас ходит по этому лесу, меня не удивляет. Странно: мне даже неинтересно, подойдет ли он ко мне. Невидимая рука подает мне кружку, и я пью что-то миндальное и приятно сладкое, как сок мороженого. Отец садится возле меня, достает часы, открывает заднюю крышку и маленьким старинным ключиком начинает заводить механизм. На этой крышке красивыми прописными буквами вырезано, что часы работы братьев Чекуновых, механизм на двадцать одном камне, завод ремонтуар, и потом стоит шестизначный номер. Если поднять еще одну крышку, то увидишь таинственную, всегда обольщающую внутренность: колеса, дышащий волосок, пластинки – все очень нежное.

– Слушай, – говорит отец, и я радостно узнаю голос, тембр которого давно забыл. – Я пришел утешить тебя.

– Я ничем не опечален, – сказал я.

– Нет, ты опечален, – ответил отец. – Но печаль твоя еще не поднялась до твоего сознания, и я хочу это сделать раньше, чем она поднимется. Ты не виновен в том, что я передал тебе душу не холодную и не горячую, ничего не хотящую и ничего не желающую, как правильно сказал в разговоре твой директор. Но ведь я не виноват, что сам получил ее такую от деда. Это наша общая российская душа. Ты меня



понимаешь? На бескрайние степи, на Брянские леса только такая душа и может быть отпущена. В этом есть большой смысл.

– Я тебя плохо понимаю, – ответил я и добавил: – Спать хочу.

– Мы с матерью очень соскучились по тебе, очень, – сказал отец печально, – шел бы к нам скорее...

– А кому же здесь оставить нашу душу?

– А вот прислушайся, – ответил отец таинственно. И вдруг в ушах моих зазвенел длинный и протяжный мелодический звон.

– Вот видишь, тебя вспомнили в предрассветный час, – сказал отец, – и тому, кто вспомнил, оставь свою душу. А потом приходи к нам. И я, и мать очень скучаем.

– Вы хотите моей смерти? – спросил я.

– Неправильное слово, бездарное, – ответил отец, – правильно сказал Беранже: «В темный ящик гроба души моей одежды сброшу я». Понял?

Так когда-то отец объяснял мне алгебраические задачи и спрашивал: понял? И тут случилось неожиданное: отец слово в слово начал наизусть цитировать то, что у меня написано в памятной книжке.

– Каждое слово, – говорил он, вспоминая, – имеет одежды праздничные и будничные. В прозе слово – в одеждах будничных, в стихах – в праздничных. У Пушкина, у Шекспира, у Гете слово в одеждах коронационных – тех, что хранятся под стеклами и вынимаются раз в триста лет. Пушкин любил печеный картофель. Пушкин говорил, что злы только дураки и дети.

Я усмехнулся, и это отца обидело. Он вынул из кармана старые, хорошо мне памятные кожаные перчатки с отпечатавшимися ногтями и начал медленно надевать их, разглаживая пальцы. Подул странный аромат, в котором можно было отличить три основные струи – роз, фиалок и царского вере-

ска. Опять в обратном направлении проплыла пустынная Bel-Ami. Мопассан, видимо, сладко спит, и я думаю: не из купцов ли он?

Отец встает со скамьи, делается призрачным, ноги его удлиняются, как цирковые ходули. Он идет по озеру, на островке огибает клумбу с тюльпанами, и я вижу, как его лицо изменяется в лицо деда. Я понял, что упустил момент и не расспросил о матери, о брате, о том, правда ли, что новопреставленные души ходят по сорока мытарствам, страшен ли суд, правильно ли понимаются на земле грех и добро и правда ли, что все, вольное и невольное, взвешивается на весах?

Кто-то трогает мое плечо. Открываю глаза: передо мной стоит молодой человек во фраке и цилиндре, пьяный. Сначала я подумал, что это – устроитель снов, потом – что это граф Данило из «Веселой вдовы», потом мозг наладился, машина пошла правильно, по-дневному, и я понял, что это – отставший от компании, которая кутила на островке.

– Я думаю, что вы – заведующий озером, – сказал мне молодой человек, изысканнейше приподнимаемая цилиндр, – разрешите выкупаться.

– Нельзя! – ответил я сурово.

– Почему?

– Потому, что вы – человек. А здесь – рай, из которого вы изгнаны.

По пьяному лицу разлилось недоумение.

– Почему же лебедям вон не запрещено, – обиженно спрашивал он. – Селедкам не запрещено?

– Вы же не полезете купаться во фраке? – настаивательно спрашивал я. – А вид человеческого тела оскорбляет человеческое зрение.

– Как это глупо! Глупистика! – ответил он после раздумья и, покачавшись, добавил: – Попрошу моего отца сделать о ваших действиях запрос в палате. Он вам докажет, что это – не рай, вы – не апостол



Петр и я – не хуже селезня. До свиданья! – добавил он, иронически приподнимая свою шляпу.

– До свиданья! – ответил я, не менее иронически приподнимая свою шляпу.

Все было одето светом перламутрового оттенка, предварительным. Павлиний хвост распустился до половины неба. Потом уголком показался и сам он, светлый глаз, и постепенно, один за другим, свернулись, как в веере, лучи. Все примолкло – и вдруг повеяло первое дуновение легчайшего тепла: все встрепенулось, запело, запищало, заскакало, закрякало. Ко мне подплыл старший лебедь и, сурово взглянув черным глазом, безмолвно потребовал пищи.

XXV. Осетровая солянка

Один из знаменитейших петербургских поваров Федор Зест в ялтинское, уже почти эмигрантское сидение, в эпоху перекопских боев подробно объяснил мне, как заправляется осетровая жидкая солянка. Зест, кроме того, объяснил мне такие странные вещи, что бульон, например, не питателен, но успокаивает; что слово «спаржа» значит «холодок», ибо она растет в холодке; что бифштекс нужно делать из той части, которая не работает; что удача борща заключается в той последовательности, с которой в него кладутся овощи, и что его обязательно нужно варить на грудинке и класть мозговую кость; что черные маслины хороши для больных печеню; что шашлык нужно мариновать в уксусе с перцем; что свежая икра и устрицы целиком усваиваются организмом и так далее.

Расплатившись с Луи и Гастоном, содержанием отеля, я решил отпраздновать конец своей нищеты обедом для моей святой троицы, как я без всякой иронии звал моих стариков. Я не особенно ценю свя-

тость, приобретаемую в условиях монастыря, в отдалении от мира и соблазнов. Для меня высока святость, которую можно сохранить, живя в чреве такого, например, города, как Париж. И эти три старика, давая мне еду и крышу без всяких условий, смутно надеясь на плату в каком-то неопределенном будущем, казались мне теми праведниками, из-за которых могли сохраниться даже Содом и Гоморра.

Мысль об обеде сначала особенного восторга не встретила, но когда я сказал, что хочу сам приготовить русское национальное блюдо, хоть и не первого (первое – борщ), но все-таки значительного порядка, старики заинтересовались и навестили уши.

– Слушай, ты очень многим рискуешь, – сказал мне Луи внушительно. – Ты твердо держи в своей Сорбонне, что мы ведь бургундцы и понимаем толк в еде. Не забывай, что это именно наш гений приготовил лучшую горчицу в мире и первый по-настоящему замариновал лук. Потом, наш пряник...

– Ваш пряник! – осадил я Луи пренебрежительно. – Большое дело ваш пряник! Я, например, в рот не могу взять вашего пряника! Если бы ты попробовал нашей муромской рябиновой пастилы или калужского теста, так живо бы примолк с вашим пряником. Осетрину знаешь?

– Слышал так отдаленно, но думаю, что если бы это было что-нибудь путное, то в Дижоне знали бы, – ответил Луи не без ехидства.

– Отстал твой Дижон!

– Что ты этим хочешь сказать? – спросил Луи, подняв нос и глядя через старомодные продолговатые очки.

– Во всяком случае, ничего обидного.

– То-то!

Луи, слегка обеспокоенный, пошел на совещание со своим хозяином и совещался долго. Так как осе-



трина – рыба, то кутеж был назначен на ближайшую пятницу. Относительно напитков пришлось выработать компромисс. Аперитивы были отклонены, и принималась русская водка, но зато белое вино заменялось бургундской ветряной мельницей. Это было неграмотно, но тут старики уперлись, как ослы. В качестве предлога, конечно неосновательного, они выставили то, что от белого вина у них идет песок.

У Прюнье мне дали большой, с легкостью масла отрезанный, похожий на скобки кусок осетрового филея, нежно-оранжевый, с разводами, с хрящом и тем жирком, который, сварившись, принимает окраску янтаря. Потом я достал белого, без закрасившейся оболочки, луку, нежной моркови, отличных, упитанных греческих маслин и банку замаринованного лондонского хрена. Было заранее жаль, что старики, наверное, не поймут, как и все, впрочем, европейцы, сладости чистого, градусов на сорок пять растворенного алкоголя. В Европе и, в особенности, в Америке любят мудрить и к табаку, например, примешивают все, что убивает его естество: мед, опий и другие душистые травы. К алкоголю примешивают анис, мяту, экстракт апельсиновых корок, что всегда портит первобытную хлебную слезу.

Когда я явился на кухню, Луи начал навязываться мне в помощники. Чтобы он не узнал моего несложного секрета (такие секреты всегда разочаровывают, и театральная, например, публика очень не любит, когда автор, хитро завязав узлы пьесы, в третьем акте показывает их несложность), пришлось его выгнать и запереть дверь на щеколду.

Странно бросать в воду кусок тела, еще несколько дней тому назад живого, знатного, привыкшего к подводным сложностям и опасностям, выросшего в толстых полтора аршина, серебристо-прекрасного, украшенного по хребту, как пуговицами, хитрыми, художественно разрисованными

щитками, рыцарски-воинственного и несомненно аристократического. В осетре, как в петухе, как во льве, есть настоящее, прямое, повелительно-гордое начало. Я обложил его тонко нарезанной морковью, потом колечками лука, засыпал солью и, когда все это дало первый сок, залил водой. К сожалению, газ, сжигающий ядовитые вещества, – не русская плита на березовых дровах. Аромат березы не проходит бесследно для кухонных достижений, как, увы, не проходит бесследно и газовая нечисть.

К половине восьмого подъехал Гастон, раскутившийся на автомобиль. Он так и явился, как и заседал в своем бюро, то есть в мягких черных туфлях на шерстяных подошвах и в шелковой потускневшей шапочке. Мне показалось, что с того света явился Клемансо.

Старики давно не видались, и встреча была трогательная. Со всех сил они лупили друг друга по плечу, смотрели глазами в глаза и сыпали восклицания: старый дьявол, лысая капуста, разновидность непристойной вещи и т. д. Была отдана команда – закрыть кафе.

Я слышал, как Луи загремел в буфете бутылками и вовремя изловил его. Дело в том, что он в горячах забыл о компромиссе и хотел сервировать всякие вариации (конечно, с кассисом), но я сказал, что если это начнется, то суп и рыбу съедят за окном коты. Старики сначала воскликнули: «О!» – но потом присмирели. Я приказал Луи выставить на стол самые маленькие ликерные рюмки. Луи плохо понимал совершающееся и только недоуменно вздергивал правым плечом и сожалательно говорил: «Бон!» В этот вечер он проявлял ко мне легкую недоброжелательность.

Я видел, как он иронически накрывал стол, как в последний раз вытер глубокие тарелки с видом пижонских кафедралей, как делал из салфеток петухов,



как ставил в горячую воду толстые бутылки, в каких у нас продавалось кахетинское, с дном, похожим на стакан, как, сняв капсулу с рельефной виноградной кистью, старики нюхали пробку и кивали в мою сторону, явно считая мою затею легковесной.

Но вот соль и закипевшая вода сделали свое первое дело, осетр начал ерзать по дну кастрюли, пошел пар и послышался душистый, сложный аромат. Можно было приоткрыть кухонную дверь. Старики шептались, как оперные заговорщики, и я понял, что они хотят огоршить меня какими-то сюрпризами. Гастон вертел в руках книжку, загибал листы и таинственно что-то объяснял.

Но вот аромат проник в их комнату, носы стариков шевельнулись и обратились в мою сторону. Эта минута показалась мне началом почтительности. Было что-то вроде молчаливого прислушивания и оценки. Началось пробуждение голода, заработали сосочки желудка, подступила слюна, стали обсыхать губы, и по ним уже было необходимо пройти языком.

Движения Луи стали нервными и проворными, в беседе появилась сбивчивость, от проглатывания слюны кадыки ходили взад и вперед, и старики прибегли к предохранительному средству: посолив хлебный мякиш, они с наслаждением покатали его между зубами и глоткой.

Вода бьет над осетром маленьким смерчем, язычки пламени то высовываются, то прячутся под кастрюлей. Осталось выполнить последнюю задачу – так разварить рыбу, чтобы ее можно было грызть даже деснами. Мое присутствие на кухне не так уже необходимо. С видом строгого жреца я выхожу в столовую и развожу рацею о том, что так называемая высокая земледельческая культура – тоже палка с двумя концами, что обилие искусственных удобрений огрубляет землю и именно на этом выс-

шие французские произрастания потерпели важный ущерб: где прежний знаменитый вкус французского винограда, груш, овощей, зелени и то ли дает русская, итальянская или турецкая, первобытно сохранившаяся земля?

Старики смотрят на меня с сочувствием знатоков, поправляют неправильные падежи, и вдруг случается неожиданное. Гастон, отчаянно картавя и с ударением на последних слогах, спрашивает меня по-русски:

– Вы как желаете стричься? Ежик? Бобрик? Подпольку? Вас бритва не беспокоит?

И прибавляет пару отменных русских ругательств, ласкающих слух и очищающих атмосферу.

– Ви знайт Невски проспект? – спрашивает он. – Ви знайт дом нюмеро сто чичирнадцать?

От изумления я не могу сказать ни слова, а старик все спрашивает:

– Ви отморозил ваш нос? Почему не берете гусиний сал? Варфоломей! Подай мне бистро ножнис нюмеро третий, я подстригу господин немножк уси...

Гастон преобразился, как актер, вышедший на сцену. В правую руку у него были вложены невидимые ножницы, и он, склонившись, изобразив на лице парикмахерское вежливо-осторожное усердие, стриг чей-то незримый затылок. Старческая, опустившаяся по-бульдожьки кожа щек вяло шевелилась, морщинки вокруг глаз наполнились хитрым светом, язык и губы выговаривали русские слова, двигались по непривычным, забытым направлениям. Луи почему-то смеялся до слез, приседая и хлопая себя по коленным чашечкам.

– Какой бил страна, какой бил льюди. Какой grandeur двора. И если твой отес, да, си, твой отэс один раз биль Сан-Петербур, я стриг и твой отэс, потому что coiffeur Gaston знал вся Руссий! Да! Си! Знал вся Руссий! Я чичирнадцать лет биль на Рус-



сий! И только пять годочков до война приехал Пари немножко здыхайть и покупать себе маленький угол на дижонски симетьер.

Гастон говорил с тем повышенным энтузиазмом, которым была славна старая французская театральная традиция.

Я спросил по-французски:

– Значит, ты знаешь, что такое осетровая солянка?

Гастон гордо усмехнулся и ответил:

– Ачуевская икра, керченская селедка, ладожские сиги, астраханские арбузы, пожарские котлеты, гурьевская каша, вареники с вишнями – все знает Гастон!

И потом, сделав шпионское лицо, добавил по-русски:

– Ты забил класть в свой потаж немножко тмин и немножко лавровый лист. Сделай это поскорей, чтоб эти пара старий фэс потом не смеялся над твой потаж.

Я похолодел, хлопнул себя ладонью по лбу и полетел в мелочную лавку. И когда торговка отсчитывала мне медяки на сдачу, снова в ушах моих зазвенел протяжный нежный звук. Кто вспоминает меня? Кому я нужен? Что еще хочет войти в мою странную, призрачную жизнь?

XXVI. Французик из Бордо

Солянка удалась на славу, рыба разварилась отлично, лук, тмин и лавровый лист придали ей нежность и пряность, греческие маслины были жирны и глянцевиты, а ломтики лимона плавали на поверхности, придавши еде соблазнительный вид. Старики, набрав в рот бульона, прислушивались к нему, как прислушиваются во время пробы к неизвестному вину, а потом, на разгоне, одолели по две

тарелки, покрылись испариной и вытирали виски углом салфеток. Водку же только один Гастон пил по правилу, запрокидывая голову и потом в течение нескольких секунд глядя на потолок.

Покончив с солянкой, дижонцы призадумались и не стали есть ни сыра, ни салата. Это я истолковал как великую похвалу. Луи после молчания сказал:

– Браво три раза. Еда с удовольствием – это большое благо.

Ему ответил Гастон.

– А если бы тебя, – сказал Гастон, – посадить в мае месяце на волжский пароход да дать бы тебе свежих ярославских огурцов, намазанных икрой, или уху из стерлядей, а на закуску ломтя два белорыбьего ба-лык, так ты бы поклонился дьяволу и продал бы душу. – И потом добавил по-русски: – Они, оба две, прелестный ребята, но все-таки набитый шушель. Носятся с Дижон, как маленький Мартиночка с мылом. Однако давай немножко молшать и дижестировать.

И сидя у стола с неубранной посудой, старики сложили руки на животах и, предавшись забвению, начали дижестировать. В этом было что-то комически молитвенное. Лица их покрылись румянцем, в полузакрытых глазах разливалось осовелое довольство, и даже самые крепкие пальцы, большие, потеряли упругость. Мы расстегнули жилеты и сразу почувствовали холодок, потянувший из окна. За этим окном, в палисаднике, рос отцветший куст сирени, виднелись слабые, городские бутоны роз и какая-то неведомая мне высокая трава.

Минут через пять первым очнулся Луи: он встал, и мы посмотрели на него, как на мученика. Он включил штепсель электрического кофейника, и снова, с видом страдальца, сел на свое место. Заработал таинственный ток, и кофейник начал то пофыркивать, то посвистывать. Потом пронеслось первое дунове-



ние восточного пряного аромата, и ноздри стариков снова, по-знакомому, шевельнулись.

И вдруг, открыв правый глаз и став похожим на перса, Гастон сказал, обращаясь ко мне:

– А знаешь, кто виноват?

– Я ничего не понял.

– Ты не думай, – продолжал старик, – Гастон – только парикмахер Гастон. Я не только резал вшей, а я немало и в Сорбонне высидел. Почему пошел в парикмахеры, а не в адвокаты или во врачи? Это – дело вкуса, если хочешь – философия. Парикмахер – это проще, неответственно, свободно, и в этом есть своя капля искусства. Я старый холостяк, у меня наследства тысяч на сто, а в России были мадемуазель Машенька, потом мадемуазель Глашенька, потом мадемуазель Сашенька. Здесь я тоже не зевал, и жизнь провел интересную и эгоистическую, потому что чего же требовать от парикмахера? Всякая фантазия имеет своего барона, не так ли?

– Так, – ответил я, ничего не понимая и не особенно стараясь понять: меня интересовал сам старик, его поочередно открывающиеся глаза, нависшие, как у Клемансо, брови, шелковая шапочка и пульсирующая на виске жила.

– Вот тебе умная книжка, – говорил Гастон, доставая из-под кресла книгу, которую перед обедом я уже заметил в его руках. – Это ошень умный шоловик, Иван Яковлевич Руссо, – добавил он по-русски и, отметив ногтем какое-то место, сказал: – Читай, читай вслух и не так, как пономарский, а с чувств, с толк и с маленьки расстановошка.

Посмотрев на заголовок, я увидел, что это был «Contral Social». Я начал читать.

– Стоп, коняжка! – сказал Гастон. – Вот в чем коренная ошибка Петра! Он делал из вас немцев и англичан, но не делал из вас русских! Как ясно видел все этот умный человек, Иван Яковлевич!

Луи раздал нам кофе в маленьких фальшивых японских чашечках.

– Один петербуржец говорил мне, куаферу Гастону: «В моем желудке зарыта собака моей болезни». Так вот тебе сейчас говорит куафер Гастон: «В этих искусственных немцах и англичанах царя Петра зарыта собака вашего теперешнего горя». После Петра русским надоело быть немцами и англичанами, и они, уже сами, переделались во французов. Это все видел я, Гастон, из своего окна на Невском, в доме сто четырнадцать.

Гастон хлебнул кофе, обжегся и пососал усы, ставшие коричневыми.

– Если русский аристократ, бывший боярин, плохо говорил по-русски, то это был большой шик. Если русский аристократ, бывший боярин, плохо говорил по-французски, то это был большой позор. Русский аристократ очень часто говорил по-французски лучше француза, и это было смешно. Обезьяна может провести прямую линию лучше художника, но вам все-таки смешна ее серьезность, с которой она это делает. До Петра была русская великая нация, после Петра стал салат. Это говорит правду француз Иван Яковлевич. В Санкт-Петербурге я был очень модный куафер. Гастон – *сi*, Гастон – *la*. Со своими ножницами и щипцами я прыгал по всем лучшим лестницам. Боже мой, какие я видел дворцы, какие дома, какие статуи, какие люстры, какие картины! И я видел, что хозяин или хозяйка всегда боятся потерять мое уважение, потому что я – француз. Всегда говорили: «Ах, куафер-француз – это Бог, куафер-русский – это ничто». Клянусь Богом, что я тайно ходил учиться у русских куаферов, – это часто был такой мастер, такой мастер! Это было смешно, и когда у меня находилось свободное время, я смеялся до пяти часов утра! Чтобы иметь успех в России, нужно было прежде всего не говорить по-русски.



Если вы не говорили по-русски, то для вас открывались все двери! Если вы говорили по-русски, то вам падала цена пятьдесят процентов. Я говорю неправду? Нет, я говорю правду, куафер Гастон!

И Гастон снова перешел на русский язык:

– Ми, петербургски француз, имел свой маленький, совсем маленький клуб. Модист, куафер, так себе маленьки дамочка, имеющие всегда при себе свой маленький товар, третий актер из Театр Мишель – мы все собираль и гоготал, гоготал над этой Россией! Мы понималь свой ясни галльски ум, что это страна, это пэи, имеет свой плохой дестине!

Странно: когда Гастон переходил на русский язык, то он и французские слова произносил с легким русским акцентом.

– Ми понималь, что голова воняет с рыбки. Старый русский бояр, который имел свои длинни, до самый живот, борода и свой длинни, до самой пятки, шуб, был интересний. И когда царь Петр резал ему борода, бояр плакал, и мне ему жаль, куафер Гастон. Это был правильни бояр. Новый русски бояр, который говорил по-французски и не говорил по-русски, был неправильни бояр. А теперь, через три сотенки лет, мужик хотел себе весь земля? Это только так кажется, что он всего этого хотел. Это внешни. – И Гастон закончил по-французски: – После трехсот лет петровского салата вам тайно и бессознательно захотелось стать снова нацией. И вот вся разгадка вашей земли и свободы, разгадка ваших революций. И это нужно понять и претерпеть. Вам снова хочется пустить до живота бороду, надеть парчовую шубу и с Невского проспекта, из дома номер сто четырнадцать, выгнать шустро парикмахера Гастона.

Луи вынул из шкафа небольшую шкатулку, поднял крышку, и под стеклом мы увидели музыкальный валик, весь в иглах. Луи покрутил ручку завода,

и среди наступившего молчания вдруг послышалась мелодия Люлли. Мне показалось, что это вызванивают маленькие фарфоровые колокольчики. Валик медленно крутился, и одна мелодия сменяла другую.

– Восемнадцатый век, – сказал хозяин кафе.

И когда я почувствовал, что уши, уже давно оглохшие и истлевшие, слушали этот маленький и очаровательный вздор, мне вдруг стало жаль прошлого. Эх, начать бы жить сначала! А в голове вертелись кольцовские стихи: «Никогда не взойдет солнце с запада».

Когда мы с Гастоном приехали домой, была уже полночь. Ни мне, ни ему спать не хотелось.

– Давай посидим в бюро, помолчим, – сказал он и принес какую-то толстую бутылку с сургучом, прилипшим к горлышку. Горела лампа под зеленым абажуром, было тихо, и казалось, что мы сидим не в Париже, а километров за сто от него. Сразу стало заметно, как толстая жила на виске Гастона вздулась еще больше. «Это действует алкоголь», – подумал я. И руки, специально парикмахерские руки с полукруглым указательным пальцем, чуть заметно дрожали. Ему было жарко, он расстегнул ворот, и показалась седая, но твердая и костлявая старческая грудь.

В половине первого в бюро постучался неизвестный молодой человек и, смущенно глядя на меня, спросил:

– Свободные комнаты есть?

– Есть, – ответил Гастон.

– Мне бы только до утра...

Гастон посмотрел на меня усталым глазом и сказал:

– Будь другом, мне очень трудно сейчас ходить по лестнице. Покажи им... Вы вдвоем?

– Да, вдвоем, – смущенно ответил молодой человек.

Я пошел впереди, за мной – молодой человек, а за ним постукивали легкие женские каблучки. Я не



обернулся, но остро слышал шорох платья, взволнованное дыхание и запах каких-то очень знакомых духов. «У кого были такие духи?» – старался я вспомнить, не мог, и это волновало.

В номере четвертом я зажег свет под розовым шелковым колпачком, задернул занавески и потом, принимая деньги, нечаянно взглянул на женщину и чуть не крикнул:

– Дениз!

Через две секунды я уже ясно видел, что это – не Дениз, а простенькая, милая, с прекрасными темными глазами, совершенно неизвестная мне девушка. Но первая секунда, обманувшая, показалась мне часом, и я полностью испытал всю ту муку, которую испытывает, вероятно, живое сердце, когда в него вонзают длинную раскаленную иглу.

Виноваты были духи. Ясно вспомнилось, что их я слышал в Антверпене.

XXVII. Огни, зеркала и касса

Отец, явившийся мне во сне, сказал, что у меня на сердце лежит печаль, но она еще не поднялась до сознания. Может быть, печалью он назвал любовь? Странны и беспокойны эти звоны в ушах; мелькание женского образа; память, кротко странствующая в Антверпен и восстанавливающая бесконечный прямой дождь, свечи на рояле, огонек, раскачивающийся от моего дыхания, нотные листки, к которым я с тех пор ни разу не прикоснулся. Вообще на музыке нужно поставить теперь крест. Опера? Симфония? Квартет? Кто возьмет их из рук какого-то дирижера из какой-то мюзик-холльной труппы лилипутов? И я боюсь коснуться этих пятилинейных антверпенских строк: а вдруг на их фоне появится видение не пиковой, а червонной дамы с театральной призрачно-

стью полудетского, нежного лица, с грустью слегка неправильно поставленных глаз, с трогательно нежной кожей висков, с соблазнительно-обманчивой худобой тела? Червонная дама династически вышла замуж за короля табачных изделий. Никотин превращается в золото и жемчуга, и на брачном пире, несомненно, гремел свадебный марш Лознгрена. В свое время я не внял мудрым советам директора, был грушей и теперь ясно слышу, как ядовитый, темно-серый туман ползет полосами из сердца в сознание. Скажем словами мудрого директора: «Это никому не нужно» – и, по старинному рецепту, в поздний вечерний час выйдем на улицу.

Я говорю «мы», потому что с некоторых пор я – не один и не знаю, во мне ли или около меня, бесплотной тенью, живет образ, вечно и утомительно мне сопутствующий. Вот мы вместе идем по улице, видим закрытые лавки и темные окна, но свежий и прозрачный после дождя воздух не несет успокоения, и кажется, что мир отстранился от нас и стал далеко. Полоса звездного неба, видимого из узкого коридора улицы, существует не для нас, а для других, счастливых и спокойных людей, отошедших от нас тоже далеко. В двух шагах от нас плещется фонтан святого Михаила, но звук воды слышится издали. Мы переходим мост и видим, что Сена провалилась в необозримые глубины. Улицы – бесконечны, но вот мы замечаем странную вещь. Из метро весело выходит группа парижан, возвращающихся из театра. Мужские лица кажутся нам в величину чернильных точек. В этих точках неразборчиво помещаются лбы, носы, подбородки, смокинги и лаковые ботинки. Женщины же, наоборот, сильно приблизились к нам, как будто мы рассматриваем их в бинокль. Мы видим швы их вечерних нарядов, бусинки жемчугов, черные полоски карандаша под нижним веком, съеден-



ную помаду, блеск щипцов на круто завитых волосах, рисовую пудру на декольте, начинающуюся на груди канавку, прозрачность чулок, расстегнувшуюся пуговку на туфле, выбритость подмышек. Нам кажется, что мы читаем их мысли. Мы, например, понимаем, что они сидели в хороших местах, слегка боковых, в тех, которые отпускаются по удешевленным ценам; что они несколько часов жили в ином плане жизни, испытывая радость от нарядности вечернего платья, от чуть заметной и приятной тяжести серег и непривычного ощущения редко надеваемых парадных колец, от уюта ноги в шевровой коже, еще не пошедшей в складку. Пьеса доставила им ту степень удовольствия, когда не бывает жаль денег, истраченных на билеты. По лукавым, порочным улыбкам мы догадываемся, что представлена была комедия, в которой жена надувала мужа-простофилю, чиновника из министерства народного просвещения, чиновника не крупного, но и не малого, из той категории, которая не меняется в связи с уходами и приходами новых министров. Так как всякая женщина от рождения подготовлена к неприятному моменту, когда на крыльце звонит возвратившийся из командировки муж и любовника надо прятать в классический шкаф, где нафталин лезет в нос и приходится чихать, то автор предложил вниманию свежий вариант: как поступит преступница, если любовник второпях наденет мужнин правый сапог на свою левую ногу? Мы отлично представляем себе, как в такие моменты работает острая женская мысль, и снисходительно улыбаемся остроумию природы, которая в женских мозгах создала чрезвычайно сильные, специально защитные мозговые линии и узлы, задача которых состоит в том, чтобы быстро разбираться, находить выходы из любовных запутанностей и передумать семьдесят семь дум во время короткого полета с

печки. Мелькает мысль и о том, что если бы магометанство было создано женщиной, то она узаконила бы многожество. Высказав такую мысль в многочисленном женском собрании, мы, несомненно, пожали бы обильные аплодисменты.

В связи с этими соображениями мы решили взглянуть туда, где светит множество огней, блистают зеркала, стучит касса с выскакивающими цифрами, где женщины не лгут.

Нас встретили радостным шумом. Навстречу подалась почтенная дама с наглухо закрытым воротником вдовьего платья и с большой, широко раскинувшейся на груди цепью. Мы были приняты как принцы крови. Нам были предложены все напитки, уместные в полночь, и когда мы из озорства спросили вульгарную смесь пива и лимонада, то даже такие дешевые вкусы не омрачили чела приветливой дуэньи. Для нас на механическом пианино с разбитым редким регистром завели самый торжественный из маршей, сочиненных людьми, – марш из «Пророка». Впрочем, мы имели случай заметить молниеносно быстрый и зоркий взгляд, скользнувший по воротнику, галстуку и лацканам нашего пальто. Нам показалось, что лента на нашей шляпе произвела смутное впечатление. Поэтому мы поспешили снять наш головной убор и положить его рядом с собой на диван, в затененное место.

Нам представили ассортимент молодых и хорошеньких женщин, которые смотрели на нас взволнованными и не лгущими глазами. Мы встретились с умоляющими взорами, с беспокойным миганием ресниц, с рисунком прелестной руки, тревожно легкой на грудь, с курчавой головой негритянки, с легкой веснушчатостью еврейки, с вздернутым носиком француженки, с тяжеловатым подбородком чешки.

Когда мы пригласили к столу вздернутый носик, то сразу и так же не лживо погасли любовные взоры,



и мы увидели множество повернувшихся спин. Носик с удовольствием победы шевельнул ноздрями и объявил, что его зовут Жозетт и что он пьет только розовый коктейль. Почтительный лакей в белом смокинге, похожий на трогательного актера, с удовольствием выслушал заказ и, по его исполнению, потер пальцем о палец, что мы правильно истолковали как приглашение к немедленному платежу.

Жозетт, взяв нас под руку, дружелюбно чокнулась розовым коктейлем с простонародной смесью. Потом она пыталась завести галантерейный разговор о погоде, но мы попросили ее временно помолчать. Жозетт охотно согласилась и неизвестно откуда взявшейся щеточкой начала полировать ногти сначала на руке, а потом и на ногах. В этой последней позе она напоминала обезьянку.

Мы получили возможность осмотреться. Как в парикмахерской, было много зеркал, создававших странную, продолговато-суживающуюся перспективу. Было много мозаичных столиков с цифрой 25 на крышке. На потолке были развешаны гирлянды из мелких лампочек. Кругом сидели раскрасневшиеся парижане и взаимно не замечали друг друга. Марш из «Пророка» заставил повысить голоса и смех – усилить до неестественности.

Что остановило наше особенное внимание? Во-первых, сидевший в углу одинокий и уже не молодой человек. Он пил пиво из большой винной рюмки, опустив голову на руки, и иногда недобро взглядывал на нас. Во-вторых, – касса, стучавшая с особым грохотом механизма, с повертывающейся ручкой и с выскакивающими, как марионетки, цифрами. Мы решили, что касса эта видела преступлений больше, чем гильотина.

– Ну, Жозетт, – наконец спросили мы, чтобы отвлечься от дум. – Как тебе понравился розовый коктейль?

И Жозетт, оставив щеточку, снова взяла нас под руку, как старого друга, и вместо ответа спросила:

– Осмотрелся? Понравилось? Чистенько? А твой коктейль, ты уж прости, я потихоньку вылила под диван. Пусть его пьют черти! И потом, знаешь, ведь ты не рассердишься, если я тебе что-то скажу?

– Ну вот еще новости! – ответили мы.

Жозетт тесно прижалась к нам и доверительно шепнула:

– Мне кажется, что я с тобою зря теряю время. А? (Пауза.) Мне кажется, что ты влюблен в кого-то, а? (Пауза.) И, вероятно, без взаимности? А? (Пауза.) И сюда пришел от досады, а?

– Это еще что такое? – возмутились мы без особой искренности.

– Ты же обещал не сердиться, – укоризненным шепотом ответила Жозетт и легкой ручкой похлопала нас по плечу, добавив: – Ты же стыдишься самого себя и ни за что вместе со мной не подойдешь к кассе, чтобы заплатить деньги и получить салфетки. Ну, сознайся, будь храбр. Не подойдешь же?

Мы замолкли в смущенье.

– Когда в ресторан приходит человек с желтым зрачком, – продолжает Жозетт, – то лакей знает, что он никогда не спросит телячьей головы с вишнегретом.

– Ну? – иронически спросили мы.

– А здесь ведь только ресторан, – ответила Жозетт, – и когда приходит человек...

И остановившись на многоточии, Жозетт, снисходительно улыбаясь, смотрела мне в лицо, испытывала мой лоб, глаза, губы, пощекотала у меня за ухом, – и вдруг совершилось волшебство: ее глаза превратились в стереоскопические зеркала, и я увидел в них себя, рельефного и слегка чужого, как в портрете тонкого и чуткого художника. Я был не тот, каким знал себя по отраженьям.



– А вот в среду, – шептала Жозетт, – у меня выходной день. Я отдохну, надену свою новую соломенную шляпку, гладко причешусь, сделаю простенький грим, обновлю свои лаковые туфельки, буду хорошенькая и скромная и приду к тебе. Мы пойдем к тетке Марианне пообедать, потом покатаемся на электрическом ринге – там сейчас ярмарка – и я тебе ручаюсь, что на двадцать четыре часа ты забудешь свою любовь и свою злую красавицу. А теперь достаешь карандаш, запиши свой адрес и уходи.

Глаза ее смотрели прямо, и никаких туманностей не было там, за зрачком, в полях, иногда расширяющихся до необозримых пространств.

На улице, уже за углом, меня догнал человек, пивший пиво из большой винной рюмки.

– Благодарю, благодарю вас, – заговорил он возбужденно и с сильным акцентом, – благодарю вас!

– Не знаю, чем я послужил вам, – ответил я.

– Вы ушли, не взяв Жозетт, – говорил человек. – Я люблю ее, эту скверную девчонку, и она издевается надо мной. Сегодня ее три раза приглашали на моих глазах, а она подходит ко мне и говорит: «Благодарю тебя, Борис, пока ты сидишь тут, мне везет. Ты мой портбоннер». Какова? А вы? Вы не взяли, вы проучили ее, вы сбили с нее спесь. Я гипнотизировал вас и, как видите, не безуспешно. Еще раз благодарю.

Он схватил мою руку, азартно пожал ее и исчез в направлении людовиковских арок.

XXVIII. Стыд

Чтобы хоть как-нибудь уйти от себя, я старался найти забытие в чтении, начал посещать кинематографы и слушать тромбонные разговоры фразных героев, не пропускал русских митингов, на которых промотавшиеся отцы проповедуют, пророчествуют, предсказывают и все хотят доказать, что они

были всегда правы, трижды правы и остались бы семьдесят раз правыми, если бы не случайно случившийся случай. Я вглядывался в ряды слушателей и чувствовал, как огромен и силен был исторический момент, когда первые стали последними и тощие коровы пожрали коров толстых. В сущности, все исторические бури, именуемые революциями, с редким единодушием утверждают этот образ фараонова сна, и Марксы всех времен должны были бы, по справедливости, свои труды посвящать с признательностью этому египетскому владыке, голова которого даже во сне оставалась умною.

Начались театральные работы и с самого начала навели на меня большое уныние. Чтобы освежить репертуар и сделать своих лилипутов хоть скольконнибудь интересными, директор шел на самые отчаянные выдумки. Так, он решил сделать из них оперных артистов и поставить с ними сцену в корчме из «Бориса Годунова». Потом ему пришло в голову изобразить рыцарский турнир под стенами Каркассона и еще что-то такое, от чего у меня в правой стороне черепа начиналась мигрень. В моем распоряжении был оркестришко, в котором скрипачи держали скрипки, примыкая ухом к деке, а виолончелисты ставили свои виолончели вне колен. Оркестришко привык отбивать квинты «итальянского» аккомпанемента и на ноты Мусоргского смотрел с затаенным в глазах ужасом. Выходила пародия, смешная и жалкая, и мне порою хотелось схватить пюпитр и запустить его то в глухого скрипача, то в толстого виолончелиста, которого все звали малокровным.

В те времена, когда я отсутствовал, оркестром правил сам директор.

– И понимаешь, – доверительно говорил мне Васенька, тянувший за собой клавир «Бориса», как пудовую гирию, – из него такой же дирижер, как из на-



воза пуля. Выдолбит дома на гармони-флюте текст, а потом попрекает всех: и не музыкальны-то мы, и бездарны, и уши всем гвоздем чистить нужно, а самое главное, знаешь что? Он влюблен в мою жену!

Я выразил молчаливое изумление.

– Да, влюбился! – злобно бледнея, продолжал Васенька. – Проходу не дает.. И не знает только одного... – Васенька хлопнул клавиром по столу.

– Да, – сказал он твердо, – я – карлик, я – урод, меня в спиртовой банке держать надо, но, милый мой, я подскочить могу, подпрыгнуть, и уж тогда извините – ножик будет в спине. Да, в спине, ибо с меня не спросится. Я – маленький, я – Бобчинский, у меня ручки коротенькие, на мой костюм нужно всего полтора метра. Мне простят, если я даже из-за угла, крадучись, по-воровскому..

Самое странное было то, что я не нашел сил ни утешать Васеньку, ни оспаривать его, ни доказывать ему нехорошесть его мыслей. Наоборот, все как-то с любопытством вострепелось во мне и ожило. Вот, думал я, если бы и в самом деле пырнул! Какой бы это был очаровательный и театральный судебный процесс! Какой диалог защитника и прокурора! Какие фотографии! И Юдифь, с ее прошлым, жена карлика, красота русская, таинственная, дикая... Я думал о русской любви, из которой еще не выветрилось что-то истерически-кошачье, и объяснял это молодостью нашей расы, отсутствием подлинного любовного опыта, поэзией, которая еще не потеряла заклинательных чар. Я сравнивал русскую любовь с любовью французской, более простой и ясной, с зачатками логики, часто принимающей вещи такими, какими они существуют на самом деле.

И, странно, с досадным любопытством я начал ожидать среды. Не знаю почему, но когда мне захотелось купить цветов, я остановился на крупной

ромашке. Я предчувствовал фразу, которую мне скажет француженка: «Когда эта ромашка завянет, ты сделай из нее настой и вымой голову. Волосы приятно посветлеют и станут мягкими».

С европейской точностью в среду, часов около четырех, раздался легкий стук в дверь, и вошла Жозетт, которую я ни за что не узнал бы на улице. Одета она была подчеркнута скромно: новые и ладные перчатки делали пальцы длинными, а лаковые лодочки на ногах эффектно подчеркивали горбик подъема.

Женское увядание начинается с легких морщин у глаз и в потолстении рук между локтем и плечом: у Жозетт, несмотря на ее каторжное ремесло, этих признаков не было, и фигура ее казалась еще более молодой и сильной, чем в зале с многочисленными огнями и зеркалами. Изменилось выражение лица – было в нем и смущение, и робость, в жестах – нерешительность, в походке – осторожность, как на льду. Прическа у нее была с вопросительными знаками на щеках, и это к ней шло и подчеркивало ее как француженку.

– Ты – беден? – спросила она, смешливо оглядывая углы комнаты, отлипшие шпалеры, штопаное покрывало на кровати.

– Как церковная крыса, – ответил я с удовольствием от мысли: нарвалась, наскочила, зря потеряла время.

– Это очень хорошо! – вдруг и серьезно сказала она и добавила, протягивая мне какую-то продолговатую коробку из универсального магазина: – Вот тебе подарок в память нашего первого свидания. У тебя мама жива?

– Нет.

– Я буду твоей мамой.

Я не знал, что делать с коробкой.

– Ты не умеешь развязывать нитки? – спросила Жозетт и наставительно добавила: – Это делается



просто, но никогда не нужно рвать или резать ножницами. В хозяйстве все пригодится. Надо прежде всего ослабить узел.

И она начала показывать мне тайну развязывания. Пальчиком, тщательно отмытым и наманикюренным и все-таки носящим следы бедных домашних работ, постирушек и шитья с наперстком, она ловко ослабила узел, двумя ноготками зацепила нитку, вытянула ее и подсунула под крест перевязки, опять вытянула, узел распался, и нитка, сохранив зигзаги, освободилась.

– Гвоздик есть? – спросила Жозетт.

– Не знаю, – ответил я.

– Какой глупый! – пожурела Жозетт. – Не знает своей мебели.

Она поискала по стенам, нашла гвоздик и сказала:

– В этой комнате жила женщина. Видишь? Прибито по-женски. Здесь она вешала юбки. Теперь развернем бумагу. Теперь раскроем святая святых. Вот подарок моему другу.

В коробке, сверкая красками, лежал шелковый галстук-самовяз. По черному, то матовому, то блестящему полю шли наискось то синяя, то темно-оранжевая полосы.

– Это вам будет к лицу, – гордо сказала Жозетт, приставляя галстук к моей груди и любясь эффектом.

– Чем я заслужил такие милости? – спросил я.

– Ты – не красив, ты не богат и едва ли умен. Но в тебе есть одно качество, которое пленило меня с головы до ног.

– Можно узнать какое?

– Можно узнать, – и чуть подумав, раскрыв глаза, ответила: – Стыд. Я давно решила: того, кто застыдится, беру себе в сыновья. Ты – мой сын. А теперь рассмотрим твои звезды. Кстати, никаких

сыновних обязанностей я на тебя не налагаю. Ни кормить, ни хоронить своей матери ты не обязан.

Она достала из сумки колоду карт, несвежих, с потемневшими рубашками, неохотно тасующихся, и положила ее передо мной.

– Снимай левой рукой и скажи: «Калиостро. Калиостро, открой мне всю правду».

Я сказал.

– Нет, без улыбки. Это очень серьезно.

Сжав челюсти, я сказал серьезно:

– Калиостро, Калиостро, скажи мне всю правду.

Жозетт начала раскладывать карты и с напряженной пристальностью всматриваться в них.

– Так и знала. Мой негодный сын влюблен. У тебя в голове какая-то блондинка, может быть, шатенка. И огромные деньги к тебе в дом! Боже мой! Прямо богатство, золотые россыпи! А вот трефовый король, что-то вроде твоего начальника. У тебя есть начальник?

– Есть, – ответил я, думая о директоре.

– Он к тебе очень хорошо относится, втайне любит тебя.

Жозетт вынимала карты медленно, с большими паузами, – и вдруг достала десятку пик.

– А это что же? – спросила она самое себя удивленно, и мысленный недобрый ответ прошел в ее глазах.

И совсем медленным жестом, боязливым и нерешительным, потянула следующую карту. Вышла девятка пик.

Жозетт смутилась и спутала карты.

– У тебя в камине тяга действует? – спросила она.

– Действует.

– Давай огня. Жги газеты.

Я собрал большой пук газет и зажег. Пламя с легким стоном бросилось вверх. Побежали в разные стороны испуганные толстые и поворотливые пауки.



Жозетт начала медленно рвать карты и одну за другой бросать в огонь. Корчились короли и дамы, валеты и мелкая тварь. Десятку и девятку пик она разорвала особенно тщательно и за их сожжением следила напряженно и мстительно.

– Наврали, подлые, – сказала она. – Вот за это горите. Им больно, ты знаешь?

Обращаясь к покойной матери, я мысленно по-русски сказал: «Прости, что называться твоим именем я позволил уличной девке...».

И Жозетт сейчас же ответила:

– Клянусь тебе Богом, она не сердится.

Если бы Жозетт поклялась чертом, я бы подумал, что передо мной действительно настоящая и большая колдунья.

XXIX. Лоэнгрин

Жозетт была у меня каждую среду, и я ждал ее с тем нетерпением, с каким больной ждет морфия. Веселая, как обезьянка, она развлекала меня и успокаивала, и я очень любил серебряные искорки в ее глазах, которые, перемежаясь, зажигались то в зрачке, то на радужной оболочке. Входя, она бросалась мне на шею и, повернувшись в воздухе, долго болтала ногами: это называлось у нее «плавать на синей волне».

Жозетт никогда не приходила с пустыми руками, и какая-нибудь пробная бутылочка коньяку с проволочным штопором казалась мне необычайно вкусной и уместной. Она подарила мне спиртовку, чтобы варить кофе, и долго учила, в каких пропорциях надо примешивать цикорий или ваниль. С хозяйственной жадностью она набрасывалась на починку белья и, пришивая или укрепляя пуговицы, работала с серьезным видом и так нагибалась, как

это делают близорукие. В комнате она переставила по-своему мебель и кровать устроила изголовьем против юга: это гарантирует от бессонницы. Она дала мне множество ценных советов: если, например, ночью мешает лай собак, то переверни под кроватью спальные туфли, и собаки замолчат. Если хочешь, чтобы кто-нибудь пришел в гости, положи под дверной коврик красный лоскут. Много говорила о том, как приворожить человека, чтобы удалось задуманное дело, и во всем этом большую роль играли дверные коврики, красные тряпочки, вырезывание лоскута из подкладки, сахар, соль, хлеб.

Было приятно смотреть на деловитость, с которой она, по-восточному поджав ноги, восседала на кровати и орудовала иглой, подталкивая ее наперстком: как изящны и отчетливо проворны были худенькие руки с тонкой прозрачной кожей и трезубцем нежных костей! Особенно поражало меня ее искусство завязывать узел нитки языком: тогда у нее в глазах рождалось выражение, какое я наблюдал только у русских медвежат.

Жозетт завела метлу, похожую на лопатку, вывалилку для ковров, и теперь моя комната, старая, толстостенная, сверкала, горела и блестела. Все помолодело, подтянулось; приободрился даже дряхлый шкаф, и только черная ржавчина в углах зеркала могла выдать его преклонные годы. На протершейся обивке кресла возлег кружевной платок, исцеливший рану, окно было протерто до незамечаемости стекла, и сквозь него парижский пейзаж с парадом своих узких толстопузых домов на набережной, с полосой смирной неволнистой реки казался обновленным и, как в юношеские годы, привлекательным. Я стал бояться пыли, пепла и окурков.

А когда подходило десять часов вечера и мой полусумасшедший сосед начинал славить Бога



фокстротом «Аллилуйя», то мне казалось, что нам, бедным и заброшенным людям, невидимо сопри-сутствует Моцарт, беспечный и праздный гуляка, не обиженный, что его обедню какой-то нью-йоркский наглец переложил на плясовые темпы. И когда начиналась эта музыка, смягченная и облагорожен-ная стеной, Жозетт, приготовив руки, лунатически подходила ко мне, и наши ноги, то вперед, то назад, начинали делать маленькие смешные, семенящие шажки, тело подготавливалось к крутым поворо-там, и пульс начинал биться в ритм музыки. Мы танцевали на узеньком пространстве, то загибая ко-вер, то толкая кресло или стол и учтиво перед ними извиняясь. А когда фокстрот кончался и слышалось только шипенье иглы, мы, как в дансинге, требова-тельно хлопали в ладоши, и сосед в волнении пускал свою пластинку с середины, и тогда мы несколько секунд стояли, обнявшись, чтобы поймать ритм.

Однажды Жозетт добралась до чемодана с мои-ми рукописями и испугалась, подумав, что я фабри-кую фальшивые деньги. Она никогда не думала, откуда берется музыка, и когда поняла, что ее осо-быми знаками можно записывать на пятилинейной строке, то придумала свое выражение: прятать зву-ки в коробочку.

В последнюю, прощальную среду она ворвалась в комнату с двумя листочками розовой бумаги в руке; это были театральные билеты: и ровно через полчаса мы были с ней у фасада Оперы.

Я очень люблю часы хождения в театр. Особое настроение охватывает меня с той секунды, в кото-рую я получаю в руку свой билет. Стоит мне ощу-тить прикосновение этого маленького листка, как вся жизнь уже представляется мне иною. Я хуже вижу, хуже слышу. Люди кажутся мне маскарадны-ми, лица их и дела – незначительными, и я скорее

хочу пройти расстояние от метро до театральной двери. Автомобили, их звонки и дрожание моторов делаются особенно ненавистными. Фасад театра, в обычное время напоминающий мне торт, теперь кажется волшебным. Мне даже нравится то вымученное усилие, к которому прибег архитектор, чтобы сделать входную лестницу ослепляюще роскошной. Я даже чувствую горькие, тайные мысли архитектора: «А все-таки я недостоин развязать ремень на ноге того, кто построил лестницу в Блуа». И я утешаю архитектора: «Ничего, не беда, милый, и у тебя будет просвет». Я знаю только одно: там, где-то сзади, в узеньких комнатках, сейчас волнуется сотня людей, мажущих лицо сначала оливковым маслом, потом кладущих на него тон, первый или третий, наводящих черную жирную черту поверх бровей, рисующих продолговатые черточки у глаз, усиливающих кисточкой линии носа, румянящихся, делающих рот ослепительно-карминовым, приклеивающих бороды к выбритости подбородка, и только это мне кажется настоящей и ценной жизнью.

Когда при первых аккордах увертюры у меня огнем пробежал мороз по коже и я хотел это скрыть, Жозетт сразу все поняла и участливо взяла меня под руку, прислонилась головой к плечу, дала мне своего тепла, и я вспомнил жену и ясно представил, как она в это время наводила бы бинокль на партер, завистливо, до сухости во рту, рассматривая бриллианты, прически и фасон платьев «хорошей» публики, как ей было бы стыдно этого второго балкона, узкой скамьи, сопенья толстой тетки, и она ворчливо говорила бы, что бедность – не порок, но большое свинство.

Жозетт тоже рассматривала люстры, потолок, занавес, клетки лож, но певучесть скрипок во второй части увертюры захватила ее, пальцы ее креп-



че и крепче стали сжимать мой локоть, губы полуоткрылись, от прически отделилась прядь слабо завитых волос, и дыханье сделалось чуть заметным и горячим.

Но когда открылся занавес, запел король с приклеенной бородой, слишком старой для его глаз, и на задней кулисе, провожая шаги неосторожного плотника, закачались стволы столетних дубов и стало видно, как в жизнь средневековых людей вмешивается дирижер, вылезавший из фрака и левой рукой резко и часто перелистывающий партитуру, – очарование разрушилось, и Жозетт рассмеялась по-деревенски, в платочек. А когда хористы в медных колпаках, похожие на пожарных, сделав искусственный и вялый энтузиазм, ударили пиками в пол и из соль в до крикнули «*Nous preterons*», – Жозетт посмотрела на меня конфузливо, что я истолковал так: только дети могут принять всерьез такие пустяки.

Она вдруг потеряла уважение ко всему: и к красоте театра, и к поющим людям, и к зрителям. В одном только месте она не видела обмана: в оркестре. Да, только там, в этом отделении ниже пола, сидят непритворяющиеся люди, не намазавшие щек и честно читающие ноты. Ей стало скучно, и она незаметно слазила в мешочек, где лежал «кар» леденцов в бумажках, и я слышал, как осторожно шуршали эти бумажки и как леденцы перекатывались меж зубов, от щеки к щеке.

Потом, постепенно и незаметно для себя, она стала привыкать к неестественностям представления: появление лебедя и высокого статного человека в серебряном чешуйчатом панцире, с крыльями на шлеме, ее пленило. Она спросила меня, как его зовут, и непривычное имя по-школьнически повторила несколько раз. Матовый, сладковатый тенор, лившийся из горла с особой, в Италии по-

ставленной легкостью, нравился ей, она зарумянилась, и полоса подлинного румянца четко отделилась от накрашенного: в ней начиналась театральная влюбленность, и в глазах порою собирались слезы, ускользавшие назад, как только король или Фредерик начинали свое тяжелое, надутое козлетоное пение. К Эльзе и к ее жестким белокурым волосам она отнеслась холодно: она чувствовала любовное дыхание между ней и Лонгрином и тайно ревновала.

В антрактах я старался объяснить ей, что в этом огромном и сложном шуме все с точностью до секунды соразмерено и каждое движение смычка или губ флейтиста предопределены нотой и что все это придумал, составил и записал один человек, молодой немец, носивший, покрывая правое ухо, берет, бесконечно и требовательно клянчивший у всех денег, обожавший площадь Святого Марка и кафе Флориана.

Жозетт плохо верила моим рассказам и упорно твердила:

– Этого не мог сделать один человек!

Я злился, вступал в перекоры, и только тогда, когда два хора запели медленным молитвенным дуэтом «Топате», мне стало ясно, что со всеми своими претензиями на музыкальную образованность я, в конце концов, ни о чем истинном не догадываюсь и что по-настоящему чуткой и проницательной оказалась она, это бедное и жалкое существо, последнее из людей. Конечно, это не написано одним человеком. Конечно, этого, собравшись вместе, не смогли бы написать все люди. Конечно, все это продиктовано и нашептано Духом Святым, Господом Животворящим.

«Отверзу уста моя и наполнятся духом и явлюсь, светло торжествуя» – так когда-то, на третий глас, распевали русские дьячки.



И в этих простых, но ясных и точных словах открылась мне вся тайна творчества.

Лысый человек в берете, обыкновенный немец-перец-колбаса, умел отверзать уста, и они наполнились Духом, и теперь во вражеской стране, в торжественном парижском кафедрале музыки, он, невидимый и таинственно живой, является светлоторжествующим.

О, какими маленькими, бедными, показались мне бумаги в моем чемодане! Хорошо, что я не носился с ними, как Мартын с мылом, не толкался по театрам и издателям, не играл отрывков понимающим людям и, предусмотрительно заглядывая в будущее, не искал благосклонности у газетных писак. Иначе лупи себя обеими руками по морде, прочно надевай на шею мельничный жернов и – в прорубь!..

Бывает так, что один день, один час, одна минута впитывает в себя всю предыдущую жизнь, и когда после спектакля, после великого воздуха искусства, я вышел на улицу, то сразу стало скучно, и весь шум, запах бензинного перегара, замученные деревья на тротуарах (напоминающие зверей в клетках), затемненность неба от реклам, пиво на нагретой парусиной террасе, преувеличенный свет электричества – все стало противно, как кровать во время бессонницы. И я по-детски обрадовался, вспомнив, что в моем номере уже стоят нагруженные чемоданы и надо только надавить коленом, чтобы замки сошлись. Завтра французский Гаврила закрутит, и мы двинемся в путь, и я снова увижу барселонские бульвары, барселонскую гвоздику и кафе «Ориенте». Прощай, «Ротонда»!

XXX. Зеленые очки

Ослу надевают зеленые очки и потом дают стружки. Осел ест стружки и думает, что это – трава.

Вероятно, и я немножко похож на этого осла. Я еду в Испанию и уже на Орсейском вокзале надеваю зеленые очки. В этих очках Испания напоминает мне Россию.

Я люблю переезжать границы. Предъявляя в таможене паспорт, остро представляю, как наступит в моей жизни тот самый яркий и священный день, в который я снова перейду русскую границу. Если бы кто-нибудь сумел доказать, что это – несбыточные мечты, то я перестал бы представлять себе, зачем мне дольше жить на белом свете. Этот день придет, я перешагну русскую границу, я буду окружен русской, только русской, речью, как водою в море. Пусть слова и интонация будут грубы, жестки, оскорбительны и несправедливы, но это будут русские слова. Мне надоела холодная вода этих *voulez-vous, bitte* и *prego*. Поэтому, надев зеленые очки, я испытываю волнение, когда в Портбу чиновник, похожий на наших надворных советников, просматривает мой паспорт, удивляется множеству лиловых виз и подозрительным оком сличает каторжную фотографию с моей физиономией. В его движениях, в его провинциальности, в его боязни промахнуться и добродушии есть что-то от русского кинодрала, и мне кажется, что в общежитии его именуют Поликарпом Ивановичем. Этот Поликарп Иванович, как судебный пристав, в один прекрасный и долгожданный день введет меня во владение моей страной, моим родным городом, родным домом, полосой железной дороги от Ростова до Москвы, запахом рогожи и смолы на волжском пароходе, пением соловья вблизи Васильсурска, видом на Нижний с ярмарки, звоном угличских колоколов. Я не могу без волнения думать о принадлежащем мне достоянии.

Я не знаю, откуда и почему, но Испания каким-то своим воздухом, какими-то своими линиями,



каким-то своим особым обхождением напоминает мне Россию.

Эта страна говорит на остатках латинского языка, не знала войны, убитых и раненых, защитных шинелей, воинских поездов, газовых масок, штабных сводок, хлебных карточек, материнских и сиротских слез. На мир, на солнце, на людей она смотрит тем выражением глаз, которое с четырнадцатого года померкло в Европе. Ее удивляем мы, люди приезжие, потому что у всех, кто был на войне, остался в глазах «сум», как для краткости называл сумасшествие мой полковой врач. В Испании – здоровое зрение, здоровый слух, безмятежен сон, народ еще способен сочинять новые песни и о любви находить новые веские слова.

В Испании осталась неторопливость жизни. Однажды, едучи из Реуса в Сарагосу, я за целый день увидел только две встречные телеги, и отары овец бросались от моего автомобиля, как от бешеной собаки. Кстати, только еще в Испании собаки провожают автомобиль лаем.

В Испании можно набрести на отель, в котором ночевали и Дон Кихот, и Сервантес. Широчайшие постоянные дворы, с вкусным запахом сеновала, конского пота и колесной мази, с оживленной и непонятной карточной игрой на серебро под керосиновым фонарем, расположены в центрах городов. В Испании к вину не примешивают воды, и человек никогда не ощутит от него головной боли: испанское вино точно исполняет закон Писания и веселит сердце. Узнав, что вы – иностранец, редкий трактирщик не предложит вам бесплатно отпробовать от какой-нибудь заповедной бочки, за которой, с резиной в руках, сам полезет в подземелье. В глазах его блестит уже то удовольствие, которое вы сейчас испытаете сами. Вы здесь начинаете по-

нимать разницу в наслаждении первым стаканом и вторым, пятым и одиннадцатым. В погребке, под сводчатым потолком, горит фонарь, спускающийся на блоке и похожий на лампаду. Вокруг стоят стоведерные бочки... Пол земляной, скамьи без спинок. Старуха перед тем, как сервировать вас, долго и вкусно полощет бутылку под уличным краном. А рядом – огромный собор с перепутанностями сводов, дыхание крепкого росного ладана и во дворце, на огромной плоской стене – только одно окно, непонятное, отлично украшенное карнизами, нелепое и волнующее. Пальмы, тихо плещет море, и его последняя волна, белая, похожа на клавиатуру.

Тихо оберегают страну маленькие Мадонны в парчовых царских одеяниях, в коронах, в париках из девичьих волос. Они странны, насчитывают столетия, эти святые куколки, в них есть притягательная сила, перед ними можно просидеть целый день, и без всякого усилия какая-то таинственная рука вычистит вам душу, и вы другим человеком выйдете из часовни на земной, животный воздух. Я обожаю одну из этих Мадонн, валенсийскую. Мадонну людей отчаявшихся, людей лютого телесе озлобления, и всегда мечтаю о том, как мою земную ладью вновь пригонит к берегам этого по виду мало чем замечательного города, но с внутренней прелестью, прикасающейся к сознанию и тотчас же, как золотая рыбка, ускользящей. Для русского в нем есть что-то от Москвы, и кажется, что Иверская теперь на ангельских руках перенесена сюда.

Я люблю достойных и вежливых людей, населяющих Испанию, чинно обедающих в гостиницах за общим столом, пьющих вино прямо из бутылок, не прикасаясь, однако, губами к горлышку. Это даже не питье, а переливание вина из одного сосуда в другой. Приятно в это время отмечать наслажде-



ние вкуса, ласку рта, и потом – первую сбивчивость, появляющуюся в глазах и пальцах. Аромат мяса, зажаренного большим куском на вертеле, или рыбы мерлузы, похожей на нашего донского судака, возбуждает аппетит, а красные гвоздики, жирные и большие, кажутся, по совершенно непонятным ассоциациям, цветком и орденом пьяниц.

Бои быков (и эти две части – части театра, солнечная и теневая) – национальное торжество, о котором специальные критики пишут с таким же вожделением, с каким в других странах пишут о балете балетные критики. Из-за несправедливого суждения о том или ином жесте тореадора критик может вписать в свою биографию отчет о солидной дуэли. Сколько комплиментов быку, его храбрости, остроумию и благородству. И часто приходила мысль: бои эти имеют серьезное воспитательное значение, ибо, глядя на зверя, человек невольно берет у него уроки подлинной райской доблести, честности, отваги и простодушия. Может, в этих боях и заключается основная педагогика, воспитавшая испанца. Испанец – вежлив и долготерпелив, но если вы раздражите его каким-нибудь красным лоскутом, он, не моргнув глазом, убьет вас хотя бы бутылкой по голове. Если бы я имел власть, то завел бы бои быков в России: мои подданные многому бы в них научились. Лицемеры много говорят об аморальности этого зрелища. Но если предоставить слово быку, то он, наверное, предпочтет умереть в бою, на арене театра, чем погибнуть на бойне.

...И вот ранним, еще незасоренным утром, пробираюсь по метро, пахнущему сапогами, на Орсейский вокзал. Парус натянут, ветер поднялся. На пороге вокзала Париж уже отходит вдаль. Радует вокзальная обстановка, вся чуть-чуть пропахшая ароматом дорожного дыма: не шумно-торгующее, без посто-

янной клиентеллы, официально-казенное, совсем не парижское кафе, киоски с чересчур навязчиво поданными «произведениями печати», автоматы с экономными пакетиками аниса, блузы носильщиков и их глаза, единственно спокойные в толпе, без следов дорожной лихорадки. Неприветливые кассы с таким же окошечком, как и в театре, но без театральной уютности. Железная дорога, эта ниточка, сшивающая город с городом, страну со страной, – где-то под землей. Отходящие поезда не слышны, и только сквозь невидимые щели просачивается и нежно ласкает ноздри родная и близкая сердцу бродяги гарь. Сейчас – одно-другое напряжение стальной львиной груди, и мы вынесемся на простор чистых, заботливо выхоженных полей. Мы увидим деревеньки, похожие на частицы городов, кладбища с аккуратными будками над могилами, реки, похожие на каналы, степенные и нешаловливые даже на солнце. Во французском пейзаже нет той отравы, которая заставляет сердце забиться. С отравой есть только одна точка, под Марселем, когда впервые на секунду мелькает первое видение моря.

В углу вокзала, на планках садового дивана, я вижу разместившейся всю нашу труппу. Сидят, не доставая ногами до пола, со сморщенными, старческими и неулыбающимися лицами. Кажется, что вот такими должны быть жители Марса, Сатурна или иной какой-либо плохо согревающейся планеты. Только одни драматические актеры попадают на сцену по велению сердца. Оперные или вот эти лилипуты – гости театра, попадающие в него по случайному признаку – голоса или маленького недоразвившегося роста. Самые знаменитые оперные актеры – простачки и дилетанты с точки зрения подлинного театрального искусства. И вот начинаю разглядывать лилипутов: на них – чистенькие



костюмчики, модные и выутюженные, но все, что в них модно, например – широко развернутые лацканы на пиджаке или нижняя не застегивающаяся пуговица на жилете, вызывает улыбку и почему-то выставляет в смешном свете самую моду. Ботинки с накладными колотыми носками сверкают – и тоже смешно. Шляпы по особому заказу сделаны у Шульиа: фетр мягкий, эластичный, не теряющий фасона, но тоже почему-то карикатурный. У лилипуток – перстни с бриллиантами и туфли на высоких каблуках. Сидят группами, в одной – русские, в другой – немцы, в третьей – англичане. Особняком сидит лилипут-негр, самый франтоватый из всей компании. Хохлы, наверное, звали бы его «чертыня». Русские же зовут его Сережей, англичане – Джеком, немцы – Карлом, и он на все имена откликается. Глядя на этого франтоватого негритенка, я вспоминаю наблюдение, отмеченное во всех уставах полицейской внутренней службы: плохо одетый негр и щеголеватый араб – подозрительны. Наш Сережа-Джек-Карл терпеть не может, когда его зовут негром. Его нужно звать негро, с ударением на «о». У этого сорокалетнего негритенка – страсть к белому цвету: его воротнички и манжеты всегда ослепительны. Он – плясун. Его коронный номер – чечетка, с отбиванием подошв по полу. Директор разослал по агентствам всего мира требование найти ему партнера: тогда образуется золотой номер.

Совсем поодаль, в несколько презрительной позе, устроился Васенька, костромич, с льяными волосами, наш премьер. У него звонкий голосок, смесь альты и тенора, необыкновенно высокий, пронзительно доходящий до третьего ми. На сцене он носит канотье по фасону Шевалье и, перебирая тросточку пальцами, исполняет залихватские куплеты. Он женат на Юдифи, взрослой и совершенно

нормальной женщине, которой доходит головой до бедра, я ее зову Юдифью, все остальные – Еленой Сергеевной. Она – очень хороша, в глазах есть что-то сибирски волевое, в браке с Васенькой – епитимья, отрешенчество, подвиг. Она любит мужа и часто, как ребенка, носит его на руках, и тогда в странных, скопческих глазах Васеньки посверкивают огоньки, каких я никогда не видел ни в звериных, ни в человеческих глазах. И тогда он кажется дьяволенком, искусно спрятавшим хвост и рожки.

У этих людей – особая, странная жизнь, как у близнецов. Когда заболевает один, то болеют немножко все. Редко зовут доктора, сами варят какие-то полынные травы и настаивают декокты по рецепту таинственного доктора Эрнеста, который жил до ста лет и умер только потому, что упал с лошади. Когда к жене Васеньки пристаёт с любовью директор – ревнуют все. Когда кто-нибудь тянет вино, то даже немцы бросают пиво и хотят вина. Они шепчутся в уголках. У них, как у глухонемых, есть своя азбука, и, не зная языков, они отлично понимают друг друга. Самое странное в них – это уверенность, что на земле нормальны только они, а не мы, все остальные жители земного шара. И Бог в их представлении – тоже маленький. Они смелы и задиричивы и всегда носят при себе оружие, иногда – огнестрельное, иногда – навагу.

XXXI. Пятьдесят четвертая комната

– Ты не любишь моего дела! – кричал директор, бегая по кабинету.

Чтобы привести его в окончательное бешенство, надо сохранять спокойствие и курить густыми затяжками.

– Когда ты скажешь это в сотый раз, мне придется отпраздновать юбилей, – отвечаю я.



– Может быть, мое дело и халтура, но ты от него кормишься, одеваешься и обуваешься! – кричал директор.

– Ты забыл еще упомянуть о квартире с отоплением и освещением, – отвечаю я.

– Я предлагаю тебе за это выступление внеабо-нементных пятьдесят пз!

– Не возьму и тысячи.

– На камион уже погружено пианино!

– Бренчи на нем сам. У тебя как раз есть то качество, которое называется ярмарочным туше.

Такой диалог произошел в Мадриде.

В Испании творилось что-то шумное, нелепое и суетливое, что бывает в школах на переменах и чем всегда начинаются первые спазмы революций. У кондукторов трамвая – решительный полководческий вид, резкие повороты рычага, вагоны не задерживаются даже на обязательных остановках. На уличных сборищах поносится имя короля, и всякое остроумие по его адресу, относительно его имени или числа тринадцать, встречается шумными аплодисментами и взлетом каскеток. У полицейских вместо гордыни пришибленный и виноватый вид.

Ювелиры и меховщики затворяют свои двери задолго до вечернего часа и увеличивают количество замков.

Газетные заголовки украшаются множеством вопросительных и восклицательных знаков. Театральными делами ни одна душа не интересуется, даже редакционные места остаются незанятыми – и наши спектакли в Барселоне прошли при пустом зале.

Поэтому, прибыв в Мадрид, директор пустился на отчаянные средства. Расклеив по городу афиши с сажеными буквами, выбросив на улицах миллионы летучек, он нанял огромную автомобильную платформу, разукрасил ее флагами всех государств, водрузил под их сенью обшарпанное пианино с

желтыми зубами, нарядил своих карлов в средневековые костюмы, сам напялил фрак, сморщенный цилиндр и неуклюжие белые перчатки, вооружился корнет-а-пистоном и в таком виде отправился на завоевание города. На перекрестках карлы должны были представлять, я – играть на пианино, а он – то дудеть в кларнет, то орать в рупор, выхваляя карлов как любимых артистов придворного театра. Я встретил эту процессию, когда она въезжала на Puetro del Sol. Эта очаровательная площадь, всегда живая, сердце города, теперь кипела на жарком огне. Люди запрудили ее так, что яблоку негде было упасть, стояли плечом к плечу, галдели, жестикулировали, обдавали друг друга табачным дымом, мучились от жажды, слушали пучеглазых ораторов, забиравшихся на возвышения, и ждали не то сообщений, не то событий. Все говорили на три тона выше обычного, и даже природные басы кликушествовали тенорами. Площадь перестала быть площадью и казалась сараем, с которого сняли крышу. Было в этом что-то муравьиное и с горных высот, вероятно, жалкое и смешное.

Я ощущал холодное, равнодушно отвратительное чувство, которое бывает у человека на чужих похоронах, и очень обрадовался, когда увидел, что к краю толпы подъехала директорская платформа. Люди, изумленные неожиданностью автомобиля, карлов и пронзительно пожарной нотой кларнета, смолкли, по-южному сразу раскрыли рты, потом сильнее выдавили масло друг у друга и пропустили машину с той покорностью, с какой во времена оны Черное море пропустило евреев. Директорская процессия поразила даже ораторов своей необычайностью, и у всех, вероятно, пронеслась мысль, что это – неспроста и что процессия имеет отношение к событиям и знаменует собою какой-то



загадочный перелом. В стадо, которое задумало переменить козла, въезжала группа молчаливых и зловещих карлов. Сверкали на солнце пики, алебарды, шлемы, полосатые штаны папской гвардии, накрахмаленные фижмы, поддельные драгоценности, начищенная под золото медь. Среди этого тряпья и бутафории печальными и равнодушными глазами смотрели на свет Божий какие-то дети с маленькими жуткими личиками стариков.

Платформа остановилась посредине площади, неподалеку от трамвайного павильона, с крыши которого держал речь некий гражданин, остановившийся на полуслове.

Директор очень находчиво учел момент, с клоунской преувеличенной почтительностью снял цилиндр и обратился к нему с приветствием:

– Добрый вечер, сеньор!

Оратор, неожиданно поддавшись этому тону, ответил как-то кукарекая:

– Добрый вечер, сеньор!

И почему-то ударил шляпой по подошвам сапог.

Стало весело. Толпа зааплодировала. Кто не слышал слов, подался ухом вперед.

Директор бросился к пианино, откинул крышку ногой (показалось, что ударил в живот) и изо всех сил, с мюзик-холльной удалью, ударил по клавишам. Старые, очень подержанные струны ответили сначала хрипом и воем, но потом подтянулись и стали выводить что-то похожее на «Двуглавого орла». Во время музыки толпа очнулась, что-то начала понимать. Какой-то озорник в лиловой жилетке влез на крыло колеса и потрогал ногу карлицы Настасьи Григорьевны. Настасья Григорьевна притворилась, что ей наступили на мозоль, и три раза, держа ногу за пальцы, протанцевала вокруг самой себя. Было похоже на картинку из объявлений о пластырях, и

опять толпа разразилась смехом. Лицо директора окончательно прояснилось, ибо он исповедует ту истину, что хороший смех – вожак успеха. Пианино, покончив с маршем, начало подходить опять к чему-то знакомому, и вдруг все карлы встрепенулись, почуяв в музыке сигнал. Настасья Григорьевна, протянув руку с воображаемой кружкой, кокетливо приподняла юбку и вступила:

– Кому вина, проси скорей!

И хор карлов, напряжив горла, ответил скопческими голосами по-русски, по-немецки и по-английски:

– Давай сюда, налея полней!

Толпа забыла революцию, газеты, ораторов, мысль ее перестроилась, в глазах замелькали искры удовольствия и доброты, – и директор оказался властителем дум. Его глаза тоже перестроились и из неопределенно-возбужденных стали наглыми, фамильярными. Он понял, что он уже вошел в клетку и зверь загипнотизирован. Как умен был Рим с теорией хлеба и зрелищ!

Пользуясь минутой сосредоточившегося к нему внимания, директор снял наотмашь цилиндр, поставил ко рту рупор и заорал глухим, как из бочки, голосом:

– Сеньорины, сеньориты и сеньоры, бородатые, бритые, с усами и безусые, лысые и кучерявые, старые и молодые, верующие и неверующие! К вам приехала труппа султана, который прежде восседал на алмазном престоле, а теперь на огороде картошку копает за две песеты в день!

Грохот одобрительного смеха.

– Зная, что дела плохи, на картошку неурожай, султан отдал мне своего наследника на воспитание и я, уважая Испанию, ее ум, литературу и территорию, Альказар, Гранаду и Баб-эль-Мандебский



пролив, апельсины, мандарины, оливковое масло и шали, – я этого наследника повернул в испанскую веру, – нет, не думайте, не в Saecula saeculorum, а в особую, настоящую испанскую веру. А именно! Протрите ваши шары и слушайте меня внимательно!

С искусственно мрачной решимостью директор подтянул к себе чемодан и, надавив замки, раскрыл его надвое. Затем он запустил туда лапу и вынул сначала серую игрушечную лошадку, а потом Васеньку в латах Дон Кихота. Васенька сначала казался смущенным и замахнулся копьем, и все поняли, что это – атака на мельничные крылья. Затем он достал негритенка в костюме Санчо Пансы. Негритенок извлек из кармана бутылку и, запрокинув голову, начал лить в себя не то вино, не то розовый лимонад.

– Берегите карманы! – орал директор. – Бойтесь чумы и привидений! При первых же заболеваний обращайтесь к монахам-кармелитам!

Чем нелепее был набор фраз, тем толпа более неистовствовала от восторга. Оратор, стоявший на крыше трамвайного павильона, раскусил опасность положения и кривил губы. Директор заметил это, испугался контратаки и перешел к делу.

– Приходите же на спектакль, старые и малые, родившиеся и неродившиеся! Беременным солдатская скидка! Кто к нам в театр не ходит, тот человек дурной! Сейчас театр для вас – как мятная лепешка. В июльский день! Итак, граждане, запишите у себя на штанах: цены революционные!

– Цены революционные! – запищали карлы. Опять – энтузиазм. Что бы ни сказал теперь этот человек, все имело бы успех. Если бы дать ему задачу повернуть вспять все движение, осмеять все газетные заголовки и цветные прокламации, то, пожалуй, он и в этом бы успел. Люди разрядились, растерялись, и сразу стало понятно, что начало

толпы – женское начало, и тут очень важно прежде всего поразить воображение. Какой талант трибуна вдруг блеснул в директоре! Я проникся к нему величайшим уважением.

Толпа дружелюбно и любовно расступилась, и автомобиль, как ледокол, медленно разрезал подавшееся ледяное поле.

Я пошел в Прадо. Шел густыми тенистыми аллеями, сохранявшими прохладу. Неподалеку от музея показались мраморные люди, то стоявшие, то сидевшие на высоких цоколях. Выражение их лиц было одинаково величаво, как на всех вообще памятниках. В этих кварталах было пустынно, и казалось: вот тот мир, на который идет наступление со стороны Puerto Del Sol.

С вокзала доносились паровозные свистки. Небо было сине ровной однообразной синевой. Я подумал, если синеву очень отдалить, то она приятно несовместимо свяжется с зеленью листвы. Остро чувствовался особенный вкус воздуха в Мадриде, совершенно непохожий ни на какие другие воздуха.

Кассир, стоявший у турникета, посмотрел на меня с удивлением. В музее посетителей не было. Смиренно-монастырски работали копиисты, и у сторожей, как у музейных сторожей всего мира, на лицах была написана каменная, жестокая скука.

Приятно и сладко знать в сложном лабиринте особый таинственный ход, самим тобою выработанный. Так за хорошим ужином, подготавливаясь к шампанскому, люди пьют простоту обычных вин. Прохожу мимо нежных и избалованных Данай Тициана. Как противоположность, вбираю в себя изысканность и преждевременное одряхление лиц Веласкеса. Вот сладостно-неверное зрение Эль Греко и конфетная фабрика Мурильо. А вот она, цель моих странствий, мое шампанское: пятьдесят четвертая комната.



Здесь висит портрет Дениз, несколько сот лет тому назад написанный для меня Дюрером. Она – обнажена, по телу разбросаны удивительные блики света. Этот свет, как прикосновение мужского начала, неотрывно льнет к чувственности. Еще бы! Она родила весь человеческий мир, эта Ева, – родила, опозорила и навлекла на него грех, проклятие и смерть.

Я замучиваюсь перед этим созданием. Я не чувствую ни дрожи ног, ни взбаламученного всего моего существа. И вдруг суровый голос сзади:

– Вот уже час, как вы любуетесь моей дочерью. Это лестно, черт возьми!

XXXII. Юпитер сердится

Оглянувшись, я увидел, что сзади меня, в великолепно-снисходительной позе, стоит отец Дениз – Юпитер, как мысленно я его называл. Что же, однако, случилось с этим богатейшим антверпенским купцом, сильно мне подозрительным по работоторговле в Конго? Я не видел его месяцев шесть. – Боже мой, какая разительная перемена! Смерть обгладывала его, как собака – кость. Смерть основательно принялась за этого человека. «Но ведь то же самое она проделывает и с тобой!» – невольно пронеслось в голове. Разница заключается в том, что, глядя на себя в зеркало, не замечаешь постепенности и неуклонности уничтожения своего собственного. Борода Юпитера подросла, как это часто бывает со вдовцами, выдавшими замуж свою единственную дочь, единственную свою на земле привязанность. Жизнь их теряет смысл, остается доживание, и они запускают бороду, начинают быть небрежными в одежде, всюду рассыпают пепел, едят ножом, руки у них начинают мерзнуть и дрожать, на глазах часто показываются беспричинные слезы, память пере-

стает принимать новые материалы. Усы Юпитера покрылись у ноздрей налетом табачной желтизны: очевидно, стал курить без мундштука. Кожа на носу стала тоньше, суше и начала походить на плохо обработанный пергамент. Костяк черепа выпирал отчетливее. Отвисли и стали видны две старческие складки под шеей. «Годика через два сыграет в ящик, – подумал я, – и с досады не велит возлагать цветов на гроб».

– Вот неожиданность, – сказал я, ощущая его просторную, емкую и сухую ладонь.

По рукопожатию я понял, что он относится ко мне дружески и хорошо. Глаза его мягко и снисходительно улыбнулись, брови сначала захотели сурово сморщиться, но потом перешли на линию юмористическую.

– Правда, она, эта Ева, похожа на Дениз как две капли? – спросил Юпитер с видимым удовольствием. – Только вот ногти на руках подгуляли. Обстрижены до мякоти. Но так, все остальное – посадка головы, лицо, волосы, глаза – Дениз, точная копия!

Я согласился.

– А почему вы здесь? – вдруг допрашивающим тоном начал Юпитер. – Вы пришли к Дюреру или к Дениз?

– И то и другое сливается в одном очаровании, – ответил я.

– Вы хотели бы иметь эту картину у себя? – спросил Юпитер.

– Еще бы!

– Тогда я вам подарю ее! – сказал Юпитер.

– Я насторожился и не без тревоги взглянул ему прямо в глаза: нет ли там каких-нибудь подозрительно пробегающих и не особенно логических теней?

– Эта картина принадлежит вам? – вместо благодарности спросил я невинным тоном психиатра, исследующего подозрительного пациента.



– Эта картина мне не принадлежит, – ответил спокойно Юпитер, – но через месяц она будет мне принадлежать.

– Ага! – ответил я. – Я понимаю течение ваших мыслей. В Испании началась революция, и вы надеетесь, что через месяц революционное правительство приступит к распродаже музейных сокровищ...

– Течение моих мыслей совсем иное, и ни на какое революционное правительство я никаких надежд не возлагаю, – ответил Юпитер солидно, – течение моих мыслей – более просто. В стране, создавшей образ Санчо Пансы, должна существовать приличная категория мошенников и людей ловких, – это все, что нужно для дела. Монеты имеются, а Санчо Пансу мы найдем. Дайте мне ваш твердый парижский адрес, и к зиме эта картина будет у вас. Вешайте ее так, чтобы свет был слева, – тогда вот эти блики будут жить... Конечно, когда она будет у вас, об этом не нужно давать в газеты паблисити.

– Почему? – опять невинно спросил я.

– Потому что тогда и сами в тюрьму попадете, да и меня, того гляди, на старости лет туда же отправите.

– Вы собираетесь совершить поступок, противный законам?

– Разумеется. Я собираюсь завладеть картиной.

– Простите, – сухо ответил я, – но я не принимаю в подарок вещей украденных.

– Ну и черт с вами, не надо, – ответил Юпитер, – я ее сберегу для себя. Я люблю Дениз по-настоящему и уже тридцать лет целюсь на этого Дюрера. Теперь началась революция, пойдет кавардак, тут и надо ловить рыбу.

Юпитер вдруг презрительно улыбнулся в желтевшие усы и добавил:

– А мне иногда казалось, что в вашей душе живет впечатление от Дениз. Я очень рад, что вы меня разочаровали. По крайней мере, у меня совесть будет спокойна.

– А у вас совесть была беспокойна? – спросил я.

– И очень даже. Я думал, что и у вас она не пребывала в полном спокойствии.

– Моя душа не была спокойна, – ответил я, – но совесть чиста.

– Странная у вас совесть, – сказал Юпитер, – во всяком случае – современная совесть.

– Я вас не понимаю и прошу объясниться.

– Сейчас объясняться с вами у меня нет ни охоты, ни времени, – отрезал Юпитер сердито, – скажу вам одно, что в наше время мы не заманивали приличных и неопытных девушек в подозрительные отели.

– А я? Я их заманивал?

– А вы их заманивали. Дениз не была у вас в отеле, когда вы уезжали из Антверпена?

– Была.

– Она вас не отвозила на автомобиле на пограничный вокзал?

– Отвозила.

– Она вас не целовала на прощанье?

– Целовала.

– Что все это значит?

– Ровным счетом ничего.

Юпитер обдал меня холодно-свинцовым взглядом и вышел из пятьдесят четвертой комнаты. Он был явно и недоброжелательно возбужден, и я, тоже взволнованный, с неожиданным обвинительным актом в душе, последовал за ним. Что за чушь. Что свалилось на меня.

В какой-то комнате стоял большой бархатный диван для отдыха посетителей. Я схватил Юпитера



за рукав и потянул его к этому дивану. Юпитер, не сопротивляясь, сел.

– Слушайте, – сказал я, – я требую точного и ясного объяснения.

– Извольте, – ответил Юпитер, – я готов его вам дать.

– Что случилось?

– Вы разбили жизнь молодой и неопытной девушки – вот и все, что случилось.

– Клянусь вам, что я ничего не понимаю.

– Вы не больны ослаблением памяти? – иронически спросил Юпитер

– Отнюдь.

– Вы помните ваш визит ко мне, в мой антверпенский дом?

– Отлично помню и сохранил о нем на всю жизнь самое благодарное воспоминание.

– Вы отлично отблагодарили меня! – сказал Юпитер, и в тоне его была яркая и подчеркнутая благородная укоризна.

– Но чем я провинился перед вами?

– Передо мной? Ничем. Но перед Дениз – да.

– В чем? Прошу сказать точно.

– Дорогой мой, – мягко сказал он, – я все понимаю на земле: и любовь, и уважение, и простую страсть. Я только не понимаю лжи. Я вас не зову на дуэль, я не подвергаю вас проклятиям и ничего от вас не требую. Я только удивляюсь: зачем вы строите на вашей физиономии это притворное непонимание, эту удивительную забывчивость и эту святую простоту? Одним словом, сейчас же после венца Дениз призналась своему мужу во всем. Меня удивляет только одно обстоятельство: почему она не сказала ему об этом до венца? Тогда не было бы никакой трагедии.

– В чем она ему призналась, черт возьми, – воскликнул я, – и какое я имею к этому отношение?

– Ну, дорогой мой, с вами разговаривать невозможно. Не могу же я, отец, называть некоторые вещи собственными именами? Но некоторые вещи их собственными именами я назову. Вам угодно?

– Очень прошу вас.

– Вы – не джентльмен, вы – не рыцарь, вы – не артист, – отчеканил Юпитер. – Простите: вы приказчик из галантерейной лавки. Это – не укор: я уважаю всякий труд. Это – квалификация. Вы удовлетворены?

– Я буду удовлетворен только тогда, когда вы и мне позволите назвать некоторые вещи их собственными именами.

– Пожалуйста, – величественно ответил Юпитер и ожидательно вставил в правый глаз монокль.

– Кто на меня нагнал, я не знаю, – ответил я, – зачем это нужно и кому – тоже не понимаю. Но если это сделала Дениз, то я вас поздравляю: яблочко от яблони упало неподалеку. Она – такая же мошенница, как и вы.

– А вы меня трактуете как мошенника? – спросил Юпитер удивленно.

– Я думаю! – воскликнул я в негодовании. – Вы только что собирались красть картину из музея!

– Ах, простите, я и забыл об этом! *Les affaires avant tout*, – виновато сказал Юпитер и деловито, сразу забыв обо мне, поднялся с дивана.

Я изумленно последовал за ним. Первый раз в жизни я видел такого человека.

Он шел гордо и величаво. С едкой и все впитывающей жадностью всматриваясь в лицо каждого сторожа, Юпитер бормотал про себя оценки, из которых до меня долетали кое-какие, вроде следующих:

– Идиот. Груша. Грыжа. Ханжа. Безнадежен.

Он был похож на полководца, собирающегося в сражение и оценивающего свой боевой материал.

Произведя инспекторский смотр сторожам, Юпитер, забыв, видимо, весь наш предыдущий и



неприятный разговор, снова доверчиво обратился ко мне с такой символической репликой:

– Здесь воды не найдешь. Надо рыть колодец в другом месте.

Потянуло пустыней, песками. Этот человек имел какое-то таинственное отношение к Африке. Нет дыма без огня.

– Теперь я вас попрошу оставить меня! – сказал он, опять неожиданно – по-дружески – пожал мне руку и направился в ту часть музея, где развешаны картины Гойи.

XXXIII. Козел отпущения

Есть в русском языке прилагательное: ошарашенный. Именно ошарашенным я вышел из музея. Все было ясно: богатая, избалованная и распутная девчонка покрыла мной, как козлом отпущения, свои грехи. Более подходящего и удобного случая она не могла найти. Чудаковатый музыкант, иностранец, случайный гость как нельзя более подошел к ее случаю. Она притворяется взволнованной, с наигранным институтским восторгом следит за ним, когда он выколачивает на ее «Бехштейне» свою шалую и никому не нужную симфонию, приветствует его специальным обедом, на котором учится есть черную икру, и после кофе упрекает его за то, что он играет ей печальный вальс, сочиненный Шопеном ко дню свадьбы девушки, которую любил и которая вышла за другого... О тонкости женские, лживые, хитрые, намекающие тонкости! Потом перед отъездом является к нему в отель, зная, что за ней следят, и сидит у него около часа; в это время его поезд уходит, и она на автомобиле вместе с ним мчится на пограничную станцию, целуется на прощанье (свидетели – у багажной конторы!) и потом меланхолически машет ручкой... Какая ловкая, изобретательная инсценировка!

Обольститель скрылся навсегда, а невинная, неопытная жертва льет слезы покаяния. Где-то есть и скрывается третий радующийся, который благодаря всем этим обстоятельствам выходит сухим из воды.

У этой двадцатилетней очаровательной девушки – холодная и ясная европейская голова. Наша русская девушка, пожалуй, не способна на такие махинации.

Что же мне делать? Отец ее, Юпитер, явно зол, и не мне привести его к истокам добра и благодушия. Я бы тоже на его месте был зол. Но он обдаёт меня презрением, относится ко мне, как к проходимцу, как к скрипачу из румынского оркестра, – это меня приводит в бессильное бешенство.

Я готов всячески служить тебе, очаровательная дюреровская Ева. Я готов покрыть твой грех. Но не надо бить лежачего, не надо валить на меня, как на мертвого. Если бы ты предупредила меня, я бы на все пошел. Но я не был бы Иудой, я бы не отрекся от тебя и не называл бы тебя лгуньей и мошенницей.

А это было так тяжело, и больно, и преступно, хотя, я знаю, что за такие преступления не казнят ни на одной из французских площадей. Я привык думать о тебе, ни на что не рассчитывая, даже на простую встречу. Как писали в сороковых годах, я носил в душе твой образ, последний образ, который по-тургеневски волновал меня и давал содержание моей жизни. Может быть, в этом было много надуманности и нарочитости, которыми очень часто бывает полна русская любовь, одна из самых тяжелых в мире, но это было так, и я, с седыми волосами на висках, часто просил Бога, чтобы он послал во сне видение тебя. Ты была моим потайным фонариком, при свете которого жизнь казалась мне имеющей все-таки смысл, хотя и не верный. Так, во времена оны, монахи влюблялись в мраморных Мадонн.



А теперь, если твой всемогущий отец украдет из музея твой портрет и отдаст его мне (какая утонченная попытка! Как это характеризует человека!), то я не посмотрю на подписи Дюрера, сверну его в трубку и варварски брошу в огонь. Я буду рад видеть, как легко вспыхнут старые краски и холст и как твои черты, твои глаза, румянец щек, очаровательные линии плеч и шеи будут корчиться и превращаться в пепел.

Я помню твой визит, из которого ты сотворила преступление. Ты разбудила меня стуком в дверь. Я думал, что это стучит мальчишка в кукольной курточке, пришедший за моим чемоданом. Сам я был под властью странного сна, главную роль в котором играл твой отец. Из нелогичности, которая с трудом удерживалась в голове, трудно было перейти к простоте электрического света, к кровати, которая видела преступлений больше, чем плаха, к вытопанному ковру, на котором еще старались цвести веревочные тюльпаны. Я так растерялся, увидев тебя. Я вспомнил, что у меня – заспанное лицо, невыбритые усы и щеки, развязанный галстук, потрепанный в узле, рубаха с порванными петлями, вылезавшая из-за пояса, недопитая и незакупоренная бутылка барзака и ломтик сыра в промасленной бумажке. Я не знал, что мне делать, и ты меня спросила:

– Когда вас навещают дамы, вы не приглашаете их сесть?

Я бросился со всех ног и неловкими движениями схватил с ковра кресло на старомодных колесиках и с очень смешной, по-голландски чистой салфеткой для головы.

Тебя смешило и в то же время тебе было лестно мое треволение, в котором уже недетским умом ты распознала сеть смутных и неискусно скрываемых мужских чувств.

Ты вынула из сумки зеркальце, переплетенное в змеиную кожу, и дала его мне, чтобы я мог сам посмеяться над своей растрепанностью. Зеркальце было маленькое, и мне пришлось в него клевать глазом, сначала правым, потом левым, потом занести его в сторону, чтобы рассмотреть, как смешно, по-детски, торчит на темени пук волос. Я их пригладил, и ты смеялась над моей неуклюжестью и неловкостью.

С зеркальцем в руках можно дурачиться и вести самые веселые речи, и будь на твоём месте другая девушка, я бы так и сделал: я бы старался найти пути к сближению, к молоточкам первых, запретных звонков. Я смутно догадывался, что звонки уже наигрывали в тебе свой неотчетливый перезвончик, но отогнал зародыш этой догадки и уверял себя, что ты – моя маленькая сестра. Это было радостное насилие над собой, то самое, которое оставляет в душе нежный, туманный и никогда не забываемый след.

Случайно начался деловой разговор. Так как ты в доме была баловницей, то все твои желания считались законами. Это отлично понял мой директор и под каким-то благовидным предлогом выманил у твоего отца значительную сумму денег. Я чувствовал в этом свою невиноватую вину и сказал, что деньги эти, так или иначе, будут возвращены. От тебя повеяло холодком, тебе был неприятен этот разговор, и ты обрадовалась, когда я рассказал тебе только что виденный сон. Змеи? К неприятностям. Музыка? К новостям.

Мало-помалу мне стала надоедать фальшивая линия старшего брата: и ход крови, и лучи глаз были неродственными. Мне казалось, что я понимаю их Диктовку, и вот пересохшим горлом, голосом, переменившим тембр, я вытянул из себя неуклюжие слова, сказав глупую фразу: «Чувствую, что в меня из невидимой леечки вливается яд влюбленности».



Это было самое смелое, что я сказал тебе. Мне показалось, что над моей неуклюжестью засмеялась вся комната: и лампа, и твое кресло, и тюльпаны на ковре, и даже сыр вылез из промасленной бумажки и скроил какую-то осмысленную бледную рожу.

Признание в начинающейся влюбленности не вызвало в тебе ни раздражения, ни досады. Ты его ловко и дипломатически замолчала. Кто же на моем месте мог бы предположить тогда, что в твоей чистой, гимназической, седьмого русского класса, головке ворoshатся предательские мысли? Ты разговора не поддержала, но в задних планах глаз пронеслись тени, благосклонные ко мне.

Выручил нас грум, пришедший за чемоданами. Чемоданы были тяжелы, и мальчишка спускался по ступенькам боком, выставляя первой правую ногу. Мы шли за ним, я смотрел на тебя и думал: сколько в ней чистоты! Девушка, приходившая в гостиницу к одинокому человеку, могла бы смутиться: консьержи и кассиры всегда проводят ее почтительно-бесстыжими взглядами. Ты же шла, как по лестнице церкви или своего родного дома, и в этом отсутствии грязных тревог были то невозмутимое, не от мира сего, спокойствие и негреховность, какие бывают у ангелов, когда им приходится ходить по грешным дорогам. Выйдя из отеля, ты не посмотрела с беспокойством ни направо, ни налево, неспеша подошла к своему автомобилю, около которого, как игрушечный солдатик, с надписью на круглой шапочке, стоял грум, уже вышколивший на своей свежей мордочке профессиональную и порочную бесстрастность.

Кто же мог подумать тогда еще раз, что в твоей головке, под этими тонкими и добрыми волосами, за этой чистой и туго, без единой морщинки, натянутой кожей бродят и по-одесски что-то комбинируют поганые и предательские мысли? Со своей линией

старшего брата и архиглупой леечкой влюбленности я превращался в бандита, в галантерейного соблазнителя и насильника. Ты, наверное, знала, что где-то из-за угла за тобой следит твой ревнивый жених, которому ты потом расскажешь, что твое девическое несчастье случилось здесь, что здесь ты носила на себе свою самую дорогую рубашку?

Автомобиль был превосходен, рессоры – чудо техники, и когда мы улицами и закоулками, прижимаясь к тротуарам, выбрались за город и там пустили всюю своих невидимых восемнадцать коней, то мне в первую минуту представилось, что это мчатся русские сани. Но когда я открыл глаза и увидел затянутое серой пленкой безглазое небо, невероятно унылый под колпаком простор и под ногами – бесконечную линию скользкого асфальта, то очарование России пропало, и только ты одна радовала меня, моя путеводительница, моя Афродита. Ты твердо держала колесо правления, дикая машина подчинялась тебе радостно, глаза прорезывали заградительное стекло далеким и отчетливым током, и то, что в этот момент из них исчезло все женское, расплывчатое и нерешительное, казалось особенно пленительным.

Мы настигли неторопливый и дешевенький поезд, со множеством дверей в вагонах, в котором ехала наша труппа. Нас увидели карлы, на лица которых уже легла вагонная бледность, узнали, удивились, обрадовались. Паровоз походил на загнанную собаку и как-то особенно убого, ревматически, двигал своими поршнями. Наш легкий зверь обогнал его презрительно.

История с директором меня бесила. Я придумал крюк, с помощью которого можно было вызволить обратно деньги, взятые им у твоего отца. Надо было, чтобы ты согласилась разыграть роль моей невесты. Директор на это клюнет, ибо какие-то там



десять тысяч – ничто в сравнении с перспективами, которые выдвигает моя женитьба.

Ты стала моей театральной невестой и отлично сыграла свою роль: перешла со мной на «ты», смотрела на меня глазами, в которых поочередно смеялись то чистота, то напряженная греховность. Когда пришел перегнанный нами поезд и стал у окон, загородив свет, ввалились в зал лилипуты, и как директор удивился нашему «ты»! Конечно, он учел перспективы моей женитьбы, конечно, сейчас же отсчитал деньги и отдал их тебе для передачи отцу! И конечно, все мы пили шампанское и по-русски ели соленый миндаль.

А потом, на прощанье, ты по-невестиному поцеловала меня, и я сейчас еще ощущаю легкий обвив твоей руки вокруг моей шеи. Неужели и тут был соглядатай?

О, если бы я мог найти тебя, Дениз! Я бы теперь внимательно рассмотрел твое лицо, его движения, фальшь той глубокой сцены, которая построена в двойном театре твоих глаз, фальшь изгибов рта, натянутость змеиной кожи и на твоём зеркальце, и на твоём лбу!

XXXIV. The song i love

Пребывание в испанском отеле всегда связано с полным пансионом. Есть не хотелось, но вдруг вспомнил о вине и часа в два пошел в столовую. Кормление зверей давно уже окончилось, клиенты разошлись, по столам валялись салфетки, пепельницы были полны, пахло кухней, луком и жареным маслом.

Гарсон подал кусок белой рыбы с зеленым салатом, и я невольно рассмеялся, вспомнив грузинскую песенку: «Шишлики не надо, чуреки не надо, кахэ-

тинский вино не надо». Впрочем, нет: вино надо, – и я спросил красного «Аликанте» 1928 года – знаменитый год по крепости и аромату винограда. Оно густо, как молоко, и, стекая по стенкам посуды, оставляет маслянистые следы. Какое это очарование: вино! Какое волшебство! Пьяницы – самый неблагодарный народ на свете: они до сих пор не удосужились поставить памятник праотцу Ною! Вино еще не опустилось до выпуклости дна, как я уже сделался другим человеком. Мысль стала смелой, сердце – холодным. Исчезли точки, запятые, остались одни восклицательные знаки. Дениз? Да пропади она пропадом, эта дрянная девчонка! Что мне Гекуба, и что я Гекубе? У царя Давида было кольцо с надписью «Все проходит»; пройдет и это мое отвратительное состояние! И снова будет на небе смеяться солнце, и гореть звезды, и цветы по-прежнему издавать свой аромат, и снова будет любовь! Кто сказал, что женщины похожи на трамвай? Этот пошляк был прав: один вагон уйдет, другой подойдет. «Полно, брат молодец, ты ведь не девица: пей, тоска пройдет».

– Еще бутылку 1928 года!

Гарсон преисполнен ко мне благоговейного уважения. Он служит мне, как знаменитому человеку, достойному самого высокого уважения, и говорит:

– Две бутылки этого вина может одолеть только сеньор Ортега.

– Что за человек этот Ортега?

– Это, сеньор, самый знаменитый матадор Испании.

– Да здравствует Ортега! Чего ж ты не берешь стакана? Разве можно не выпить за здоровье самого знаменитого тореадора?

Лакей подставляет стакан, и мы пьем вместе, и я вижу, как сразу полымем розовеют его щеки и



уши и как глаза наливаются доброжелательством ко мне. Он вдруг подбегает к окну, открывает его и вопросительно смотрит на меня.

– Вы слышите, сеньор?

– Ничего особенного, – отвечаю я.

– Это же легкий запах гари!

– На кухне, вероятно, палят свинью к обеду?

– Нет, сеньор. Это горит монастырь Св. Доминго.

– Что это – случайность или революция?

– Это революция, сеньор.

– Закрой окно: это мне ни о чем не говорит.

Глаза гарсона блещут удовольствием и радостью. Легкими прыжками он носится по столовой. Он ждет одного: покончить возню с завтраком и побегать на революционный пожар. Я его понимаю: такие впечатления бывают в жизни не каждый день. Но меня никуда не тянет. Я прирос к этой бутылке, и она молча исцеляет меня, как самый опытный врач. Дениз для меня теперь – самая обыкновенная, банальная девица. Одним разочарованием больше или меньше, ну и – слава Богу! За все – слава Богу! За ум и за безумие, за любовь и за отверженность, за сладкое и за горькое, за талант и за простое умение!

– Я вас не понимаю, сеньор! – говорит Гарсон, склоняясь ко мне.

– Еще бы ты мог понять меня, – отвечаю ему, – когда я говорю по-русски.

– В наших школах не преподают русского языка, – говорит он, – а жаль. Надо бы знать язык, который теперь несет свет всему миру!

Наконец тарелки убраны, стаканы составлены в одну кучу, пепельницы опорожнены, и он исчезает, этот вертлявый и добродушный малый, видимо, уже приобщившийся к свету, который истекает из России и который теперь благоухает такой сладковатой гарью: так пахнет горящая бумага; вероятно, кончает свою жизнь монастырская библиотека.

Я остаюсь в одиночестве, чешу переносицу и вдруг вижу, что у меня есть визави и что он тоже чешет переносицу. В глубине сознания какая-то еще не пьяная клеточка доказывает, что это – обыкновенный фокус зеркала, но все пьяное требует, чтобы собственное изображение я принял за другое лицо, и почему-то непременно за испанца. Я встаю, чинно кланяюсь и говорю ему:

– Буона диэс, сеньор. Мы с вами остались одни. Глупый гарсон побежал смотреть и радоваться, как горит библиотека. Простим ему: не ведает, что творит. Вы любите, сеньор, «Аликанте»? Оно похоже на наше сантуринское, которым промышляли таганрогские греки. Помните сорт, который на ярлыках назывался «сладимое»? Его очень любил мой отец. Вы кричите «In vino veritas»? Я – тоже. У вас – глаза кролика? У меня – тоже. Мы с вами подружимся, Дениз? Знать не знаю, ведать не ведаю. Что? Я похож на длинноухого осла? Вы – тоже. Дуэль? Пожалуйста. Вы – опереточный испанец, который, как у Оффенбаха, grandira. А я – Калужской губернии, у Оки. По соседству с Алексиным. Вам нравится, что горит библиотека? Пожалуй, вы правы. Чтоб зло пресечь, нужно все книги взять и сжечь. Кроме одной гранки. Кроме первой главы Бытия. В ней – ключ. Ключ к чему? Этого вы никогда не поймете вашей опереточной головой. Пейте, пожалуйста, вино. Ваше драгоценное, сеньор!

Испанец похож на меня, повязан моим галстуком, носит такую же, как моя, жакетку, таким же неверным жестом сует горлышко бутылки в стакан, так же по-свински делает красные пятна на скатерти и так же засыпает солью. Потом делает мне жест ручкой, встает из-за стола и исчезает. Куда? Неизвестно. И черт с ним.

Лично я иду в театр. Иду, чтобы повидать директора и наговорить ему тысячу неприятных ис-



тин о том, как глуп был его сегодняшний выезд, что он ничего не даст, что сбора все равно не будет, ибо какой же дурак соберется смотреть на карлов, когда горит Св. Доминго?

На улице слышнее пожарная гарь. Тяжело поднимается к небу черное, вонючее и тяжелое облако. По направлению к нему со всех сторон мчится радостно-очумелая толпа. Только на углу испуганно, маленькими и узенькими католическими крестиками, с левого плеча на правое, крестится какая-то костлявая старуха. Я подхожу и целую ее. Она понимает меня, эта старая, мудрая самка, и вцепляется мне в рукав, наклоняет меня и что-то прямо в ухо быстро говорит, и из всех ее слов я понимаю только одно: «сеньор». Барабанная перепонка моя звенит от остроты ее интонаций, и кажется, что гудят тысячепудовые колокола.

У подъезда театра, среди колонн и афишных щитов, маячит фигура директора. Он тревожен.

– Ты что, – спрашиваю я, – боишься, что огонь перекинется на театр?

– Черт с ним, с театром! – отвечает он, еще не замечая, что я пьян. – А вот костюмы, бутафория, реквизит...

– Плюнь на это барахло! Все проходит. – Директор тревожно берет меня за руку и говорит: – А ну, дыхни! Пьян, как фортепьян. – Смотрит на часы и успокаивается: до вечера еще далеко. Потом под руку ведет меня сложными переходами, предупреждает о ступеньках, неожиданно вталкивает в темную конуру, исчезает, и я слышу, как с внешней стороны двери защелкивается замок. Я – один, арестован. Опускаюсь на какую-то кушетку: мягко, звенят пружины, хорошо. Слышен запах застоявшегося табаку и гримировального карандаша. Особенность, дневная театральная удаленность и тишина.

Минут через десять – снова возня у замка, два поворота ключа, вспыхивает свет, и на пороге показывается директор с толстым сифоном под мышкой.

– Вода сельтерская, пей! – командует он и спрашивает: – В чем дело? По каким причинам намочил морду?

Я не знаю, откуда у меня берется легкость признания, и я, как другу, рассказываю ему все о Дениз, о себе, о любви, о тоске, о том, как мне теперь хорошо, спокойно и легко.

– Сплошной цыганский романс, – говорит директор насмешливо и не без злобы, – и дальше.

Я отлично понимаю, что это все и в самом деле похоже на пошловатый цыганский романс, почему-то говорю о кисейных занавесках на окне, о канарейке в клетке и о том, как я благодарен вину, которое исцелило меня и облегчило душу, и вдруг вижу, как лицо директора омрачилось уже настоящей злобой.

– Так ты поэтому и запьянствовал? – заговорил он вдруг с внезапно нахлынувшей страстностью.

– Ты вином хочешь выгнать из сердца любовь? Брешешь! Не выгонишь! Не позволю! Без любви тебе грош цена! Без любви грош цена! Без любви ты не сыграешь даже «Дунайских волн»! Я знаю, как держать тебя в руках, прохвост, раб, идиот!

Мне смешно и озлобление, и перекошенное лицо. Я смеюсь счастливым, животным смехом, как смеется человек, выздоровевший от тяжелой болезни, и не понимаю, куда снова с такой живостью устремляется директор, тушит свет и азартно два раза щелкает ключом. Легкая дремота охватывает меня, я чувствую себя освобожденным и от земли, и от неба, и от революций, и вообще от всей человеческой кутерьмы. Около меня – театральные неведомые тени, актерская закута, мне легко, я один, как в гробу, сердце работает с радостной готовностью, аппарат сна – к моим услугам, и в голосе, вместо петель, сладкая теплота.



Но вот опять поворот ключа, и опять появляется директор. В руках у него странный черный ящик, который он устанавливает на столе.

– Зажги огонь! – говорю я, желая рассмотреть ящик.

– Огонь тебе вреден, прохвост, – отвечает директор, – лежи в темноте.

Что-то скребет, как мышь, какая-то возня, шипение, и вдруг, слегка шепеляво и не точно, заиграл саксофон, за ним две скрипки, и потом вступил мягкий и вкрадчивый человеческий голос: я знаю, что это Яков Смит запел «The song I love».

Тихонько, как басовитый старик, тянет на нижних нотах саксофон. Робко подыгрывают две скрипки. Якову Смигу грустно и сладко петь о любви, о той самой, которая сейчас замерла у меня под сердцем.

Кончил Яков Смит и опять через секунду начал то же самое, как будто придвинулся ко мне поближе.

– The song I love...

Вспыхивает предательский свет, и злобные, удовлетворенные глаза директора смотрят прямо на меня.

– Что? Пустил слезу, подлый? Вот и отлично. По крайней мере, будешь работать хорошо. Сегодня – полный сбор.

– Потуши свет! – прошу я.

Свет гаснет, и в комнату входит серебряное видение молодой девушки, дюреровской Евы... Сад, цветы, тюльпаны на высоких стеблях. И хороший, райский ветерок... И нет лжи.

XXXV. Скандал в благородном семействе

Спектакли в Испании начинаются поздно, часов в десять. К этому времени я выспался, снова пришел в этот мир и прежде всего ощутил темноту и потом – оглушительную головную боль. Пульс работал грубо

и приводил в движение какое-то долото, с точностью хронометра гвоздившее меня по темени. Попробовал закурить, но, как при морской качке, не мог вынести сладковатого американского дыма. Папироса упала на пол и зловеще светила своим мутно-багровым острием. Мелькнула мысль: «А вдруг пожар?» – и вдруг кто-то ленивый, ко всему безразличный и все на этом свете потерявший ответил: «Ну и черт с ним». Было все равно: пожар, землетрясение, потоп, революция, страшный суд. Мне не хотелось вставать, ходить, двигать руками, утруждать глаза приемом зрительных впечатлений. Казалось, что я перенес тиф, и было странно: волосы не обриты, ногти до мякоти не подстрижены. Без всякого гнева я вспомнил, как директор посадил меня в актерскую кутузку, как он отпаивал меня сельтерской водой и потом на граммофоне наигрывал сентиментальные английские песенки и этим путем старался снова вселить в меня любовь, странную, глупую и какими-то смешными, но, несомненно, русскими кривыми путями пришедшую и в конец замучившую. Казалось, что в сердце вырос зуб и протяжно ноет и болит, и нет от него никакого спасения.

«Ни читать, ни писать и ни по полю скакать», – почему-то вспомнилась мне детская песенка.

Года два тому назад я отдавал перебить пух в моей маленькой русской подушке, моей вечной спутнице. Прачка, занимавшаяся этой работой, принесла мне старый русский серебряный двугривенный, который она нашла в этом пуху. Очевидно, мне положила его на счастье или мать, или нянька Федосья. Двугривенный почернел, еле была видна цифра и край орлиных крыльев. Может, он окажется чудотворным? Я отыскал его в запасном отделении кошелька и приложил к сердцу. Образовался на теле холодный кружок, и полегчало.



Начала работать память, которая представляется мне мешком с хитрой старушкой внутри. Старушка, если захочет, то может оказать большие услуги. Скажет, например, с ярославским акцентом:

– Ну, милый, мало ли любвей было на твоём веку? зуб вечно не болит. Поноет и перестанет. Позудит и перестанет.

Шаги. Чувствую в них директора. Поворот ключа. Рождение всегда готового, не разгорающегося, спрятанного в колпачке огня.

– Это твоя ложа, – сообщает директор, не смотрит на меня, и почему-то в его тоне звучит довольная насмешка. – Вот твой чемодан, а вот, на палке висит твой великолепный фрак. Я нарочно устроил его так, чтобы отвиселся. Ты удивительно не умеешь укладывать вещей. Все смято и помято. Полежи еще часок – и пожалуйста бриться. Почти все продано. Остались только бутакки по четырнадцать песет. А теперь изволь принять в свою утробу вот этот чернослив.

Он сыплет в стакан розоватую пудру, заливает ее из сифона, и я вижу, как в трубке прыгает пузырьчатая вода. Порошок шипит, вода шипит, и все это похоже на зажженную бертолетову соль. Я начинаю пить с осторожностью, но вдруг чувствую острое наслаждение, глотки делаются жадными и большими, и я ловлю последние капли.

– Так ты влюблен? – спрашивает директор.

– Нет.

– Так ты же мне час тому назад признавался.

– Я люблю.

– Ага! Оттенок. Он любит. Он – поэт.

– И дурак.

– И дурак, конечно. Тебе уже сорок пять лет. Что прилично Юпитеру, то неприлично быку. Впрочем, это поможет тебе хорошо дирижировать. Веди оркестр с влюбленным сердцем. Тогда публика скажет: ай, молодца, широка лица, глаза узеньки, нос – пятка.

– Разве я похож на калмыка?

– Калмык не калмык, а что-то татарское есть. Как у всякого русского.

– Принеси кипятку, буду бриться.

Я знаю, что сегодня директор способен быть у меня на побегушках. И действительно, он срывается с места и через пять минут у меня на подзеркальнике дымится мутноватым паром горячая вода. На щеках появляются горбы мыла, бритва шелковисто шуршит и приятно обжигает щеку. Я опять ощущаю возвращение в мир и в то же время – острый и услужливый нож в руках. Когда проводишь им под шеей, он всегда вежливо спрашивает: «А не пора ли полоснуть?» Странно, в то время как мозг – решителен и, как математик, точно взвешивает все «за» и «против», рука труслива, трепещет и боится, и мне кажется, что у ней – свой ум, где-то под ногтями. Правая рука меня больше любит, чем голова. Она верно берет вещи, хорошо рассыпается по роялю, прекрасно приказывает музыкантам, у нее есть свои слова, своя речь, то мягкая, то повелительная. А верхний дурак, что за черепной коробкой, каркает, как злой попугай.

Директор смотрит, как я облачаюсь во фрак, и бессмысленно говорит:

– Птичка кушает на ветке, папа чистит апельсин, и честь имею вас поздравить со днем ваших именин.

Во фраке я похож на шафера.

В назначенный час народ стал вливаться в театр каким-то особенным, требовательным, голодным шумом и гамом. Закрытая занавесью сцена всегда напоминает мне термометр. Пусто в зале: на термометре – ноль, актеры поеживаются и ухмыляются, преступно не глядя друг другу в глаза. В зале полно – и ртуть вскипает вверх, плотники шумнее обычного стучат молотками, на актерских лицах – счастье, в глазах – искорки просыпающегося



таланта, готовность вывернуть душу наизнанку, взволноваться, сжечь кусочек сердца. Как очаровательно долетают до сцены говор, шум и бормотанье рассказывающегося зрительного зала! В нем, в этом рассказыванье, в этом прикосновении плеч к плечам, есть большая тайна и художественность. Каждый человек в отдельности может быть негодяем и подлецом, но когда он сел в ряд с другими людьми, в одну линию, как мусульмане на молитве, на него с верхних балок падает добрая искра, он отрывается от повседневной жизни, от привычек и характера, от повседневного мышления, делается простым, как ребенок, начинает любить добро, и бешено аплодирует Карлам Морам, королям Лирам, Геннадиям Несчастливцевым, двум сироткам, Велизариям, Уриэлям, и ненавидит Яго, Макбета, вдову Гурмыжскую, старшего Торцова, и только у себя дома, возвратившись в свой человеческий футляр, чувствует уважение к Кречинскому, Хлестакову, Восьмибратову и венецианскому купцу. Театр – очаровательная игрушка, таинственный ящик, и чем старше его камни, тем острее и волшебнее столетиями надышанный воздух, тем больше актерские ложи походят на обкуренные трубки и каменные плиты коридоров настроены в один звук, как камертон.

– «Марсельезу!» – кричит театр, когда впервые я показываюсь в оркестре.

Я растерялся. Я не репетировал «Марсельезы», но оркестр смотрел на меня радостными и ободряющими глазами. По пальцам, прикоснувшимся к струнам, к фигурным клавишам флейты, по молотку, поднятому над щекой барабана, я понял, что оркестр готов к бою. Я подымаю руку и чувствую, что музыканты, как в банк, отдают мне свою волю. Взмах – и калейдоскоп пошел вертеться. Когда пришли минорные аккорды, сердце заныло о России. Покосив-

шись в первый ряд, я увидел взволнованные лица, горящие гордостью глаза, пылающие щеки, сжатые кулаки, мрачную решительность и подумал: «Хотел бы увидеть вас года через два». Первый день Революции всегда похож на первый день свадьбы.

Поднялся занавес, и поплелся наш обычный дрянной и невероятно глупый мармелад. Когда Васенька, по рецепту директора вызвав в себе настроение, объяснялся в любви, то подчеркивалось все смешное и фальшивое, что есть в человеческой любви. Когда он, в припадке ревности, грозил револьвером своему счастливому сопернику, зрительный зал покатывался со смеху. Любовь, счастье, долг, вера – все здесь было показано со всех обратных сторон.

Обернувшись во время диалогов в публику, я вдруг увидел, что в центральной ложе, торжественный и величественный, восседает Юпитер. В его одиночестве, осанке, в седой бороде, закрывшей галстук, в спокойствии, в нахмуренности было действительно что-то от небожителя в сравнении с тем разгоряченным стадом, которое кругом курило, смеялось и гоготало бессмысленным смехом. Среди каскеток, расстегнутых воротничков, развязанных галстуков он один был во фраке, равнодушный ко всему, все понимающий с легким оттенком презрения. Трудно было представить себе, что в этой величавой голове где-то гнездится мысль о воровстве картины из Прадо.

В антракте он нанес мне визит, снисходительно поздравил с удачным и веселым спектаклем и пригласил отужинать с ним в его отеле.

В толпе, жадно расхватывавшей ночные телеграммы, я без труда отыскал его автомобиль, такой же торжественный, как его владелец, и до ослепительности отлакированный. Странно: по первому жесту Юпитера, указавшего на место около себя, по этой готовности устроить меня удобнее я понял, что



в душе этого человека борются два чувства ко мне: неприязнь и в то же время что-то доброе и ласковое.

Юпитеру за ужином захотелось индюка. Как на грех, индюка в карточке не оказалось. Метрдотель предлагал руанскую утку, трюфеля, форели. Юпитер стоял на своем.

– Чтобы был индюк.

Пошли ловить индюка. Мы начали рассматривать публику, говорили о погоде, о красоте и уюте Испании. В это время на пороге залы появился молодой человек в непромокаемом автомобильном пальто с расстегнутым кушаком. Лицо его было нахмурено и озабоченно. Внимательно рассмотрев ужинавших, он четкими, офицерскими шагами пошел по направлению к нам. Юпитер ахнул, когда увидел его.

– Откуда ты?

– Из Севильи.

– А где Дениз?

– Ее нет.

– То есть как так нет?

– Дениз скрылась.

– То есть как так скрылась?

– Очень просто. Как скрываются жены от мужей.

– Когда же это случилось?

– Вчера, после завтрака. Я заявил в полицию, но в полиции сейчас делается сам черт не разберет что.

По лицу Юпитера пронеслись всяческие размышления, но это длилось не больше минуты.

– Твой автомобиль в исправности?

– Да, только нужен бензин.

– Впрочем, на кой черт мне твой автомобиль, когда я могу ехать на своем? Гарсон! Пальто! – командовал Юпитер.

И, обращаясь ко мне, добавил:

– Намажьте мне маслом два куска хлеба.

Было ясно, что муж Дениз меня не узнал. В Антверпене мы виделись мельком, и он не обращал на

меня ни малейшего внимания. А может быть, я так постарел и изменился, что и узнать было трудно.

– Может быть, и мне с вами ехать? – спросил он у Юпитера.

– Ты мне не нужен, – ответил тот холодно. – Садись и ешь вот с этим господином индюка, – добавил он не без сожаления.

Муж Дениз поклонился в мою сторону. Я ответил ему, слегка приподнявшись. Юпитер, надев пальто и цилиндр, пошел к выходу, и можно было подумать, что он едет на бал.

Мой новый компаньон сел, тупо устремил в землю неморгающие глаза и начал крошить на тарелку хлеб.

XXXVI. Индюк

В любовной лихорадке, как и во всякой другой, наступает момент, когда спадает температура и начинается просветление: тогда невероятно смешными и жалкими кажутся прикладывание старого двугривенного к сердцу или карточное гадание, в котором красная масть говорит «да», а черная «нет».

Когда я увидел мужа Дениз, то у меня сначала захолонуло сердце: этот высокомерный молокосос, трудами отцов сделавшийся богатеишим человеком, – властитель Дениз, ее тела, ее судьбы и свободы! Неприятная складка губ, вытянутых в шнурок, говорит о недобром сердце и беспредельном эгоизме. Тщательно лакированная выбритость говорит о большом парикмахерском умении, о прижиганиях квасцовым камнем, об особых душистых обмываниях, о тщательно выбранном сорте бархатной пудры, – это тоже неприятно. Тонкий, хищный, породистый нос достался от какого-нибудь родовитого дворянина, по бедности подцепленного купече-



ским родом. Пальцы холеные, но слишком острые, бездарные. Молодое, студенческое лицо кажется постаревшим: по-бульдожьей отвисли щеки. Глаза заволоклись виноградным налетом. О проборе, который делался на трех четвертях лба, теперь никто не позаботился: прямые пряди, потерявшие неподвижность и маслянистость, теперь чем-то напоминают деревенского парня, – и эта единственная небрежность напоминает о горе.

И я со злорадством думаю: «Чего же стоит твоё богатство. Твои табачные склады. Твое поставничество у трех королевских домов? Твои золотые медали и первые призы всемирных выставок, которые гирляндами нарисованы на твоих папиросных коробках?» Его бросила Дениз: какой скандал! От него сбежала жена: какой скандал! То-то грохнет от смеха антверпенская биржа! Задрожат от смеха массивные купеческие животы, задрожат красные затылки, забрызжут слюной жирные рты! Помилуйте: табачному принцу жена поставила чайник! Какое счастье, что он меня не узнал! Огромная дворцовая зала двусветного ресторана кажется мне прекрасною, стеклянные ярусные люстры со множеством подвесных розеток напоминают мне полуденное солнце. Столовые скатерти с неразомнувшимися квадратами складок говорят о белизне снегов. В южных жирных цветах, засунутых в высокие стаканы с расширяющимися горлами, нет еще смертного тлена. Лакеи – во фраках, лучших, чем мой, не позволяют даже искре в глазах обнаружить, что им нравится шум, который происходит за полукруглыми, в шафрановых занавесах, зеркальными окнами.

Я чувствую себя бодрым, поздоровевшим и с удовольствием замечаю, что где-то внутри меня обрвалась первая точка голода, которая начинает расти с быстротою снежного кома. Я уже начинаю

с раздражением думать о том мерзавце – эгоисте-индюке, который так долго не дается в руки мадридских поваров. Юпитер, очевидно, знал, что делал, пророчески его заказывая. Я чувствовал, как мои зубы делаются сухими и наавстриваются и как они способны перегрызть сейчас слоновый клык.

Опытный метр, сердцевидец, заметив конвульсии моих губ, бережно наклоняется и отвечает на мои тайные мысли:

– Сеньоры через пять минут будут сервированы. Он понимает, что хозяин стола – я, фрачный клиент, и что молодой человек, не снявший дорожного пальто, – мой бедный родственник. Он поглядывает на него с непрочной почтительностью: пусть унылые неудачники плачут!

Я не без труда накачиваю в себе насос великодушия и стараюсь занять табачного принца светским разговором.

– Вы, вероятно, очень устали? – спрашиваю я, и слышу, как мой вопрос на полтона не доносит до искренности.

– Да, – отвечает принц и тяжелым взглядом, который усиливается от недоброго движения губ, скользит на одно мгновение по моему лицу.

– Не правда ли, стоит чудесная погода?

– Да.

– Переезд из Севильи не показался вам трудным?

– Не показался.

И вдруг проснулся мозг, проснулся его участок, заведующий музыкой, сердце радостно обдало его согревшейся кровью, зашевелились музыкальные микробы, – и где-то вне, но близко у уха начала звучать певучесть, странная и обольстительно-новая, и я сразу определил ее соль-мажорную тональность. Пальцы заходили по краю стола, и было немножко сумасшествия в том, что на фоне блестяще-



го крахмала я ясно различал плоские поверхности клавиш белых и узенькие ребра клавиш черных. Я знал, что речь идет о том, что за горой дремучею сверкает жаркий ключ. И дальше шло самое пленительное, что могла создать человеческая речь, а именно: сады благоуханием наполнились живым, Тифлис объят молчанием, в ущелье – мгла и дым.

Картина Тифлиса, объятая молчанием, и мглы в ущельях вызвали у меня слезы, на этот раз не глупые, не стыдные, а радостные. Я радостно ощущал точное знание, какие клавиши надо надавить здесь и как переходить с белых на черные и наоборот.

– Только бы дали поесть, чтобы еще теплее согрелась кровь, только бы пожрать, пошамать, – и я с удовольствием вспоминал и шептал эти солдатские слова, чувствуя, как усиливается напряжение зубов, как движутся скулы и легкие впадины висков.

Каким архимиллиардером я чувствовал себя по сравнению с этим печальным табачным принцем! Как мне хотелось дать ему крошку со своего богатого стола!

– Вы любите индюшиное мясо? – участливо спрашиваю я его.

– Я не голоден, – отвечает он, и снова глаза его и губы недобро смотрят на меня – так недобро, что губы кажутся мне третьим глазом.

– Вам, может быть, хочется спать?

– Не хочется.

– А то от бессонницы я порекомендовал бы вам сахарную воду.

– Благодарю вас.

– А самое лучшее – это «Аликанте» 1928 года. Знаменитый Ортега не выдерживает более двух бутылок. Вы знаете Ортегу?

– Не знаю.

– Вы любите песенки Якова Смита?

– Не люблю песенок Якова Смита.

– Я этому не удивляюсь. Вы – деловой человек. Вы достигли того, что ваши папиросы стали лучшими на свете. Ни египетские, ни болгарские и ни американские я не сравню с вашими старыми. Мне, насколько я понимаю, кажется, что дело не в одном только, так сказать, голом табаке, а в том, как его замешать, к каким сортам прибавить другие и так далее. И тут, говорят, у каждой фирмы есть свои секреты. Это – правда?

– Правда.

– У вашей фирмы есть свои секреты?

– Разумеется.

– Секреты, так сказать, отцов и дедов. Вы храните их, разумеется, в банковском сейфе?

– Да.

– И вот почему во Франции – очень плохо с табачными изделиями. Дело казенное, и никому не интересны секреты. А странно: республика, богатство, самые богатые сберегательные кассы, сорок бессмертных. Эйфелева башня – и эти «Голуазы». «Мариляны». Шутки в сторону. Иногда по табаку можно судить о народе.

Вдруг три глаза принца шевельнулись, и я понял, что он собирался сказать длинную фразу. И выдержав определенную, сдержанную паузу, он ее сказал:

– Напишите оперу на эту тему, и мы поставим ее на всех сценах мира.

Мои предположения о том, что он меня не узнал, были неверными. Он меня, оказывается, отлично узнал, внимательно смотрит на меня прищуренными глазами, в которых сидят молчаливые змеи, и думает о том, сколь глупа и навязчива моя болтовня.

Выручил индюк, подъехавший на серебряном подносе, который лакей торжественно держал в высоко поднятых руках.



– А вы сами курите? – спросил я, чтобы затушевать охватившую меня неловкость.

– Нет, не курю, – уже насмешливо и снисходительно ответил он мне.

Я чувствовал, что качусь по наклонной и очень скользкой, льдистой плоскости, и, набравшись духу, спросил:

– И не нюхаете?

– И не нюхаю.

– Если так, – сказал я, обращаясь к подошедшему метру, – отрежьте господину самый мягкий и самый сочный бок индюка. Он, то есть господин, а не индюк, только что прискакал из Севильи на взмыленном арабском коне.

– Вы очень добры ко мне! – ответил принц, улыбнувшись и следя за движениями метра.

Метр, с длинным и ярко начищенным ножом в руке, уже захаживался вокруг индюшачьего тупа, выбирая, с какой стороны в него вонзиться. Индюк лежал, обложенный мелкими луковицами, молодой морковью и еще какими-то неведомыми огородными произрастаниями. Лапки индюка были вытянуты вверх, и если бы закрутить их нарезанной в бахрому бумагой, то это зрелище напомнило бы мне родительский пасхальный стол.

И вдруг заиграл оркестр. Послышалось ступенчатое вступление вальса о прекрасном синем Дунае.

– Где это играет музыка? – спросил я у метра.

Тот, поглядев на меня недоуменно, ответил:

– Но вон там, на эстраде. У нас в зале, сеньор. Знаменитый венский оркестр Фанни Штурм.

Я обернулся и действительно на эстраде увидел музыкантш в красных фраках. Дирижерша, сжав скрипку между плечом и нежным прелестным подбородком, поворачивалась то направо, то налево и играла с особым, чисто женским отлетом смычка.

– Программа начинается у вас так поздно? – спросил я.

Метр опять недоуменно повел плечом, не отрываясь от индюка.

– Но нет, сеньор, – ответил он. – Оркестр играет уже давно, с девяти часов. Только что перед этим была увертюра к «Вильгельму Теллю».

Что за наваждение! Я не слышал ни одного звука. В каком же мире до сих пор витала душа моя?

Я начинаю пожирать вкусное нежное мясо; соль делает его совершенно очаровательным. Когда к языку прикасается несколько капель кларета, вкусовые ощущения меняются, как в калейдоскопе.

Принц ест вяло, дрябло жует зубом и, вероятно, вспоминает свою последнюю ссору с женой. Метр, с карточкой в руках, глядя на него через одно стекло в пенсне, перечисляет номера зелени, салатов, сыров и десертов. Принц неожиданно спрашивает красной капусты. Метр перебрасывается со мною недоуменным взглядом, ища сочувствия и понимания.

Наконец индюк кончил свое хождение по свету. Кости его хорошо протрещали на моих зубах. Со сладострастием я вытянул из них черноватый, влажный мозг.

И тогда принц меня спросил моими же интонациями:

– Вы хорошо покушали?

– Да, – ответил я.

– Теперь вы сыты?

– Да.

Принц полез в бумажник, из которого блеснули края тысячных песет. Я заметил, что глаза метра переключились на уважение к запыленному пальто.

– Вот вам моя карточка, – сказал принц, – и прошу у вас вашу. Завтра вас навестят мои секунданты.



XXXVII. Тема для кинематографа

Кандидатов на дипломатические должности учат носить монокль, чтобы они могли лгать не моргая. Но обыкновенно забывают, что на лице есть губы, живущие той же жизнью, что и глаза. Губы не могут лгать даже тогда, когда в человеке все лжет.

Табачный принц сказал, что он пошлет ко мне секундантов, и глаза его в этот миг излучали приторный мед нежности, внимательности и душевной чистоты. Этого человека хорошо выучили носить монокль. Вся его ненависть ко мне, вся злоба сосредоточилась в губах, прижавшихся к зубам, побледневших... Они шевелились медленно, еле заметными движениями, как две змеи, которые одинаково видят беспокойный сон. Эти губы казались мне третьим глазом, невыносимо ярким, умным и острым. У меня было такое ощущение, которое, вероятно, испытал Хома Брут, когда Вий поднял свои тяжелые вежды.

В последний период моей парижской жизни у меня довольно часто бывали моменты, когда я ясно чувствовал, что меня что-то сближает с судьбой достопочтенного философа из киевской бурсьы. Я твердо помню, что первая встреча с Дениз не вызвала у меня никакого душевного толчка. Да, милая и хорошенькая барышня из богатого дома, только что окончившая гимназию, только что сформировавшаяся, не напудренная, не намазанная. Да, хорошие, большие зеленые глаза, с женским и слегка уже материнским участием смотревшие на чудака-музыканта, каким-то странным образом попавшего к ним в дом, иступленно колотившего по перламутровым клавишам их превосходного рояля и что-то непонятными каракулями записывающего на нотную бумагу. Она зажгла свечи, когда стало темно, и я теперь смутно

припоминаю, как от спички просвечивала кровь в ее тонких нежных пальчиках. Я спросил у нее, почему клавиши не обыкновенные костяные, а перламутровые, – и она ответила, что этот рояль был изготовлен Бехштейном для какого-то королевского дома, но короля убили, и отец ее перекупил недоставленный заказ. Я еще несколько раз встречался с нею, и никаких особых волнений эти встречи во мне не возбуждали. Откуда же пришла яркая и беспокойная любовь? Мне бесконечно хочется видеть эту девушку, и великим счастьем я считаю возможность прикоснуться к ее руке и посмотреть в ее зеленые глаза. Я мысленно перебираю все сорта самых прославленных духов и мысленно же делаю смеси, достойные ее волос. Я рассматриваю модные журналы и по их рисункам мысленно шью платья, достойные коснуться ее тела. Обувь знаменитейших магазинов с улицы Сент-Оноре кажется мне грубой и неэлегантной, и я ясно знаю, как нужно для Дениз закруглить носок и как выточить каблук. Я знаю оттенок ее чулка. Я знаю, что нужно сделать, чтобы подчеркнуть хрупкость ее плеч и нежность груди. Среди драгоценностей улицы Мира я выискал только одно достойное ее ожерелье – с изумрудами, в глубине которых лежат вечные, не тающие пушинки снега.

Это маленькое сумасшествие казалось мне наваждением, напущенным на меня извне, колдовским способом, – и мне часто хотелось окропиться святой водой, и я заходил в костелы, у входной колонны мочил пальцы в чаше, но католическая вода не действовала, и засевший в меня бес не уходил, и я тайно этому радовался: песни беса были мучительны, но сладки, и с ними жаль было расставаться.

Юпитер был похож на пана сотника. Вероятно, у него были верные служители, подобные Дорошу, Явтуху и Спириду. Я очертил себя магическим кругом,



но заклинания мои были, вероятно, не сильны, и вот Вий поднял веки, опущенные до полу, увидел меня и сказал, показывая железным пальцем: «Вот он».

Вот – я. Завтра придут ко мне секунданты, и я отчетливо вспоминаю, как в гадании Жозетт рядом со мной, червонным королем, легла и не ушла девятка пик: смерть. Я должен искупить девический грех – и теперь ясно понимаю смысл напущенного на меня наваждения. Я должен заплатить за перламутровые клавиши, за отсвет нежной крови в пальцах, за ласку зеленых глаз, за русский обед, за гаванскую сигару. В Европе ничего даром не делают, и все имеет свой счет. Умные люди торгуются и получают скидку: я – не из их числа. Да, пожалуй, и я не прав: что мне делать на этой земле? Носиться вокруг солнца, искать хлеб и воду, крышу над головой, приобретать болезни печени и почек.

«Тифлис объят молчанием, в ущелье мгла и дым. Оделась туманами Сьерра-Невада», – кто-то беспорядочно пел внутри меня, и мадридские притихшие улицы показались мне прекрасными. Как осенние листья, шуршали под ногами бумажки прокламаций. Проходили иногда патрули гражданской гвардии, и их густо лакированные шляпы блестели под фонарями. Я, очевидно, не вызывал подозрений, и острота солдатских глаз сразу переходила в равнодушные: так яркий свет лампы переходит во тьму, когда поворачиваешь выключатель. Было тепло, и я с наслаждением ушел далеко, к дворцу, и через решетку смотрел вниз, на огни города, на параллельные ряды улиц, на груды притихших домов, на кружки площадей. Где же балконы? Где гитары? Где серенады? Где глинкинская «Ночь»? Тишина, темные окна, журчанье маленького фонтанчика. Где Россия? Россия все дальше и дальше отходит от меня. Я уже забываю Петербург и не помню, как расположены улицы по

Большой Морской, но ясно вижу путь от Зимнего дворца к университету. Смеюсь и вспоминаю, как я шел через Дворцовый мост с одним знакомым, который только что вставил себе искусственные зубы: зубы ему мешали, он их вынул и через решетку моста бросил в воду. Вот так я свою жизнь возьму и брошу через мост. Жизнь начинает мне мешать.

По Полярной звезде, как моряк, я отыскал Россию. Там – маленькая груда камней моего дома, моей консерватории, моего театра. В моей комнате кто-то спит, чужой: покойной ночи. Консерватория темна, и мой ученический рояль, вероятно, оглох и стал косноязычным, колки не держат струн, педали не слушаются ног; пора на живодерню, старик. Мой театр сегодня, как и всегда, был, вероятно, полон: остыли ли в его воздухе частицы моего дыхания, отзвуки моих аплодисментов? Говорят, что в Лувре некоторые занавеси до сих пор хранят запах мускуса, любимого аромата Марии-Антуанетты.

Утром явились они – вестники смерти. Я плохо представляю себе, что такое редингот, но, по-моему, несмотря на жаркую погоду, они были в застегнутых на все пуговицы рединготах. В их руках одинаково блестяли радиусы цилиндров. Их воротнички ослепляли навощенностью крахмала. Одинаково и предумышленно были не сняты гренобльские перчатки. Волосы, густо намазанные фиксауаром, были тщательно расчесаны по бокам пробора и, как следы маленького плуга, хранили линии гребешка. Лица их были необыкновенно выхолены и как-то по-женски белы. В глазах был один и тот же градус холодной учтивости, несложной вежливости и ложной готовности к услугам.

Я хотел прямо и честно сказать им, что вызов табачного принца продиктован большим недоумением, что никакой вины перед ним за мной



не числится, но, взглянув на себя в зеркало, увидел утреннюю невыспавшуюся фигуру в помятой пижаме, в красных тунисских туфлях и понял, что, скажи я им об этом хоть слово, и в их глазах блеснет одинаковый градус презрительной усмешки и они оба одинаково подумают: «Трус». И потому, стараясь отпечатать на своем лице выражение беззаботности и беспечности, я просто назвал им час, в который они могут иметь свидание с моими секундантами.

– Это не так легко сделать в чужом городе – найти секундантов («хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный», шутливо пронеслось в голове), но, тем не менее, – сказал я.

Они одинаково, в один и тот же уровень, поклонились и прижали цилиндры к сердцу. Они упивались своей ролью, своей светскостью, своей посвященностью в тайну. Потом на каблуках одинаково повернулись и вышли, слегка посеменив ногами у порога.

Одевшись, я направился к директору, который жил этажом выше. Узнав, в чем дело, он наострил слух и, высоко подняв бровь, вразумительно сказал:

– Несколько ночей не сплю и все думаю: чего мне не хватает? Теперь понял. Мне не хватает быть твоим секундантом, морочить себе голову и слышать свист пуль. Предварительная продажа на сегодня – четырнадцать песет, чем кормить свой зверинец – понятия не имею, а тут – не угодно ль вам пройтись там, где мельница вертится. Благодарю вас, Калигула. Тема для кинематографа.

Я ему ответил:

– Врач не может отказать в помощи больному. Священник – в последней молитве умирающему. Друг – в просьбе о секундантстве.

– Ну а если тебя беспересадочным поездом отправят к Аврааму, Исааку и Иакову? Кто тебя заметит за пультом?

– Ты. Все равно же сборов не будет. Можно было сорвать один раз, но не до бесчувствия.

– Таких пророков, как ты, в Иудее побивали камнями, – ответил директор задумчиво и потом добавил: – Ты сыграл, как Филя в дудочку. Вот что значит не слушаться умных людей. Говорил: бери быка за рога, не распускай губ, девочка клюет, делай предложение. Отказали бы – за это в полицию не берут. А теперь дуэль, чертовина. Где старик? Он может уладить дело.

– Старик срочно выехал в Севилью.

– Холерка ему в кишки. Пристрелят тебя, как куропатку. Уже и по лицу твоему видно. Землистость на кончике носа.

Я расхохотался.

– Ну, это бабка надвое сказала. Я в туза попадаю на тридцать шагов.

– В белый свет, как в пуговку, – ответил директор иронически.

Я тогда решил подействовать на его воображение и рассказал ему о секундантах табачного короля, об их рединготах, цилиндрах, воротничках. И так как директор считал себя великим знатоком в области мужского костюма, то перспектива возложить на себя богатые и блестящие одеяния, проехаться на извозчике в цилиндре, пустить в ход артикулы холодной вежливости, придворных поклонов (в России он играл опереточных королей), сдержанных и утонченных интонаций – все это ему улыбнулось.

– Но кто же будет вторым. Секундантов же двое?

Я подумал и ответил:

– Вторым будет Васенька.

Директор вскочил как ужаленный.

– Что? Васенька? Карлик? Рядом со мной? Ты соскочил с ума, мой друг. У тебя самые форменные галлюцинации.



В это время в дверь постучали, и мальчишка подал мне телеграмму. На приклеенной белой ленте было напечатано шрифтом пишущей машинки:

«Немедленно выезжайте в Севилью и ровно в два часа будьте в Альказаре».

Подписи не было.

– Кто это? Пан сотник или панночка?

XXXVIII. Точки над «i»

Случилась странная история. Вокруг меня сплелись обстоятельства, грозившие мне смертью, – и как раз в это время мысль моя и душа успокоились, и я со сладкой полнотой перестал думать об опасностях, о чем бы то ни было заботиться, что-то предусматривать, предупреждать, на что-то или на кого-то рассчитывать. Я думал о чем угодно, но только не о жизни и не о смерти. Вдруг появилось чувство, похожее на душевную дальновзоркость, и я стал по-новому видеть вещи, даже самые незначительные. Возможно, что за несколько минут или секунд до смерти человеку дано видеть мир по-новому и по-истинному и оттого у мертвых часто бывает мудрое и просветленное выражение лица. Возможно, что и вокруг меня смерть уже начинает делать все более и более суживающиеся круги, и я начинаю понимать Сезанна, писавшего яблоко и открывавшего тайну яблока. Я понимаю писателя, который за каждым обыденным и надоевшим словом способен приоткрыть чудо, за этим словом таящееся. Своими новыми глазами я видел не город, а чудо; не людей, а чудесных существ; не дождь, а чудо; не цветы, а чудо; не солнце, а великолепнейшее и таинственнейшее чудо. Я прислушивался к своей мысли, к ее ходам, к ее законам, и почти слышал шелест, с которым она проползает по серому, студенистому веществу. Би-

лось сердце, и я слышал, как выходит из него и снова возвращается кровь. Я восторгался чудом глаза, воспринимающего линии и краски. Ухо, воспринимающее голосоведение и ритм, болезненно страдающее от нарушения их твердого и математического закона, представилось мне чудом из чудес.

Директор, старавшийся вывести меня из затруднительного положения, тоже казался мне чудом. Я уже не видел в нем бойкого и жуликоватого человека, понимавшего на земле только силу денег. Он хлопотал около меня, и душа его жила по каким-то особым и, очевидно, прирожденным законам добра.

Мне нужно ехать в Севилью и завтра в два часа дня быть в Альказаре, – но поезда удобного нет. Директор мотается по взбесившемуся Мадриду, где никто ничего не хочет делать, где у всех руки повисли, как плети, где всякий думает только о том, как бы побольше поглотить холодного пива.

Директор ищет машину, надежного шофера, сам укладывает мои чемоданы, опасаясь, что я забуду бритву или мыло для бритья («В парикмахерской не смей бриться, еще экзему схватишь: а ты понимаешь, что значит схватить болезнь от человека южной крови?»). Директор покупает мне шелковые рубашки и злится, что я точно не знаю номера моего воротника. («Надо иметь элегантный вид: элегантность – все. Тебе идет темно-серое и бледно-голубое»).

Этот хлопотливый, озабоченный и ворчливый человек виден мне сейчас с какой-то незнакомой, милой и хорошей изнанки, и только теперь делается понятным, сколько в нем накрученного со стороны, ему чуждого, ему несвойственного, и я говорю ему такую фразу:

– Герр директор! Скажи мне: сколько на тебе пиджаков?



– Если меня не обманывает зрение, – отвечает он, подозревая начало еврейского анекдота, – на мне пиджак один. Темно-синий, двубортный.

– На тебе, – говорю я, – накручено сорок два пиджака, восемнадцать штанов. Если тебя распеленать, то обнаружится человек, которого ты и сам не знаешь.

– Очень смешно, – отвечает директор, поджимая презрительно губы, – если бы у меня было время, я смеялся бы до пяти часов утра...

Наконец я усажен, как надо, в автомобиль, в правый угол, и нога закинута на ногу, и виден тонкий серый носок. Мне показано, где покоится сверток с провизией («Если бы пришлось перекусить в дороге: рыба-фиш и кусок ростбифа, соль и горчица – в промасленной бумаге») и две бутылки вина («чтобы промочить горло, глядя на звезды, по образу и подобию почтенного Санчо Пансы»).

– Если сильно обветреешь и начнет облезать нос, смажь его лимонным соком. Жаль, что я оставил в Париже свое кольцо с бриллиантом: я бы дал тебе надеть его на безымянный палец. Это звучало бы великолепно! Почему ты свой браслет с часиками запрятал в верхний карман?

Шофер, прислушиваясь к нашему непонятному языку, пробует осторожно нажать педаль, сердце машины завертелось, колеса осторожно отлипли от земли, и я слышу последнее отцовское наставление директора:

– Делай что хочешь, но не ставь точки над «I». И, в конце концов, запиши у себя на штанах, что из партитуры не сварить похлебки и что нет такой сковороды и такого масла, на котором можно сжарить романс, даже лирический.

Я слышу, как по мере движения автомобиля его слова теряют отчетливость и ясность и делаются от-

даленными. За городом, который к концу стал беднее и приземистее, меня встретил ветер и начал обжигать лицо, глаза, начал свистеть в уши, как шмель, – и я думал, каким чудесным казалось произрастание деревьев, трав и хлебов, и мокрые квадратики ржи, и полет ласточки, экономно пользующейся крыльями, и облака, еще белые, еще не набравшие вод. И человеческая жизнь с ее автомобилями казалась мне похожей на таблицу умножения, логику которой я всегда считал убогой. Я отчетливо чувствовал, что сейчас со мной и с моей жизнью происходят вещи, которых я не пойму точно так же, как собака никогда не поймет, что за нее платят налог. Я остро чувствую, что мир отделен от человека и что человек снабжен даром непонимания, ибо непонимание есть дар великий и счастливый. Я улыбаюсь при мысли, что человеческая логика – это самая бедная старушка, которая когда-либо прожила на земле.

Вдруг сердце машины останавливается, и автомобиль берет аллюр, который в музыке называется глиссандо. В чем дело? Глаза мои приобретают свои обычные способности, и я вижу огромный луг, огороженный частоколом. В высокой, прохладной темно-зеленой траве ходит стадо великолепных быков. Тонкие стройные ноги их не вяжутся с мощной грудью, но оттеняют изящество полированных рогов. Быки ищут трав наиболее вкусных, незаметно их обнюхивая, и потом без жадности жуют неторопливым ртом. Мелькают желтоватые зубы, а глаза, в которых отпечаталась только одна мысль, недоуменно смотрят на цветное корыто автомобиля и на двух странных существ, в нем находящихся. Шофер говорит:

– Ни один испанец не проедет здесь, чтобы не остановиться. Вы, сеньор, не вздумайте волноваться, потому что все равно я доставлю вас в Севилью в условленный час.



– Почему именно это стадо доставляет вам такое большое удовольствие? – спрашиваю я, видя, как глаза шофера горят радостью и внутренним наслаждением.

– Сеньор, – отвечает он, – здесь воспитываются быки, предназначенные для боя.

Так как, в конце концов, и я – бык, предназначенный для боя с табачным принцем, то встреча со стадом подобных мне рождает какое-то любопытствующее и острое чувство.

– Отдохнем немного здесь, – говорю я шоферу, выхожу из автомобиля, перелезаю через забор и иду к быку. Бык смотрит на меня доверчиво и безбоязненно, и одна и та же мысль, светящаяся в его глазах, не приобретает никаких новых оттенков. Я срываю пучок травы и протягиваю к его рту. Бык нюхает траву и не особенно охотно забирает ее языком: мне кажется, что это он делает из вежливости. Я подхожу к нему и глажу его по голове: бык неторопливо подставляет мне уши, и я понимаю, что он любит, чтобы его чесали за ушами. Я начинаю легонько, как кота, чесать у него за ушами. Бык вытягивает шею и сладострастно щурит глаза.

Показался погонщик и, подходя, снял шапку и спросил:

– Сеньор интересуется товаром?

– Да, – соврал я, – но этот мне не нравится. Он кроток.

– Сеньор, – ответил погонщик, – но ведь все быки кротки. Их нужно сильно раздражить, чтобы они пришли в бешенство. – И, сказав это, крикнул, как слуге: – Альфонсо!

Неподалеку стоявший другой бык поднял голову и вопросительно посмотрел на погонщика. Погонщик еще раз повторил свой крик:

– Альфонсо! – и добавил: – Что же мне, сто раз тебя просить?

Бык подошел с покорностью слуги.

– Вот этого рекомендую вашему вниманию.

Упрям и скуп.

– Скуп? – с удивлением спросил я.

– Очень скуп! – не понимая моего удивления, ответил погонщик.

Я и этого почесал за ушами. У первого родилась ревность, и он, ловко присоседившись, стал оттеснять Альфонсо, и погонщик заметил этот маневр.

– Мигель, – сказал он первому, – перестаньте валять дурака.

И Мигель недовольно, не понюхав, отщипнул верхушку какой-то травы.

Несмотря на это замедление, мы прискакали в Севилью к одиннадцати часам вечера. В подъезде отеля сидел уже ночной швейцар. Он отвел мне необычайно высокую комнату с мозаичным прохладным полом и с двумя кранами, из которых бежала одинаково холодная вода. Кровать была под мустикером и в этом было что-то девичье. Я отлично выспался и с утра долго гулял по городу, и странно, ничего не запомнил, кроме одного названия: улица Сервантеса. В узеньком переулочке увидел медленно догоравшие развалины церкви. Ее внутренняя раскраска и живопись были рассчитаны на католическую затемненность, и теперь, на открытом воздухе, краски пламенели сильно и фальшиво.

В два часа, в Альказаре, на аллее, уставленной майоликовыми скамейками с вензелями короля, я увидел Дениз. Она подошла ко мне просто и незастенчиво. Я спросил:

– Дениз! Что все это значит?

Она ответила:

– Я вижу большую поляну. И на этой поляне только двое: я и ты.

– Но зачем ты лгала?



– Я лгала людям, которых не люблю. Тебя я люблю и тебе лгать не буду. Можно лгать только тем, кого не любишь. Ложь убивает и оскорбляет любовь.

– Но зачем ты наговорила про меня, что я был твоим любовником?

– Затем, чтобы муж отвязался от меня. И он отвязался.

– Кто же был твоим любовником?

– Никто. Я была и осталась девушкой. И ты будешь моим первым. Правда, хорошо говорить о любви в этом саду? Я видела много садов на земле, но это – первый, который мне нравится.

– А где твой отец?

– Он осматривает во дворце какие-то старые колонны. Посмотри, как высоки эти пальмы.

Я увидел огромные, растущие кустом пальмы.

– Смотри, как в этом водоеме полна и светла вода... Я увидел каменный круг, доверху наполненный плотной и густой водой...

– Вот тебе, – сказала Дениз, подавая ключ, – когда найдешь дверь, к которой он подходит, ты войдешь...

XXXIX. Мэктуб

Через три месяца – только через три! – я уже должен был писать тебе, Дениз, письмо, может быть, последнее. «Мэктуб!» – сказали бы арабы, обозначающие этим словом судьбу, рок, греческие ананки. Это письмо найдут в моих «бумагах», если со мной «что-нибудь» случится.

Первое, о чем мне хочется напомнить тебе, это – Альказар. Я целовал многих женщин, но только в тот ясный день я впервые понял, что такое поцелуй. Это – первое приближение плоти, грешной и невинной, земной и ангельской, звонок тела. Наши

поцелуи дали мне ощущение полета. Мы с тобой летели над Севильей, видели старое человеческое гнездо, обогнули верх Хиральды и снова опустились в аллею с майоликовыми диванами. Или сад утроил свое дыхание, или обоняние стало тоньше, но я никогда не слышал такой силы ни у роз, ни у левкоев, ни у лимонного листа. Твои щеки пахли миндалем, а ушные раковины – свежим сеном.

Пришел отец, и мы стали благоразумны. У него был вид героя одной знаменитой русской комедии. Имя этого героя – Фамусов: «Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом!» Он молча подсел к нам, и, не прерывая этого молчания, мы просидели минут пятнадцать. Потом поехали завтракать, и он угрюмо предлагал мне блюда наиболее достойные. Я чувствовал себя парвеню, насильно вторгшимся в богатое и знатное семейство. Отец твой тоже чувствовал это, но он долго жил в Африке и знал слово: мэктуб. Сознанием этого мэктуба были пропитаны все его интонации и движения. Он был хмур, но в каком-то миллиметре его расширившегося зрачка вспыхивала порою золотая и радостная искра. После кофе он предложил мне сигару, лучшую в мире. Потом он отослал тебя наверх, и тут я рассказал ему о том, что должен драться на дуэли с твоим мужем. Он сказал:

– Это – глупости. Я поеду в Мадрид и загоню его под стол с этой дуэлью. Не забывайте, что у меня одиннадцать миллионов годового дохода. Я пушу его по ветру, если захочу, со всем его никотином.

Из его слов я понял, что мне дается временная отсрочка, как в призыве на воинскую повинность. Я не особенно хотел разбираться в правильности этих льгот, но теперь ты понимаешь, почему отец, довезя нас до Барселоны, пересел на железную дорогу и отправился в Мадрид. Он поехал «ликвидировать»



вызов. Он за эти дни явно похудел и постарел. Входя в вагон, он почему-то поднял воротник пальто и застегнулся на все пуговицы, хотя было жарко. А мы с тобой – наконец одни! – вернулись в город, гуляли по бульварам, и ты купила сотню гвоздик. Потом в крытом рынке, в особой загородке, мы ели мулей, это блюдо показалось тебе восхитительным – особенно его название: устрицы для бедных, – и ты внимательно, с женской хозяйственностью, расспрашивала о секрете его изготовления. Я запомнил одно: для какого-то контроля нужно опускать в бульон серебряную монету. Ночь не приходила страшно долго, и часа в три утра я на цыпочках подходил к твоей двери и тихонько нажимал ее, но дверь не поддавалась, и я сидел у себя на балконе, пока не озяб.

Наутро ты уже сама села за руль и заметила, что отец забыл перчатки. Ты для смеха надела их и говорила, что влезла в отцовскую шкуру. Машина ожила в твоих руках, стала думать и оказалась даже способной на юмор. Ты изобразила на губах деловую суровость, стала похожей на отца, и я понял, что у тебя от него – только упрямый подбородок. Все остальное – материнское. Прибавив тебе десяток лет, округлив твои плечи, вприснув тебе в глаза капли серьезности, прорезав лоб первой морщинкой, надев тебе на плечи кружевную косынку и застегнув ее на груди брошкой, пухло и замысловато сделанной, я ясно увидел твою мать. Я был рад, что на подбородке у тебя не было ямочки, признака влюбчивости: это значило, что ты будешь верна прочно.

Колени наши тесно прижимались, и машина тогда ревновала и злилась. Мне казалось, что моя кровь переливается в тебя, и твоя – в меня. Когда я чувствовал в себе твою кровь, то боялся, что сердце не выдержит ее свежести и напора. Когда ветер, на скорости в сто, стал обжигать твое лицо, то оно как-

то по-странному худело, казалось осунувшимся, но зато на щеках усиливался и расширялся румянец. Я чувствовал, что ты – моя добыча и твоя спортивная куртка, твоя юбка, твои чулки и лодочки на ногах не защищают тебя. Ключ, данный тобой и лежащий и жилетном кармане, жег, как углем, мне ребро.

А в мозгу моем родилась и до странно-проникновенной понятности стала выясняться старая фаталистическая нянькина вера: «Чему быть – того не миновать. Плыви, моя гондола. Мэктуб». Это было так же ясно, как и то, что эту великолепную и умную машину тянет не горящий бензин, а мысль того человека, который ее создал. Нас везла мысль, а нашей судьбой правит мэктуб.

Стало все просто и легко.

Вдруг ты резко остановила машину и повелительно сказала:

– Пересядь на задний диван, а не то мы с тобой налетим на дерево.

Я послушался, и это понравилось машине. Она стала работать с удвоенной силой, к ней возвратилась ясность, и она лихо, с холодной вежливостью, обгоняла какие-то «ситроены» и других паучков. Иногда ты била по груше клаксона, и тогда воздух оглашался диким и неожиданным ревом, и ты первая смеялась этой немзыкальности и испугу осликов, которые пряли ушами, изображая проклятие.

В Парбу мы проходили через таможню, и чиновники осматривали автомобиль и приподнимали крышку над мотором, отыскивая контрабанду: но кроме сотни гвоздик и плитки шоколада ничего не нашли. Ты важно и со знанием обстоятельств предъявила им бумаги, указывала на фиолетовые печати, и чиновники проникались почтительностью и к твоей молодости, и к твоему богатству. Потом ты расписывалась под готовым текстом, зажимая стило меж-



ду указательным и средним пальцем. Все было тогда чужое в тебе и официальное, но когда ты взглядывала на меня, то казалось, что ты возвращаешься из отпуска и снова несешь мне свои дары: нежность, покорность и послушание. Кто бы со стороны мог догадаться, что в твоей головке живет образ поляны, на которой видны только два человека: ты и я?

Мы предъявили паспорта с разными фамилиями. Чиновники украдкой взглянули на меня, и в глазах их блеснули уже не чиновничьи, а обывательские щупальца. Я отвернулся к окну и увидел высоченные шапки Пиренеев, леса, пролески, дороги, человеческие строения, и небо казалось зеркалом, в котором отразилась средиземноморская синева. В здании таможни было прохладно, в углу лежали тюки конфискованных французских газет, по черным путям сновали поезда, а на платформе пирамидальными горами, как ядра, были навалены апельсины.

По выезде из Парбу я увидел верстовой столб с надписью «Марсель» и сказал тебе:

- Поедем есть буйабес.
- А что такое буйабес?
- Рыбный суп.

И ты молча поворотила своих невидимых лошадей на марсельский тракт. Я знал, что ты любишь наверное мясо и рыбный суп тебя не прельщает, но твое повинование было необычайно приятно.

И вот среди гор вдруг блеснула полоска моря! Потом сразу открылся шелковый плат, покрывший таинственную глубину. Потянулся другой воздух, пахнувший свежесоленными маслинами. Потом по улице Маленьких Манечек мы въехали в Марсель, и тут уже я стал пилотом и указывал, куда надо свернуть, чтобы попасть в порт. Одно время показалось, что я сбился, и стало очень радостно, когда завиднелись на тротуаре столики с белыми скатертями. Услуживали толстые бабы в фартуках и, наострив

память для принятия заказа, тем не менее каким-то боковым углом глаз осматривали и оценивали и твой костюм, и камень на пальце, и не по-парикмахерски закругленные концы волос. Меня это сместило, ибо я всегда думал, что женщины осматривают наряды друг у друга с такой же необходимостью, с какой собаки обнюхиваются. Когда, проглотив заказ, баба ушла, ты высвободила руки из перчаток и положила их на стол, и в глазах твоих я прочитал тайную просьбу: погладь их и поласкай. И я гладил их вдоль тонких косточек. Поодаль сидели марсельские купцы, чествовавшие заезжего парижского актера: и у купцов, и у актера было в глазах чувство зависти. Актер вздохнул и сказал с французскими ударениями: «In vino varitas». Купцы же вздыхали, и эти вздохи говорили: связался черт с младенцем.

Баба подала суп с желтым моченым хлебом, гору рыб и вино в продолговатой рейнской бутылке. Мне казалось, что мы путешествуем с тобой сезонов пять и такие обеды давным-давно вошли в наш обиход. Ты спокойно действовала разливной ложкой и снисходительно-нечестно делила мягкую разваренную рыбу: мне – больше, себе – меньше. Когда у моей лангусты отломилась клешня, ты ее подложила мне, извинившись за неаккуратность. Вина ты не уступила и пила его по-женски, кончиками губ. Но когда на последние рюмки хватило только по половине, ты аптекарски добавила из своей принадлежности мне капли. От мороженого, крепкого, как лед, ты не отказалась, когда я предложил тебе частичку с большим цукатом. И ложку ты как-то по-детски переворачивала во рту, доньшком вверх. И ела ты его тоже по-детски: сначала клала на язык, потом растопляла дыханием, и тогда были видны оба полукруга твоих четких зубов.

И среди этих пустяков я понимал, что мэктуб только теперь поднял мою жизнь на predetermined



ную ей высоту, что счастливее этой полосы у меня никогда и ничего не было, что вот еще одно усилие – и, может быть, я буду похож на собаку, понявшую, что за нее платят налог. Легонько кружилась голова, из пакгаузов пахивало рогожей, свежей бечевой и бакалеей; марсельцы окончательно подвыпили, и раскрасневшийся актер, отвалившись на спинку стула, декламировал стихи, отчетливо произнося немое «е». И вдруг что-то, как иглой, кольнуло сердце.

– А ты позволяла мужу целовать себя? – спросил я.

– Да. Один раз, – ответила ты.

– Когда?

– В церкви. По приказанию епископа.

– Что же ты почувствовала?

– Соленые губы. Я потом осторожно вытерлась фатой.

Оба рассмеялись, пошли к заливчику, наняли маленькую моторную лодчонку с потертыми коврами и покатали на островок с тюрьмой, в которой сидел Монте-Кристо. Лодчонка неслась по прямой линии, как стрела, пущенная из слабого лука. На островке только и было, что тюрьма, похожая, впрочем, на Бастилию, да маленькое кафе с железными столиками. Несмотря на солнце и синее море, было мрачно, ты вдруг призналась, что боишься летучих мышей. Долго мы ходили по щебню, от которого скрипели подошвы, и смотрели на маяк и на корабли, с разных сторон шедшие к нему. Корабли напомнили мне о путешествиях и дорогах. И я спросил:

– Дениз! В конце концов, куда же ты меня ведешь?

– Не твое дело, – ответила ты, – теперь ты в моих лапах и изволь мне повиноваться.

И ты показала мне свои руки, и я увидел на них отсутствующие отцовские перчатки.

– А потом?

- А потом я тебе буду повиноваться.
- Ныне и присно?
- И ты ответила словами латинской молитвы:
- In saecula saeculorum.

XI. Комаринский мужик

...Проскочили по набережной, мимо Эйфелевой раскоряки, и странно, шевельнулась такая о Париже мысль: вот город, в котором слова «мерси» и «пардон» потеряли всякое значение. В Булони завернули к лесу, и этот лес, осенний, старческий, израсходовавший все отпущенные ему на сезон силы и соки, представлялся мне ручным зверем. Несколько медленнее проехали мимо олеографических озер, и мне показалось, что рыба в них перебита воскресными веслами.

Но вот парижская бензинная копоть ударилась в толщи загородного озона, появились люди с прочно-сучноватым провинциальным выражением лица, девушки с ненамазанным румянцем, монахи без молитвенников, похожие на отставных актеров, женщины в деревянных галошах.

Я чувствовал, что путешествие наше близится к концу, и мысленно гипнотизировал тебя вопросом:

– Все-таки, садовая голова, куда же ты меня везешь?

Я думал, что мы едем в Бельгию, под антверпенский дождь, но вот мелькнул Руан: камни его собора показались мне счастливыми, как счастливы те нотные знаки, которые служат Бетховену. Мелькнул спуск к мосту, кафе Виктора и река с непрочным пароходным дымом. Начались зеленые и высокие аллеи с листвой, более красивой и упругой, чем в парижском лесу, и странно, в поле отдавало яблочной кислотцей. Была пора той влажности, которая превращается не в облака, а в легкий туман. Пошли



сосновые леса и густые кусты папоротника в них: в папоротнике есть что-то чертовское, хитрое и незаметно спрятанное, как кусочек огонька в спичке.

Почему-то мне показалось, что скоро мы остановимся, и я не ошибся: мы скоро остановились около дворцовой высокой решетки, у ворот, похожих на версальские. На небе, как фонарь с протертыми стеклами, но еще не зажженный, повисла луна. От ворот шла широкая аллея каштанов, необыкновенно жирных и круглых, – и в этой аллее было что-то похожее на туннель. Бритый мужичишка эльзасского типа, распростав крестообразно руки, открыл ворота и пропустил нас в туннель. Мы поехали медленно, и чем ближе, тем больше подъезд дома обрастал окнами, этажами, башенками и, наконец, увенчался крутой чешуйчатой крышей. Где-то за домом дико-радостно гоготали гуси и слышался плеск воды.

Мы остановились и начали ждать. В первом этаже кто-то прошел со свечой, и потом послышалось, как щелкнули два поворота замка.

– Мы дома, – сказала ты.

Ногами, смявшимися от долгого сидения, я пошел в свою комнату, из которой увидел старый, разбитый по французскому канону паркетный сад, четырехугольник пруда с фонтаном, чугунных нимф по углам и купавшееся стадо гусей, старых и молодых.

Моя комната показалась мне взятой напрокат из Шенбруннского дворца: было в ней что-то венское. В углу стоял длиннохвостый рояль. В камине были приготовлены отлично просушенные дрова и растопка. Висела огромная пустая рама, и по ее размерам я догадался, что она приготовлена для дюреровской Евы. Я вспомнил Юпитера и понял, что эта комната – дело его рук. Он приготовил ее для зятя, которого хочет его дочь. Воля дочери – закон. Что об этом скажут или подумают люди, –

ему плевать: одиннадцать миллионов годового дохода страхуют его от всех бед. Bravo, Юпитер!

В ванне из левого крана полился ошпаривающий кипяток. Наверху в трубах постукивали молоточки. Очевидно, руководители дома знали, что нормандская ночь не будет тепла.

В столовой мы пили с тобой чай, и камин барски массировал мне спину: я сидел на хозяйском месте. Что-то во всем это было похоже на превращения из арабских сказок. Мне иногда хотелось ущипнуть себя и проверить: не во сне ли я вижу твою улыбку и перегородочки твоих зубов. Потом мы гуляли в саду, и кругом, как в цыганском романсе, росли тяжелые, осенние и твердые, как луковицы, розы. В птичнике устраивались, поделив петухов, куры. Гуси бодрствовали и паслись на полях, кланяясь травам.

– Это все твоё, в придачу со мною, – шутливо говорила ты, и я снова чувствовал себя арабским принцем, и мне казалось, что сейчас в зеркале я увидел бы себя помолодевшим, с витиеватым блеском глаз и с алмазом на чалме.

...Вспомнился грустный российский зимний день. Только что похоронили отца, и ко мне вечером пришла старая заплаканная тетка, присела на диван и сказала:

– Теперь влюбишься.

– Почему?

– Душа отцова будет искать выхода.

Тогда это показалось мне диким, но теперь, в сыроватых нормандских лесах, я точно и четко ощутил его присутствие: несмотря на сырость и холодок, мой отец, умерший от плеврита, ходил с нами в китайском чесучовом пиджаке, позвякивал множественством своих брелоков, и я всех их вспомнил: серебряный – в память коронации, золотой – от города, мой первый зуб, малюсенький бинокль, миниатюра



средневекового ключа и маленькая подкова с бриллиантовыми розами. И я думал о странных и неуместных вещах: я думал о том, что пьеса, написанная для театра, – безнадежна, если в ней нет роли для зрителя; о том, что если бы сейчас я не ощущал отца, то мне было бы жутко и одиноко. Сад этот показался мне знакомым, как будто бы я и раньше когда-то бывал здесь и знал все его входы и выходы. Я начал проверять это и понял, что ошибаюсь.

Наступил вечер. Рыжий керосиновый свет луны зажигался неохотно. Поднимался туман, сплетаясь с цветом гусяного оперенья. По прижавшейся ко мне руке твоей, по ее теплоте, проникающей через два сукна, я знал, что сегодня ночью ты будешь моей до конца, до крови. И я ни разу не ощутил обычного мужского торжества. Грязь, которой у человека вымарано все святое, ни на секунду не засорила моих жил. Не стало сильнее биться сердце. Не затуманилась голова. Губы не искривились самодовольной улыбкой. Я понял, что сегодня, в первый раз в жизни, я подойду к женщине, как к тайнству. Если бы у меня хватило смелости, я сказал бы тебе: «Благословенна ты в женах, и да будет благословен плод чрева твоего». Я смирился перед твоим смирением, перед твоим тайным ожиданием, перед напряженностью груди, ждущей молока.

Поздно ночью я вошел в твою комнату, и через месяц новая жизнь начала строиться в тебе, из сцепления двух кровей: антверпенской и российской. Так было, вероятно, суждено, и к этому мы неуклонно тянулись: я – через свои сорок лет, ты – через свои двадцать. Что-то близкое раю и царству небесному окружило мою жизнь в эти три месяца, но...

Но сегодня приехал директор. Мы были рады ему, и он был рад нам. Я следил за его глазами и по их огню понял, как богат и пышен наш рай: только

теперь впервые я заметил, как драгоценна наша посуда и каким тонкоголосым серебром звучит серебро нашего стола. Впервые его глазами я рассмотрел тонкую резьбу наших дубовых и ясеневых стен, венецианские приборы для кофе, тонкие дамасские шелка гостиной, туркестанские ковры. Я понял, что если убрать из жизни зависть и недоброжелательство, то это будет все равно, что убрать со стола соль и перец. Я понял и то, что я был счастлив и в ту пору, когда любил свою бедность: она была наполнена странным и обольстительным очарованием.

После завтрака директор потребовал у меня отдельной аудиенции и сказал, не глядя в глаза:

– Ну что ж, брат, пожалуйста бритесь. Надо платить по счетам.

Я думал, что речь идет о каких-нибудь финансовых осложнениях в труппе, но директор быстро разъяснил, в чем дело.

– Надо ехать драться. Ты же не забыл, что я – твой секундант? Теперь на меня нажимают. Вексель истек срок. Не заплатишь – его отправят к судебному приставу.

– Сколько тебе лет? – спросил я.

– Немало, – ответил директор, боясь уронить пепел с сигары, – уже шестой десяток разменял.

Часов около двух ночи я поцеловал тебя – и, быть может, в последний раз. Ты заснула на моих глазах. Ночной румянец, столь отличный от дневного, проступал на твоих щеках. Дыхание твое было ровно и тихо. Ставни заперты глухо и крепко, и ты можешь нежиться в теплых уютных простынях до самого позднего часа, прислушиваясь к тому, как образуется в тебе новое существо: половина твоя и половина моя. Я же прошел в свою комнату и начал писать тебе это длинное письмо. И прошу тебя: если у тебя родится сын, выучи его русскому языку и в учителя



возьми человека, родившегося в Московской или Калужской губернии. Воспитавай его в православной вере. Живи в городе, где есть русская церковь. Пусть с детства он поет в церковном хоре. Он узнает сладости осьмигласия, херувимских песней, величаний, пасхальных ирмосов, литургии Иоанна Златоуста, заповедей блаженства и начинательных псалмов Давидовых. Жизнь и ум его покажут, будет он верить или нет, но то, что он приобретет в этом наследии певцов и поэтов, даже неверующему даст богатство и радость и в трудную человеческую минуту поддержит его. Помни, что мир задыхается от нечистоты. Вероятно, я на мгновение задремал, ибо то, что я сейчас видел, было сном, и смешным и торжественным. В комнату вошел мой отец и с ним – ряд длиннородых мужиков. Я догадался, что это были дед Василий, прадед Стефан, прапрадед Егорий и другие, имен которых я не знаю. Все они были чинны и строги и рядом, как на сходе, разместились на стульях в два ряда. Волосы их, лысины и лица были необыкновенно чисты, как будто они только что пришли из бани, где отваливались березовыми листьями.

– Ну что ж, – начал дед Василий, обращаясь к отцу своему Стефану, – скажи слово.

Стефан подумал и голосом, в котором я услышал свой тембр, сурово сказал, обращаясь ко мне:

– Пахал бы землю, не было б бестолковщины. Теперь сомневаемся, принимать ли внука в семью?

Я ответил поклоном, каким на сходах кланяются миру:

– Будьте кормильцами, примите.

– Внук-то, сын-то твой, не от родной девки, – упрекающим тоном сказал Стефан.

– Как не от родной? – спросил я, не поняв.

– Не русская-то девка родит твоего сына. Смешиваешь кровь, дурак.

Я не знал, что ответить. Тогда, по-адвокатски, выступил отец с уставным поклоном:

– Могу сказать, отцы, что девка замечательная. Хорошая девка. И к нашему роду дюже ладная, – сказал отец с заискивающим оттенком.

– Ну тебе с горы виднее, как и что, – холодно вато ответил Стефан. – Но теперь другая забота: завтра этот дурак-то лоб под пулю подставляет. Что делать-то?

И вдруг все хором рявкнули:

– Ну это не беда, сегодня у Миколы хлопотать будем.

И, обращаясь к отцу, добавили:

– Это уж твое особенное дело, насчет Миколы-то...

Стефан обратился ко всем:

– Ну вот. Девка-то хоть и не своя, а в род-то младенца принять надо.

– Уж конечно, – слышались голоса, – но только пусть сначала отпляшет комаря перед стариками. Плясать будешь?

Это меня озадачило.

– Как же я буду плясать перед вами, когда нет музыки? – спросил я.

– Музыка будет, – ответил Стефан.

Я увидел, что отец мой подошел к роялю и отогнул крышку. Я испугался за него, так как знал, что он не умеет играть. Но странно: пальцы его оказались моими пальцами, и я увидел, как они правильно, по-консерваторски, легли на клавиши. Прозвучал первый минорный аккорд, и я понял, что отец начал глинковскую «Комаринскую». Отец был внутренне тревожен и поощрительно, как на трудном экзамене, подмигивал мне. Когда минорные аккорды с хитрой постепенностью начали, как молниеносными лучами, прорезываться звуками веселыми и нако-



нец полностью превратились в чистый и быстрый мажор, Стефан вдруг ударил в ладоши и запел:

– Двадцать девять дней бывает в феврале,
В день последний спят Касьяны на земле...

Началась «Комаринская», рояль завиялял своим длинным хвостом, в ноги мои, как пружина, вступила танцевальная сила, и я не понял, что со мной делается. Я видел, что отец приналег на клавиши и на столбовом мотиве накручивал свои новые и необыкновенно остроумные петли, которые, прозвучав, сейчас же пропадали, как мыльные пузыри. Эти петли лились то сверху, то снизу, басы бросались на дискантов и обратно отскакивали в свои углы, – и я чувствовал, что у меня под ногами – невод начинает рваться.

И вдруг к Стефану присоединились остальные старики и, хлопая ладонями, палец в палец, хрипылыми басами нажимая на третий слог, пели:

– Осерчало благородие: Ах ты, хамово отродие.
Целовальник! Дай чернильницу!

Пот лил с меня градом, правая нога окончательно запуталась в неводе, и вдруг музыка оборвалась и я услышал голос Стефана:

– Хорошо плясал: с наклончиком, с ветерком.

И тут в птичнике гаркнул спросонья петух. Все исчезло.

Я сидел у стола, и бумага, на которой я тебе писал, была мокрая, и буквы местами расплывались. Я изумился, припомнив слова: наклончик, ветерок; я никогда не слышал о них как о танцевальных терминах.

Но вот в отдалении зазвучал сигнал автомобильного гудка. Это, по условию, трубят директор.

Надо идти. Прощай или до свиданья?..

Конец

Подготовка текста и публикация А. Фокина

На евразийской грани

*О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?..*

А. Пушкин. Клеветникам России

России древо мощное вросло
В хребет земной по евразийской
грани.
Его макушку льдами обнесло,
А ствол ветра вселенские
таранят.

Над шквалами бушующих морей
Шумит оно раскидистою кроной.
На карте мира выглядит скорей
То древо евразийскою короной.

В веках тебе, Россия, сам Господь
Судил на страже быть
миропорядка,
Свои все искушенья побороть
И отразить враждебные нападки.

Веленью Божьему, избранница,
внемли!
Хотела б ты того иль не хотела,
Конвульсии страдающей Земли
Гасить твоё способно только
тело.

К тебе – ветра вселенские летят.
Дано тебе – в назначенные сроки
Яд стронция и ненависти яд
Переработать в жизненные
соки.



**ЕЛЕНА
ИВАНОВА**

Поэзия





Пускай витии новых смутных дней
Грозят тебе погибелью –
Всесветный
Не вырвет ураган
Твоих корней,
Проросших в глубь мятущейся планеты.

Я думаю, уж лучше бы – с лучиной,
Была бы только Матушка живой.
Как потчевала нас она, лечила!
Водицею поила ключевой.

А нынче всё нам мало, мало, мало!
Уж съесть готовы, кажется, живьём,
Железными клыками каннибалов
Вонзаясь в тело бедное её.

Когда съедим и обглодаем кости
Не хуже тех шакалов и волков,
Останется нам вечное сиротство
В звериных дебрях сумрачных веков.

И оттого-то я, Её кровинка,
Куда б Движение ни занесло,
Спешу сойти с асфальта на тропинку.
О, как в лугах светло и весело!

Привет вам, колокольчики-ромашки!
Я та девчонка с головой льняной,
Что лакомилась клеверною кашкой.
Да не вчера ль то было, боже мой?!..

Благая память – вот моя держава.
Зачем, мой цветик аленький, ты сник?

Пускай труба железная та ржава,
Течёт по ней серебряный родник!

Севастопольское братское кладбище

Из каменных гробов их голос вечно слышен...

А. Фет

На кладбище на братском тишина.
Склонила осень скорбные знамена.
Гробницы всюду..
Выплыла одна
Ладьей тяжело-каменной Харона.

Другая вертикально поднялась,
Похожая скорее на беседку.
Чьи духи здесь беседуют, сходясь,
И глухо им акаций вторят ветки?

И ветер новых грозовых времен,
Смутясь, стихает в варварском набеге.
В молчании плывут со всех сторон,
Плывут покоя вечного ковчеги.

На кладбище на братском тишина.
Склонила осень скорбные знамена.
Им всем – судьба единая дана,
И мало кто отмечен поимённо.

Тщете себялюбивой не посметь
Тесниться здесь.
Здесь пригоршнями зерна
Убитых жизнью
высевала смерть



В сырую землю.
Потому – просторно.

Взошел печалью, вызревшей в веках,
В сердцах людских посев тот небывалый.
Кустарник от могилы в двух шагах
Усыпан черной ягодой и алой.

И почему-то так легко представить,
Как меж гробниц, для них навеки свой,
Идет с седою бородою старец,
Бессмертия посланец – Лев Толстой.

Идет в суровой из холста рубахе,
В рубахе чистой (океан стирал!)
Умов и душ неутомимый пахарь
И Совести российской адмирал.

Подобна усеченной пирамиде,
Перед глазами церковь вознеслась.
И набожность души своей он выдал:
Остановился, медленно крестясь...

(И по щеке дождинкою сбегала
Слеза)..
Крестился он на письма:
Утрат российских черною скрижалю
Предстала храма божьего стена.

Вдруг музыки торжественной аккорды
Почудились...

И дрогнул сон могил!
И месяц уж сияющий всходил,
И на виду у них, как лебедь гордый,
Как белый лебедь,
Севастополь плыл.

* * *

Щемливо сердцу от тоски,
В укор смотреть глазам,
Как Русский мир рвут на куски
И скармливают псам.

За пахотный и ратный труд,
За всю её любовь
России всюду – там и тут,
Знай, отворяют кровь.

Какая боль! Какая грусть!
С котомкой за спиной
Бредёт моя родная Русь,
Согбенная виной.

Горьки свячёны куличи,
И, пригибая вниз,
В лицо кричат ей палачи:
– Винись!

Винись!

Винись!

И сил не станет на любовь,
И упадёт во ржи...
Ведь всё струится её кровь
Из отворённых жил...

...Но полно! Кто это сказал,
Что нрав твой кроток, тих?
Тигрицей огненной гроза –
В глуби зрачков твоих.



Он потрясёт вдруг небеса –
Твой разъярённый рык!
И смолкнет вмиг планета вся,
Всяк сущий в ней язык...

Притча о русской матрёшке

Матрёшка русская в себя
Сестриц упрятала всех меньших.
И как в обшивку корабля,
В бока ей шторм хлестал зловеще.

Она, как мать любимых чад,
Сестёр собою заслоняла,
Чтоб никакой заморский гад
Их не швырял бы зло на скалы.

И ей устойчивость и вес
Самой родство то сообщало.
Но зря ли нас толкает бес
В ребро, дурному наущая?

И вот сошлись три дурака
Однажды в Беловежской пуще,
И ну матрёшку за бока
Трясти,
Лихих злодеев пуще!

И, заглянув в её нутро, –
Свободны! –
Возгласили трубно.
«Освободителей» перо
Скрепило акт тот трехиудный.

Да только вот мешает плыть
Тот символ воли отчего-то.
Скорлупке утлой как рулить
Меж рифов и водоворотов?

И как от вражеских зубов
Спасаться –
Щучьих и акульих?
Доходит истина до лбов
Не сразу.
Глядь-поглядь – надули!

И вот уж доброхот – привет! –
Спешит в лице американки.
Матрёшки русской – прежней – нет,
А есть от дяди Сэма танки.

А у России – что?
Секрет,
Известный только
Ваньке-встаньке.

Рецепт добра

При званиях, наградах и чинах,
Все занявши общественные ниши,
Мой визави, ты мечешься в мечтах
Подняться над людьми ещё повыше.

А солнце над планетою встаёт
Не заносясь!
И просто это значит,
Что жизнь вершит в веках круговорот
И новый день благословенный начат.



В заботах приземлённых день-деньской
Живу себе ни хорошо, ни плохо,
Но только в шум вливается людской
И сердца моего тележный грохот.

Ждут пахаря весенние поля,
Суля пшеницы золотые горы.
От века нам на всех – одна Земля,
А на Руси – такие-то просторы!

Что б вместе нам плечом к плечу пахать
И хлеб делить по совести, -

так нет же!

О, саранчи прожорливая рать,
Ты жизнь всечасно превращаешь в нежить!

Пускай кому-то кажется нелеп
Рецепт добра, его не позабудем:
Ты от того не ешь, мой брат, свой хлеб,
Что Бог отверг и что не нужно людям.

Троянский конь

Как случилось?..
Понять хоть убей
Не могу, озирая окрестность.
Топчет тук ставропольских степей
Конь троянский – заморский инвестор.

Урожай будет знатный в свой срок,
И «данайцы» в том, нет, не ошиблись.
Отчего же дрожит колосок,
Каплей рабского пота пришиблен?

Признание

Что с нами делают года!
Моргнуть я не успела глазом, –
И не заметила, когда
Мне перелили кровь Кавказа.

Очнулась: явь то или сон?
Пенаты юности, простите!
На безымянном пальце ОН
Гору Кольцо велел носить мне.

А я примерила на глаз –
Кольцо гиганту только впору.
Взяла на вырост, как наказ
Идти всё дальше, выше – в гору!

Я до седых дошла снегов
В том восхождении высоком.
Бальзам нарзанных родников
С моим смешался кровотоком.

Здесь вся земля передо мной!
Бурлит в ущельях кровь Кавказа,
И потаённой глубиной
Сквозят озёр его топазы.

Как величава его стать!
Я про себя давно решила:
Свой страдный Путь пройти и стать,
Кавказ, одной твоей вершиной.

Или скалой, где гнёзда вьют
Орлы – крылатые собратья.
Дано из рук великих тут
Перо орлиное принять мне.



Люблю, люблю тебя, Кавказ!
Твоё плечо повсюду рядом.
Отчизны ты моей алмаз
В кипенье пенном водопадов.

И даром, что на склоне дней
Признание это шепчут губы.
То сердце любит всех сильней,
Которое предвечно любит.

В растворившийся в сумерках
дом.
Ветер запахи с поля доносит...
Что-то шепчет сирень под окном,
И девочки поют на покосе.

Свечерело, и в створки окна
Заползают усталые тени.
Пожелтой полоской луна
Улеглась у меня на коленях.

На соседском подворье возник
Плач дитя, что гулять выносили,
И затих, видно, к маме приник –
К терпеливой мадонне России.

А мадонне, лет двадцать всего –
Грудь ещё в золотистых
веснушках...

Покормила дитя своего
И пошла посидеть у подружки.

Жизнь есть жизнь... Ей ли ставить
в вину,
Что не всё в ней, о чём мы
мечтаем?..

Кто-то только встречает весну,
Кто-то следом спешит, подрастая...

Остатки бывшего села
Поразбрелись по кособору.
Удача, видно, обошла
Эти забытые просторы.



**ВЛАДИСЛАВ
БУДАРИН**

Поэзия





Платформа, стёжка, чахлый луг,
Берёзки, сбившиеся в кучу...
Старушка предлагает лук,
И я беру, на всякий случай.

Вдали десяток развалюх
На жалких латках огородов,
И на полсотни вёрст вокруг –
Непроходимые болота.

Недаром, кто-то говорил:
«Это ж у чёрта на куличках...»
Хотя отсюда до Твери
Всего лишь час на электричке.

Всего лишь час... Но, Боже мой!
Такой контраст, что как-то дико,
На глухомань взглянув впервой,
Страну трущоб считать великой.

Но мы привыкли. И взглянув
Мельком на это запустенье,
В многоэтажную страну
Стремится наше поколенья.

А я всю жизнь душой тянусь
Туда, где в сирости убогой
Руси берёзовая грусть
Стоит сироткой у дороги.

Где окна с треснутым стеклом,
Хатёнки, что на косогоре,
Глядят растерянно в пролом
Полуистлевшего забора.

Там на пригорке строят храм
(Наверно, Богу так угодно),
Раствор мешая пополам
Из нищеты и слёз народных...

Вдоль косогора чахлый луг
И размежёванный пригорок.
На грядках зеленеет лук,
Но до чего же он здесь горек...

* * *

Гляжу на дождик сквозь стекло:
Повсюду слякотно и сыро.
Воды так много натекло.
Что впору затопить полмира.

А дождик продолжает лить.
Переполняя луж разводы...
Но мысли прерванная нить
Никак не вяжется с погодой.

В моей душе сейчас светло,
В ней мир сияет и искрится...
И только мокрое стекло
Не хочет с этим примириться.

Оно слезится мутной мглой.
Перекривляя отраженье...
Такое хрупкое стекло,
Такая ясность ограждения...



* * *

Ночь, и такая вокруг тишина.
Словно безмолвьем объяло планету.
Белая улица насквозь видна
В тихо мерцающем, призрачном свете.

В белом наряде кусты и поля.
В белом наряде пушистые ели...
Словно невеста оделась земля.
Даже заборы – и те побелели.

Город, отвыкший уже от торжеств.
Стал вдруг парадным и празднично-светлым.
Тихо слетают снежинки с небес.
В белое белым ложась незаметно.

Будто бы праздник на землю пришёл.
Самый заветный и самый красивый...
Господи, как же вокруг хорошо!
Где ж тебя, зимушка, раньше носило?..

* * *

Красивая... Всё остальное
Я сам додумаю за Вас,
Представив рядом Вас со мною
В какой-то мой нелёгкий час.

Я расскажу о Вас, чтоб люди,
Про Вас не зная ничего,
О Вас судили, как о чуде,
Нам данном милостью Богов.

Я Вас придумаю и, может,
Вы не узнаете себя
В красавице, на Вас похожей,
Мечте любого из ребят.

Вам и предполагать не надо,
Кто с Вас случайно написал
Мечту, влюбившись с полувзгляда,
Ту, что себе придумал сам.

* * *

Вот и опять пришла весна.
Теплом весенним нежит лица.
Встречая солнце, у окна
О чем-то тенькает синица.

Лебёдушками облака
Плывут над тихим городишком.
Мужик валяет дурака.
Как расшалившийся мальчишка.

Он, то подпрыгнет, то, кружась,
Вдоль тротуара пробежится,
И нараспашку вся душа,
На всё готовая решиться.

Мужик, конечно же, влюблён.
С таких весною много ль спроса?..
С испугом стайка воробьев
Туда поглядывает косо.

Справляет свадьбы вороньё,
Кружась над лесом в хороводе.



Моё укромное жильё
Теперь и не жилое, вроде...

С тоской несытою в глазах
Бреду вдоль солнечной поляны...
Эх, так хотелось рассказать
О хороводах, о гуляньях...

Но на поляне тишина.
Лишь за поляной, у лесочка,
Стоит взгрустнувшая весна
В венке из синеньких цветочков.

Два друга

Повесть

Глава 1

Передислокация

Санька от родителей получил сельскую основательность, неторопливость, сообразительность и находчивость.

Ещё мальчишкой он прекрасно обустроился на родной земле и чувствовал себя на ней полным хозяином.

Ему было шесть лет, когда однажды утром, досыта наевшись рассыпчатой гречневой каши с молоком, он увидел, что мать отвернулась, и сунул два крупных ломтя душистого ржаного хлеба в громадные карманы штанов. Эти специальные штаны сшила ему бабушка, учитывая, что наказывать Саньку за разорванные карманы и просить перестать набивать их бесполезно. Всё равно туда будут утрамбованы в тесном соседстве красивые разноцветные камешки, катушка ниток, коробка спичек, пара английских булавок, верёвочка, крошечный перочинный ножик, сложенный листок бумаги, стеклянный шарик и... Перечислить «богатство» Санькиных



**ГЕННАДИЙ
РЫТЧЕНКО
СЕРГЕЙ
СКРИПАЛЬ**

Проза





карманов было невозможно потому, что содержимое применялось, обновлялось, пополнялось и обменивалось. Бывали моменты, когда в вечной возне по домашнему хозяйству мать или отец обращались к сыну в поисках необходимой мелочи:

– Санька! А есть у тебя?

– Сынок! А погляди-ка в кармашках?

И Санька обычно, важно посопев, доставал из карманов то, что просили. За эту крестьянскую основательность и толковую запасливость маленького серьёзного мальчишку сначала в шутку, а потом чаще и чаще старики села называли по имени-отчеству, как принято обращаться в селе к людям уважаемым. Но, бывало, окликнуть Саньку нужно было быстро, а произносить «А-лек-сандр Бо-ри-со-вич» было так долго, что друзья мальчишки быстро приспособились и весело кричали с улицы:

– Бори-и-и-сыыыч! Выходи, на речку пойдём!

Мать с отцом перемигивались, смеялись, но скоро сами так привыкли, что звали маленького сына только по отчеству.

Со временем не все и вспомнить-то могли, что настоящее имя Борисыча – Санька.

Уложив хлеб в знаменитые карманы и убедившись, что мать этого не видела, Санька выбрался из-за стола.

– Мам, я погулять.

– Погуляй, погуляй, сынок, – уже хлопотала у печи мать.

Торопливо взобравшись на пригорок, Санька оглядывал окрестности родного села. Черноволосый, кареглазый, в просторной рубахе навывпуск и штанах, с непомерными карманами, босоногий сельский мужичок выбирал, в какую сторону и зачем он сегодня пойдёт.

Можно было пойти на юг, к сельским коровникам. Там тётя Лида всегда наливала свежего моло-

ка и разрешала погладить Звёздочку – маленькую, тихую, удивительно красивую коровку. Можно пойти на восток, к зарыблённым прудам, сесть на деревянном помосте около дяди Вани и, свесившись с тёплых, прогретых солнцем деревяшек, глядеть, как играет в глубине пруда серебристая рыба.

Гуляющие около речки гуси на севере не заинтересовали Саньку, – они шипели и щипались, но там можно было поиграть, построить запруду и поискать красивые разноцветные камешки.

Санька повернулся на запад и замер. За ночь произошло чудо, и на западной околице села, у опушки леса, там, где находилась огромная поляна, расположилась военная часть. То есть Санька, конечно, не знал, что это военная часть, что она передислоцируется, что в этом месте предусмотрена суточная стоянка. Он, просто не отрывая глаз от защитного цвета палаток, от выстроенной в аккуратные ряды мощной военной техники, заморожено зашагал навстречу новым впечатлениям.

Когда проходил по селу мимо родного дома, за ним увязалась младшая сестрёнка. Так, вместе с ней, рука в руке, они подошли поближе к месту расположения военных.

Жизненный опыт подсказывал, что взрослым мешать нельзя, поэтому Санька сначала очень осторожно стал обходить расположение кругами.

Первым заметил детей часовой. Устав запрещал ему разговаривать, оставлять пост, да и вообще давал не много свободы, поэтому он просто заулыбался навстречу детям, но все – таки махнул рукой, показывая, чтобы к нему не подходили.

Санька остановился неподалёку, залюбовался сам и показал сестрёнке на часового:

– Смотри, Катька, какая у дяденьки одежда! А ружьё видела?

Маленькая Катька мало что понимала в «ружьях»



и военной форме, но закивала белокурой головёшкой. Старший брат был защитой, надеждой, опорой и непререкаемым авторитетом. Сказал смотреть – надо смотреть. Подойти ближе Санька не решился. Сунув Катюшке кусок хлеба из кармана, взяв её за руку, он продолжил сужать круги вокруг палаток.

Из расположения выскочил солдат с белым колпаком на голове и смешно, как мама Борисыча, подвязанный фартуком. Сжимая ведро в руке, он определил направление к селу, повернулся и чуть было не налетел на двоих детишек.

– Ух, ты! – весело заулыбался он. – А вы что тут делаете?

Катюшка посмотрела на брата в ожидании инструкции – зареветь ей или улыбнуться. Санька обстоятельно, не торопясь, ответил, кто они такие и что тут делают.

– Ты смотри! – опять восхитился весёлый солдат. – Значит, решили с армией познакомиться? Хотите, я вам её покажу? Только мне сначала надо воды набрать. Проводите меня до колодца?

Санька подумал и кивнул головой.

Катюшка ехала верхом у солдата на плече, а Санька шёл рядом и рассказывал, что зовут его Борисыч, что вчера он охранял поросёнка, потому что тот повадился залезать к соседям и там шкодничать. Что про армию ему рассказывал отец, и сам он видел картинки в детской книжке, на которых «тоже такие машинки нарисованы, а так близко ещё не приходилось видеть».

Весёлый солдат рассказал, что зовут его Федюня, что набирает он воду для кухни – варить обед солдатам.

В общем, уже через час Санька и Катюшка сидели на маленькой лавочке возле полевой кухни и всю глазели на то, как ловко весёлый Федюня управляется с огнём и кипятком. Дети не отрыва-

ясь смотрели, как лихо он скинул с разделочной доски на сковородку кубики сала, а когда они стали прозрачными и зашкворчали, засыпал их соломкой оранжевой морковки, фиолетовой свеклы, резаным репчатым луком. А когда за жарка для борща распространила свой аппетитный запах на всю поляну, Санька сглотнул слюнки, вздохнул, прошептал:

– Пойдём домой кушать, Катюха!

Встал со скамеечки, помог слезть сестрёнке. Федюня оторвался от кухни, увидел, что дети засобирались:

– О! Куда уходите? Борисыч! Ты мне воду помог таскать? Ты со мной посидел за компанию, пока я поесть готовил? Значит, ты теперь мой помощник и товарищ! Я и тебя, и Катеньку сейчас таки-и-им борщиком накормлю!

Санька подумал, и, усадив сестрёнку на место, опять присел на лавочку.

Через некоторое время обед поспел. Весёлый Федюня усадил детей на брошенный на землю, в несколько раз свёрнутый брезент. Заботливо поднёс им деревянные ложки и солдатский котелок, из которого шёл чудесный запах приготовленного на сале, густого, наваристого, украинского борща.

Федюня посоветовал ещё подбавить сметанки из стоящей тут же открытой крынки, но проголодавшиеся дети, забыв об окружающем мире, уже вовсю уплетали сказочную вкуснотищу еды.

Весёлый повар полюбовался живописной картиной и посоветовал «оставить место, потому что ещё будет каша и чай».

Заглянувший на кухню дежурный офицер увидел прелестную, замызганную до ушей борщом Катюшку, степенно жующего кашу с мясом, довольного Саньку и, улыбаясь, выслушал доклад о ситуации.

Продолжая улыбаться, офицер сбегал куда-то, быстро вернулся и подошёл к детям, уже закончившим



есть и осторожно прихлёбывавшим из алюминиевой кружки крепкий, сладкий, как сироп, горячий чай.

Офицер спросил, как им понравилось «в армии», послушал довольные ответы детей.

Протянув Катюшке карамельку, он обратился к её брату:

– Ну а ты, Борисыч, пойдёшь в армию служить, когда вырастешь?

Санька посопел и ответил, что пойдёт. Только не когда вырастет, а прямо сейчас.

– Мне только нужна специальная одежда, как у Федюни, а то у меня нету. Ну, да я её променяю, – вслух поразмышлял Санька.

– А, форма! – сообразил офицер, – на что же ты её можешь променять?

У офицера округлились глаза, когда на брезент из Санькиных карманов посыпалось «добро».

– Вот! – гордо сказал запасливый хозяин. Но, глядя на смеющегося офицера, перебирающего эти нужные и полезные вещи, Санька понял, что за такую прекрасную одежду, как военная форма, этого будет маловато. А вдруг у офицера достаточно своих верёвочек, стеклянных шариков и мелков? И Санька решил.

– А ещё вот, Катюку в придачу!

– На сестрёнку? – не поверил своему счастью офицер.

– А то! – заверил в серьёзности своих намерений Санька.

Офицер, стараясь не покатиться от хохота, опять куда-то сбегал, вернулся и, пряча руки за спиной, сказал Саньке:

– Вот ведь, брат! Не дают целую форму за сестрёнку! Уж больно мала. Только пилотку и всё.

Офицер достал из-за спины и торжественно вручил Саньке новенькую солдатскую пилотку, с прикреплённой красной звездой с серпом и молотом.

От восторга у Саньки дух перехватило. Не в силах оторвать глаз от пилотки, он только и смог сказать сестрёнке:

– Катюха, ты здесь остаёшься!

И начал собирать своё добро по карманам.

Офицер подмигнул давящемуся от хохота Фёдорову, и тот помог Саньке собраться.

Отсмеявшись, офицер посерьёзnel и сказал, обращаясь к «новобранцу»:

– Теперь ты, Борисыч, в армии и должен выполнить первое военное задание. Слушай приказ.

Санька слушал офицера, открыв рот.

– Так вот. Ты с сестрёнкой сейчас пойдёшь домой. Будешь её охранять и защищать, чтобы она быстрее выросла.

– Чтобы за большую Катюшку мне дали всю форму? – логично рассудил Санька.

– Ну, конечно! Ты – молодец, сразу догадался! – фыркнул, не удержавшись, офицер.

– Тебя сейчас с Катюшкой проводит домой рядовой Силаев.

Офицер поглядел на Фёдора, который вытянулся, вскинул руку к поварскому колпаку:

– Есть проводить Борисыча с сестрёнкой домой!

Офицер кивнул – «вольно», и продолжал говорить с ребёнком:

– Ты, Борисыч, будешь теперь ждать. Мы тебя позовём, когда наступит время. Нам такие, как ты, очень нужны.

– Есть! – ответил Санька, и точь-в-точь, как Федор, вскинул руку к пилотке, закрывшей ему полголовы, нависшей на глаза и задержавшейся на оттопыренных ушах.

Офицер выпрямился и по всем правилам отдал честь маленькому солдатику.

Добрый Федюня насыпал Саньке в карманы стреляных гильз, подарил офицерскую кокарду и



настоящую солдатскую фляжку, отвёл домой Саньку и с рук на руки передал смеющимся родителям заснувшую Катюшку.

Уже вечером, после ужина, Санька сидел около отрывного календаря на кухне и пытался понять, что означают цифры **1969**, прикидывал, когда его позовёт в армию добрый офицер, когда можно будет поболтать с весёлым другом Федюней и поесть его вкуснейшего украинского, приготовленного на сале, борща.

Глава 2

Федюня

Железную дорогу и все, что с ней связано, Фёдор обожал с тех пор, когда отец привел его, пятилетнего пацана, на городской железнодорожный вокзал.

Особая атмосфера четкой службы, форменная одежда железнодорожников поразили и покорили мальчишку. Приятный аппетитный запах подливок из ресторанной кухни, шлейф свежести и одеколona из вокзальной парикмахерской добавили яркости впечатлению ребенка, запомнились на всю жизнь. Но это было только начало сказки. Отец, крепко держа маленького Федю за руку, вывел его на перрон.

– Смотри, – загадочно, как настоящий волшебник, сказал отец.

Федя завертел головой, мол, чего смотри-то? Взглянул на отца, но тот только загадочно усмехнулся.

Через пять минут тяжёлое постукивание передалось от перрона в ноги и вскоре, во всем своем великолепии, отдуваясь, выдавая свое лихое:

– Чху–чху–чху–чху–чх-х-ху-у-у! – к перрону подкатил паровоз. Он показался мальчишке громадным. С блестящими рычагами-шатунами, с большими, по внутреннему кругу выкрашенными

красной краской колесами и с красной же звездой на круглом торце передка, он был прекрасен!

Федя вытаращил глаза, любуясь этим великолепием, а паровоз бесконечно эффектно закончил сцену знакомства. Отдув от себя пышные белые «усы» и окончательно остановившись, задорно свистнул тоненько, очень чисто, пронзив чистым звуком перронную сутолоку, и окутал себя, Федю, отца, здание вокзала белыми клубами пара, как будто бы приняв в объятия хороших друзей.

Фёдор уходил домой восторженно-обалдевший, счастливый бесконечно, и в то же время молчаливый, не желающий выплеснуть переполняющие его эмоции. В одной руке он сжимал вафельную трубочку с кремом, в другой переводные картинки. И трубочка, и картинки были большой редкостью, и купить это ребёнку на ту пору было дороговатой роскошью. Ещё очень долго дома Федя вспоминал красавец паровоз, вокзал, железную дорогу. Он сидел притихший, не замечая того, как отец, подмигивая матери, кивал незаметно на сына.

Когда Феде исполнилось шесть лет, мама закончила институт. По распределению ей нужно было ехать в село. А отец... Отец в село не поехал.

Поэтому маленький Федя очень тосковал об отце, о городской жизни, и часто, как сказку, вспоминал знакомство с железнодорожным вокзалом.

Мама была ценным специалистом, быстро стала уважаемым человеком. Поселили её с сыном почти в центре села в хорошем большом доме.

Её закружила работа, и только по вечерам они встречались вместе за одним столом, дружно уплетали горячую отварную картошку с салом, луком и чесноком, с ещё тёплым, из печи, хлебом. И казалось, что вот так, хорошо и спокойно, пойдет жизнь в порядке и благополучии на долгие годы.



Мама на работе, Федя собирался только на следующий год пойти в школу, а пока отчаянно скучал.

Он помнил крошечную станцию, на которой вышли они с мамой, когда приехали в село, и за собирался пойти посмотреть на любимый паровоз, свисток которого раздавался каждый день ближе к полудню с одной и той же стороны села, там, где проходило железнодорожное полотно.

Сказано – сделано. Что невозможно для мальчишки в шесть лет? И Федя пошёл.

Шёл, не торопясь, по селу, читал названия улиц и редкие вывески. «Улица Грушёвая», «Сельпо», «Парикмахерская», «улица Энгельса», «Почта», «Сельмаг». Глядел в окна домов, в которых для украшения были поставлены на утепляющую вату то новогодние стеклянные игрушки, то сшитые из старых открыток изящные «вазы», а то и просто плоски, наполненные солью, для впитывания влаги из воздуха, находящегося между рамами. На одной из улиц Федя долго любовался вывеской, на которой были красиво нарисованы сыр, колбаса и бутылка лимонада. На другой улице он, потянувшись, сорвал несколько спелых черешен с веточки дерева, перевисающей через невысокий забор. И вдруг – «улица Железнодорожная!» Федя обрадовался, как встрече со старым другом. Железнодорожная! Значит, где-то здесь можно найти и саму железную дорогу!

Он заспешил, заторопился, пошёл быстрее, уже не рассматривая ни таблички с названиями улиц, ни вывески, ни «выставки» в окошках.

Завернул за угол следующего дома и увидел насыпь, с положенными на неё шпалами и рельсами, маленьким полосатым столбиком около них и светящимся светом вдали.

Подойдя поближе, Федя присел около шпал и стал рассматривать вблизи рельсы, громадные болты, ко-

торами они были скреплены, толстые деревянные, остро пахнувшие чем-то будоражащим шпалы.

Насмотревшись, он поглядел вправо, влево и увидел неподалёку то самое место, куда привёз их с мамой недавно поезд.

Маленькое деревянное здание, полосатые шлагбаумы по обе стороны рельсов да вот, пожалуй, и всё.

Федя подошёл к станции, присел на лавочку, стал ждать паровоз и... задремал.

Он проснулся от страшного шума, испугавшись спросонья, подскочил на месте. Мимо мчался состав, перевозящий солдат и армейское оборудование.

Мелькали, пролетая, вагоны, платформы, с укреплённой на них военной техникой, открытые теплушки, трепетали на ветру маленькие красные флажки.

В уши врывался грохот, рёв, отрывки песен. В лицо бил сгущённый плотный поток воздуха, прерывающий дыхание. От всего этого, от такой мощи и скорости становилось страшно, весело и хотелось петь и кричать от восторга.

И вдруг, внезапно, всё оборвалось и стихло. Состав пронёсся мимо, и только удаляющееся постукивание по рельсам подтверждало, что поезд был.

Федя пришёл в себя, оглянулся по сторонам. Увидел железнодорожника с красным и жёлтым флажками в специальном кожаном чехле и такого же, как и он сам, маленького мальчишку в громадной пилотке, криво сидящей на стриженной голове.

Посмотрели издали друг на друга и собрались уже идти по своим делам, как вдруг Федя с ужасом понял, что не знает, куда идти и где находится его дом.

Он растерялся, метнулся по дощатой платформе в одну, в другую сторону и, вконец испугавшись и растерявшись, заплакал. Да что там заплакал! Заорал от ужаса, широко раскрывая большой круглый рот.

Вокруг него немедленно собрались человек пять, пытались успокоить его, спрашивали, что случилось.



Какая-то сердобольная старушка, удерживающая козу на верёвочке, сунула в руку Феде леденцового петушка на палочке. Подошедший железнодорожник погладил мальчика по голове. Кое – как успокоившийся Федя сумел сказать, что заблудился, что маму зовут Рая, а живут они в большом красивом доме. А вот попытка рассказать, где же находится этот большой красивый дом, кончилась новыми слезами.

Село не маленькое, поди – узнай, где живёт заблудившийся мальчишка. Это надо всё бросить и ходить с ним, искать нужную улицу, дом, может быть, дотемна.

О-хо-хо! Все заняты, у всех своих не сделанных дел по горло. Покачали головами. Посочувствовали и разошлись по своим делам.

Так и получилось, что Федя остался ждать конца смены железнодорожника, чтобы вместе с ним идти искать свой дом.

Иван Семёнович, так звали человека с красным и жёлтым флажками, растерянно оглядывался по сторонам, пытаясь придумать что-нибудь в утешение Фёдору.

И тут он тоже увидел маленькую фигурку с непомерной пилоткой, задержавшейся на ушах.

– О! Борисыч! – обрадовался Иван Семёнович, – иди-ка скорее сюда! Погляди, не знаешь ты вот этого человека? Кстати, как тебя зовут? – повернулся он к страдальцу.

– Федя.

– Федюня?! – вспомнил своего весёлого друга – армейского повара – Борисыч, – Федюня тебя зовут?

– Можно и Федюня, – кивнул головой Фёдор.

– А я – Борисыч!

– Борис? – переспросил Федюня.

– Не. Вообще-то, я – Санька, а все меня зовут Борисычем. Ну да ты потом поймёшь. Пошли искать твой дом.

– Ага! Идите, идите, помогите ему, Борисыч! – обрадовался неожиданному решению вопроса Иван Семёнович, внимательно оглядев обоих мальчишек.

Федюня был белобрысый и чуть повыше, но казался младшим, а крепкий смуглый Борисыч выглядел постарше из-за своей природной уверенности и самостоятельности, хотя, на самом деле, мальчишки были одногодками.

Вскоре они сидели, болтая ногами, на лавочке около дома Федюни, по очереди облизывали красного петушка на палочке, вспоминали, какой интересный поезд они сегодня видели.

Борисыч пообещал рассказать про армию, показать стреляные гильзы.

Ему так понравился Федюня, что он даже дал ему примерить заветную пилотку.

Федюня же взамен подарил Борисычу маленькую крепкую отвёртку.

Много ли нужно мальчишкам в таком возрасте, чтобы подружиться?

Через неделю они вместе бегали на речку, строили шалаши, ходили встречать паровозы. Успевали и коровник проведать, и в лесу грибов – ягод насобирать. Зимой краснощекие, до полной одури носились на лыжах, по очереди катались по льду реки на Федюниных коньках, лихо съезжали с заснеженных пригорков на самодельных санках Борисыча. Весной охотились за перелесками и подснежниками, замеряли глубину луж резиновыми сапожками, доверху набирая через короткие раструбы голенищ студёной талой воды, а потом грелись, то обсыхая на кухне в доме Борисыча, то дома у Федюни. Пили обжигающий чай с чабрецом и мятой, ели вместе то, что подавали им матери, и сытые, усталые, засыпали или на овчинных шкурах, брошенных на пол, или на широкой лавке у белёной русской печи.



Так незаметно минул год весёлой и беззаботной жизни, а когда пришло первое сентября, Федюня и Борисыч пошли в школу.

Глава 3

Колокольчик серебристый

Когда Федюня и Борисыч проучились до четвёртого класса, их записали в школьную художественную самодеятельность.

Небольшого росточка, крепкий, чернявый Борисыч хорошо танцевал вприсядку, и у него неплохо получались трюки, когда он танцевал матросский танец «Яблочко». Он умел вертеться волчком, присев на одну ногу и достаточно высоко выпрыгивал, за что не один раз срывал аплодисменты на школьных концертах.

Долговязый белобрысый Федюня оказался неплохим певцом. Слабеньким, но достаточно чистым голосом он пел и про «Три танкиста, три весёлых друга», и про «Едут, едут по Берлину наши казаки», и про «Бутылку горькую поставил на серый камень гробовой...».

Борисыч подходил к выступлениям, как к любому делу. Основательно, не торопясь, хорошо подготовившись. Был спокоен, уверен в себе и накануне концертов и во время выступления.

Федюня переживал, нервничал. Плохо спал в ночь перед выступлениями и очень волновался, выходя на маленькую школьную сцену к зрителям. Он старательно повторял слова песен, чтобы не перепутать их, но от волнения путал. Правда, благодарные зрители великодушно не замечали небольших промахов Федюни, и всё обходилось хорошо.

Страна готовилась отмечать двадцатипятилетие Победы в Великой войне и повсюду шла активная подготовка к празднованию.

Военрук школы, в которой учились Федюня и Борисыч, развил бурную деятельность. Ему пришла в голову хорошая идея дать возможность школьникам села выступить перед ветеранами и участниками войны на городской сцене. Он выпросил у сельсовета на определённые дни автобус «Кубань», и, благодаря своим давним связям, по договоренности возил маленьких артистов в городской Дом офицеров на репетиции к предстоящему концерту в честь большого торжества.

Дети были восхищены парадной строгостью и сдержанной роскошью офицерского клуба. До начала репетиций они могли рассматривать часто сменяемые экспозиции на первом этаже, а там всегда было на что посмотреть!

Стены были украшены яркими агитационными и информационными плакатами, которые сообщали о свежих событиях в мире, поясняли, кто есть истинный империалистический агрессор, рассказывали, как вести себя в случае ядерного удара. Все плакаты прославляли армию родной страны и подчёркивали миролюбие и надёжность её сыновей-воинов.

Вдоль коридорных стен время от времени выставка сменяла выставку. То были выставлены маленькие макеты боевой техники, выполненные руками солдат, причём, если это был танк, то в полной боевой красоте он «крушил» картонные оборонительные укрепления фашистов. Если это была ракетная установка на боевом дежурстве, то ракеты были приведены в готовность и нацелены в голубое небо, раскрашенное дефицитными, специально привезёнными из Ленинграда акварельными красками.

А если это был макетик самолёта, то он был искусно прицеплен к незаметной прозрачной леске, создавая полную иллюзию полёта среди ловко подвешенных ватных облаков.



Начинался городской конкурс любителей аквариумного дела, и весь первый этаж был прекрасно оформлен и уставлен таинственно подсвеченными аквариумами с незнакомым и восхитительным подводным миром экзотических рыбок, улиток, водорослей. Хитроумные приспособления подавали воздух, и серебристые пузырьки добавляли загадочного очарования стеклянным миркам.

А вот выставка коллекций марок показалась детям скучной. И смешной была выставка монет.

В одно из посещений дети увидели выставленные композиции на темы литературных произведений. Причём Федюне и Борисычу особенно понравилась одна из них, на тему: «Сказка о рыбаке и рыбке». Автор из пластилина искусно слепил старика, забрасывающего нитяной невод в море-зеркало. А избушку, «построенную» из специально подобранных прутьев, и берег «моря» «обсадил» засушенными травами в таком масштабе, что эти травы казались деревьями. Особую прелесть композиции придала маленькая лампочка, помещённая внутрь избушки, которая светила таким приятным уютным светом из затянутого промасленной бумагой окошка, что хотелось стать крошечным, немедленно залезть в эту избушку и никуда из неё не выходить.

Парадная лестница, ведущая на второй этаж, к концертному залу, была застелена ковровой дорожкой, притянутой на каждой ступеньке металлическими сияющими прутьями, а перед входом в зал по стенам были развешаны портреты виднейших военачальников в парадном обмундировании со всеми наградами. Федюне и Борисычу почему-то больше всех нравился маршал Малиновский. Может быть из-за «вкусной» фамилии, а может, потому, что он выглядел не так грозно, как другие.

Зал был большой. Созданный изначально как концертный, он открывал свою сцену для зрителей

во время торжеств, праздников и для встречи с различными знаменитостями, такими, как приезжавшая недавно известная певица, или космонавтами, создавшими фурор своим приездом в маленький город.

В обычные дни сцену закрывал опускавшийся сверху экран, и горожане приходили посмотреть любимые фильмы.

Выход из кинозала уводил не к парадной лестнице, а вёл другой дорогой мимо буфета, с аккуратными рядами бутылок пива и лимонада, с горами бутербродов с сыром и колбасой на подносах и конфетами в стеклянных вазах на высоких ножках, во внутренний уютный дворик с фонтаном, скамеечками и узорной кованой решёткой ограды. В ограде открывалась дверь, ведущая на улицу, и там всегда торчала весёлая краснощёкая тётка в белом фартуке, продающая божественные хрустящие горячие жареные пирожки, которые бесподобно готовили в офицерской столовой, расположенной через дорогу. Пирожки стоили недорого и были с начинкой из картошки или повидла, с мясной или гороховой, и так вкусно было есть их прямо на улице, зажав промасленной бумагой!

В общем, для детей, приезжающих из села, где не было особых развлечений, городской Дом офицеров был сияющим Дворцом, полным приятной загадочности, красоты и невероятных невиданных чудес.

Но приезжали всё-таки не глазеть, а репетировать, готовиться к концерту. Поэтому потехе был час, а делу оставляли время.

Дети повторяли свои концертные номера с учительницей пения и руководителем школьной самодеятельности Ириной Олеговной, раз за разом отрабатывая входы и выходы, запоминая, кому за кем и когда вступать, и что представлять зрителям.

Время концерта приближалось, программа выступления была готова. И тут нечистый подсунул Ирине Олеговне детскую песню о парашютистах.



В ней были такие слова: «Колокольчик серебристый, развернись надо мной, мы летим, парашютисты, над страной, над страной». Эта песня очень понравилась Ирине Олеговне, подходила для концерта, соответствовала духу ДОСААФа и десантных войск.

Но эта же песня стала проклятием для Федюни. Совершенно неглупый, понятливый, но очень волнующийся Федюня, с самого начала не подружился со словами «парашютик», «парашютисты».

И песня-то детсадовская, и слова-то нехитрые, но словно бес вселился в его язык, который, хоть убей, выпевал «...мы летим, парасучисты...». Не хотела сдаваться и отказываться от хорошей песенки Ирина Олеговна, чуть не плакала, но ничего не мог с собой поделаться Федюня.

Слова песенки и мелодию он запомнил быстро. Когда вместе с Ириной Олеговной он не пел, а стихами проговаривал слова, у него получалось чётко и правильно «парашютик», «парашютисты». Но стоило начать петь...

Скрепя сердце, жалея сникшего Федюню, Ирина Олеговна «парашютистов» отставила, и Федюня немного повеселел.

Наступил день концерта. Май бушевал в городе белым кипением цветущих каштанов, благоухал запахом сирени, полыхал красными полотнами флагов и поздравительных транспарантов.

По договорённости, детей подвезли к Дому офицеров с таким расчетом, чтобы они успели привести себя в порядок после дороги, встать с букетами в руках на парадной лестнице и вручать цветы ветеранам, когда фронтовики будут подниматься по парадной лестнице в зал. А уже после этого уходили бы за сцену готовиться к выступлению.

Федюня и Борисыч помогли Ирине Олеговне отнести за сцену её аккордеон, вышли и чинно встали

на «свои» места на лестнице, откуда отлично был виден любимый маршал Малиновский и даже макушка Рокоссовского.

Недолго ждали. В распахнутые настежь входные двери начали заходить ветераны, только что отшагавшие праздничный парад по центральной площади города.

Стоявшие по обе стороны дверей молодые офицеры в парадной форме, белых перчатках, вытянулись по стойке «смирно», и каждого входящего приветствовали, отдавая честь, чётко прикладывая руку к головному убору.

Нарядные, праздничные мужчины и женщины и в штатской одежде, и в военной форме, ослепляя блеском наград, весело переговариваясь, начали подниматься по лестнице вверх.

Борисыч, улучил момент и подал свой букетик немолодому генералу, на мундире которого не было свободного места, не занятого наградой, и генерал козырнул мальчишке, принимая цветы.

А Федюня, открыв рот, загляделся на прекрасную женщину, на костюмчике которой теснились медали и два ордена «Красной Звезды». Женщина увидела восторженное изумление мальчишки и прикрыла Федюне рот ласково изящной ладошкой, снизу подняв его подбородок.

Оба посмотрели в глаза друг другу и одновременно рассмеялись. Федюня протянул женщине букет, а она чмокнула его в щёку, окутав волной запаха духов и тоненько прозвенев серебристым звонком медалей.

Когда зал наполнился, Ирина Олеговна повела знакомым обходным путём детей за сцену. Еще несколько минут, и концерт начался.

В нём принимали участие многие взрослые артисты из районов, из городской и армейской самодеятельности, поэтому в программе концерта



детские номера были поставлены сразу после поздравительного вступления.

Что-то звонко кричали в зал чтецы, приятным баритоном обращался к залу ведущий концерта. Артисты за сценой подтягивали, приглаживали, расправляли костюмы, становились в очередь к выходу на сцену.

Борисыч расправил ленты бескозырки, подтянул широкий кожаный пояс, поглядел на Федюню и ахнул. Федюня стоял бледный, и его колотила мелкая дрожь.

– Федька, что с тобой? – прошипел тревожно Борисыч.

– Т-т-т-т..., – попытался что-то ответить Федюня.

– Федька, опомнись! Обычный концерт! Чо ты?

Но Федей уже занялась Ирина Олеговна, догадавшаяся, что мальчишку испугала ответственность перед такой почтенной и почётной публикой. Да-а-а, это не сельские жители в школьном зрительном зале...

Борисыч уже отплясывал в лихом матросском танце на сцене, когда Федюня начал успокаиваться и старался взять себя в руки.

Ирина Олеговна отыграла танцорам и, когда они под гром аплодисментов и крики «Браво!» начали уходить за кулисы, объявила Федюню, «который споёт сейчас несколько песен военного времени».

Перенервничавший Федюня механически зашагал на сцену. Свет ramпы ослепил его, и он не увидел зрителей в полутёмном пространстве перед собой. Только по шарканию ног и вежливому покашливанию он чувствовал, как полон зал.

Ирина Олеговна заиграла, кивнула Федюне головой, и он запел.

Начал петь про смуглянку молдаванку, что по тропинке в лес ушла, и весь зал запел вместе с ним. Они спели вместе, и зал и Федюня, и про трёх ве-

сѣлых друзей танкистов, и как ехали по Берлину наши казаки, и про солдата, что просил извинения у жены своей Прасковьи. Зал аплодировал без усталости, и Федюню не хотели отпускать, а его небольшой репертуар, закончился.

Зал требовал продолжения, и Федюня с ужасом понял, что выхода у него нет. Переступив с ноги на ногу, он поклялся себе, что слова произнесёт правильно и ничего не напутает. Они переглянулись с Ириной Олеговной, кивнули головой друг другу, и Федюня звонко запел:

– Колокольчик серебристый, развернись надо мной, мы летим, парасучисты, над страной, над страной...

Притихший зал прислушивался к словам незнакомой песенки, и все хорошо услышали смешное непонятное «парасучисты». А когда зал понял, что Федюня хотел спеть «парашютисты», раздался такой гомерический хохот, что показалось, стены рухнут от его раскатов.

Смех заглушил и аккордеон Ирины Олеговны, и слабенький голос растерявшегося Федюни.

Ветераны хохотали, валились друг на друга, утирали слёзы кулаками, вскрикивали: «Парасучик!» и хохотали снова и снова.

Борисыч, высунувшийся из-за занавеса, прошипел:

– Федька, зараза! «Катюшу» пой! Убью!

Заиграла опомнившаяся Ирина Олеговна, и Федя торопливо, сбивчиво запел «Катюшу». Потихонечку пришёл в себя зал, ровно допел Федюня. С полыхающими от досады на самого себя щеками, поклонившись, вместе с Ириной Олеговной, они уж было отправились за кулисы, но зал взорвался такой овацией, таким громом аплодисментов, что им пришлось остановиться и принимать цветы, и раскланиваться так долго, что переодетый в косово-



ротку для русской «Барыни» артист из армейской самодеятельности, покрутил головой и посетовал:

– Как же теперь выступать после такого успеха?

После концерта дети ещё ходили по городскому парку, покатались на аттракционах, поели эскимо.

В село возвращались сонные, притихшие от усталости.

Ирина Олеговна сначала подсадовала, потом посмеялась, потом успокоилась и похвалила всех маленьких артистов.

Но только одного Федюньку, высаживая около дома, она притянула к себе, чмокнула в нос и сказала:

– Иди, отдыхай. Ты молодец, «парасучик»!

Рано заснувшему Федюне снились печальная макушка Рокоссовского, букеты цветов, летящие на сцену и ласковая женщина с медалями и орденами.

А ветераны, тем же вечером расходящиеся по домам после отличного концерта и хорошего праздничного угощения в офицерской столовой, напевали запомнившиеся слова на весёлый мотивчик : «...мы летим, парасучисты, над страной, над страной...» и смеялись.

Глава 4

Мена

Борисыч, великий запасливый хозяйственник, с раннего детства прекрасно освоил технику мены. У него имелись ценности, признанные всеми и постоянные, как валюта. К нему обращались за советом, помощью и оценкой равнозначности мены, и с удовольствием менялись с ним самим.

Борисыч и Федюня учились в пятом классе, когда на перемене после третьего урока к ним подошёл Лёха по прозвищу «Самовар» из седьмого «Б».

«Самовар» и ещё девять ребятишек жили в соседнем селе и добирались в школу за два километра каждый день пешком.

– Борисыч! Есть у тебя жгут?– спросил «Самовар» о наличии жутчайшего на ту пору дефицита – медицинского резинового жгута, признанного высшей валютой детского мира. Дефицит был бешеным по очень простой причине. Понятное дело, что ни «Самовар», ни остальные сельские пацаны не собирались использовать жгут в медицинских целях. Он нужен был как резина для рогаток. В городе можно было купить жгут в аптеках, но, во – первых, для этого надо было ехать в город, во – вторых, он стоил хоть и небольших, но денег, которых у пацанов не было, и, в третьих, он и в аптеках тоже был в дефиците.

Пацанячьи «конструкторские бюро» перепробовали всё! Были разные попытки поставить на рогатки полоски, вырезанные из автомобильных камер, длинные круглые тонкие трубочки ниппельной резины, и то, что и вспоминать неловко.

Нет. Всё не то. Самым подходящим материалом для рогаток, непревзойдённым и качественным, оставался медицинский резиновый жгут.

А так как всем было известно, что Борисыч имел неслыханную ценность – привезённый отцом из Москвы целый рулон широкой мягкой медицинской резины, то к нему время от времени обращались желающие сменяться, и Борисыч мог диктовать любые условия обмена.

Понимая разницу в возрасте между ним, «пятак», и семиклассником «Самоваром», Борисыч достаточно уважительно ответил вопросом:

– Есть. А что дашь на мену?

И «Самовар» рассказал о том, что у него дома есть самый настоящий артиллерийский снаряд.

Нет, вот так – СНАРЯД! Высотой от пола, как показал рукой Лёха, по пояс самого Борисыча.



Ёлки – палки! Конечно, меняться было нужно. Но, прежде было необходимо осмотреть товар. Сговорились встретиться в воскресенье у Лёхи.

Но до воскресенья ещё два дня, и Федюня с Борисычем всё свободное время обсуждали выгоду сделки и возможность применения такого прекрасного предмета, как «Самоваров» снаряд.

Умный Федюня сразу же предложил подложить «бомбу» под родную любимую школу и устроить этим самым долгие каникулы.

– Представляешь, как эта дура рванёт? Заглядение!– сияя глазами расписывал он Борисычу светлое завтра. – Пока новую школу построят, десять лет пройдёт. На рыбалочку ходить будем когда захочется, и уроков делать не надо!– мечтал Федюня.

– Можно подумать, ты их делаешь! – съязвил здравомыслящий Борисыч. – А если от взрыва полсела взлетит? Бабушка моя, – баба Маша, войну видела, и фашистов, и взрывы от снарядов. А когда фрицев прогнали, она в городе работала на снарядной фабрике. Она мне рассказывала, что это за ужас такой! Это ты не знаешь, а говоришь! А деда мой на войне артиллеристом был, из пушки стрелял. Тоже много чо о снарядах порассказал. Не, кто ж разрешит «Самовару» «годный» снаряд дома держать? Он скорее стреляный, а все равно, меняться надо. Представляешь? Свой снаряд! Будем в войнушку играть.

Тоже хорошая перспектива. И хотя Федюня с трудом представлял себе, как можно со снарядом играть «в войнушку», он признал, что Борисыч прав.

В субботу друзья сидели у Борисыча и прикидывали, что брать с собой.

– Много-то я ему не дам, – рассуждал Борисыч, растягивая полоску жгута. – Ну, вот столько отрежу, а ещё добавлю спичек.

– Красных? – оторопел от такой расточительности Федюня.

– Не, жирно будет! У меня зелёные есть!

Борисыч покопался в своих запасах, извлёк на свет божий коробок со спичками, и, раскрыв его, показал Федюне спички с серой, окрашенной в зелёный цвет. Среди мальчишек неизвестно почему считалось, что они имеют особые свойства. Хотя в чём именно особенность зелёного или красного цвета, не мог сказать никто, крашенные спички выменивали охотно и ценили высоко.

– Да, «Самовар» будет доволен, – признал Федюня, закрывая коробок и с сожалением возвращая его другу. – Такие спички любой бы выменял себе. Они что – под дождём горят?

– Ага, сейчас я тебе буду просто так их жечь, чтобы посмотреть, горят или нет.

Федюня устыдился своей наивности и про спички больше не спрашивал.

– Ну, и ещё вот, – Борисыч заранее вздохнул, как бы заранее прощаясь с маленьким компасом. – Если Лёха не захочет меняться, добавлю... Но в крайнем случае!

Ситуация складывалась благоприятно. Мама Федюни разрешала ему уходить хоть на край света, если только он уходил с Борисычем. Родители Борисыча в воскресенье собирались взять всех троих дочерей и съездить в город, навестить родственников.

А по хозяйству оставались хлопотать та самая бабуля Маша, которая пережила оккупацию и работала на снарядном заводе и дед Митя, который собирался в воскресенье на рыбалочку.

То есть, можно было друзьям действовать свободно.

В воскресенье оба встретились раненько уже на дороге, которая вела в соседнее село. У Борисыча через плечо перевешивалась сумка, в которой аккуратно были уложены «богатства» для меня, спички обычные, если нужно будет развести костерок, заёрнутые в газету большие куски ржаного хлеба, специ-



ально натёртые чесноком и сложенные вместе, прикрывающие собой ломти холодного варёного мяса.

До «Самоварова» села дошли быстро и без приключений. Сам Лёха уже час как торчал на макушке громадной груши, что росла у него во дворе и высматривал, не идут ли к нему обменщики. Он очень беспокоился и переживал, что мена сорвётся, потому что отец пообещал сам к чёртовой матери выбросить «эту железку», если Леха её куда – нибудь до вечера не денет.

Обрадовано соскакивая с ветки на ветку вниз, «Самовар» потащил друзей в сарайчик, стоящий за домом.

Заскрипели петли дверей сарайчика, и засветилась яркая электрическая лампа под потолком. Она осветила столярный верстачок, на который хитрый Лёха поставил вертикально свой драгоценный снаряд, чтобы показать его во всей красе.

Борисыч и Федюня заморожено шагнули вперёд и замерли. Красота – глаз не оторвать!

Правильное название того, что они увидели, такое: макет-копия артвыстрела 85 мм, с настоящей сияющей в лучах электрической лампочки латунной гильзой, пустой, естественно, и с пробитым капсюлем, но с искусно выточенным на токарном станке деревянным снарядом, покрашенным серебрянкой. Имитация полная!

Лёха деловито прервал идиллию и поторопил произвести расчёт. Драгоценности и компас в их числе без возражений переехали к Лёхе, который поторопился выставить новых владельцев снаряда на улицу и побежал по своим делам, сверяя дорогу по компасу. Пьяные от счастья Федюня и Борисыч сначала не могли договориться, кто понесёт снаряд первым. Решили нести по справедливости – пятьсот шагов сделал – отдай товарищу. И пошагали.

Макет макетом, а тяжёлое толстое донышко и латунные бока снаряда очень быстро дали почувствовать свой немалый вес плечам и рукам пацанов уже после первого километра пути.

Они не расстались бы со своей драгоценностью, даже если бы пришли в село наутро. С выражением неимоверной гордости на перепачканных лицах малолетние шкеты тащили на себе по очереди здоровенную железяку и были счастливы. Правда, уже не каждые пятьсот шагов, а намного чаще раздавалось металлическое этакое «Бздынннь», когда усталые носильщики останавливались передохнуть и опускали свою ношу на дорогу.

– Поедим? – робко спросил Федюня у Борисыча, когда до села оставалось меньше половины пути.

– И передохнём, – охотно согласился Борисыч, – Ох я и уморился!

«Бздынннь», раздалось на дороге, и друзья, по-братски поделившись, начали уплетать хлеб с чесночным запахом и ломтями холодного варёного мяса.

Федюня, большой любитель и энтузиаст костерков разного вида и рода, тут же запалил маленький огонёк, «чтобы дымком пахло и хлебушек поджарить».

В это время на дороге затарахтел трактор. Это в родное село тракторист дядя Серёжа вёз краденое колхозное сено из соседнего хозяйства.

Издали завидел он мальчишек и сбавил обороты двигателя, но, подъезжая ближе, успел увидеть вертикально стоящий на дороге громадный снаряд и костерок около него.

Федюня с Борисычем замахали радостно руками, жестами показывая просьбу подбросить их и замечательный снаряд до села, в ответ на что дядя Серёжа заикал, прибавил газу, сколько смог, и вмиг



исчез с дороги, дико оглядываясь назад и виртуозно проскакивая глубокие дорожные выбоины.

Федюня с Борисычем переглянулись, пожали плечами. Торопится человек куда-то, а то может и подвёз бы.

Погасили костерок и потянули свою ношу дальше. «Бздынннь», «бздынннь» – вскоре слышалось уже на подходе к селу. И вдруг Борисыча осенило:

– Слышь, Федюня! А ведь дядь Серёга испугался! Он подумал, что у нас снаряд настоящий! И что он сейчас рванёт!

Обоих переполнило настоящее полноценное человеческое счастье, и Борисыч совсем перестал жалеть о том, что в придачу к жгуту и спичкам отдал свой чудесный компас.

Средь бела дня, при всем честном народе по центру села два пацана тащили тяжеленную дуру, время от времени останавливаясь передохнуть.

«Бздынннь», и в сельпо покупатели попрятались под прилавок.

«Бздынннь», и на почте завизжали и тихо осели на местах посетители, заполняющие почтовые бланки.

«Бздынннь», и просто прохожие разбегались в «ауте» с квадратными глазами в разные стороны.

Да, обладание снарядом было настоящим торжеством и великим блаженством!

Замызганный, безгранично счастливый, Борисыч притащил наконец снаряд к своему дому. Федюня убежал отмываться, а Борисыч приоткрыл калитку и затащил железяку во двор. Наконец-то дома! Во дворе стоит летняя кухня, в которой бабуля Маша на керогазе жарит рыбешку, которую только что дед Митя притащил с рыбалки. Дверь открыта, бабуле жарко....

И Борисыч, желая похвастаться своим приобретением настоящему знатоку снарядов, своё новое

приобретение перед бабулей, прямо перед открытой дверью, на землю – «БЗДЭЭНННЬБЬЬ!!!!»

Бабуля в ужасе резко захлопнула двери в кухню и закричала на всё село: – Господитыбожемой!!! Мииттяяя!!, Мииттяяя!! – в полной истерике вызывая деда.

Неторопливо вышел во двор дед посмотреть, что за оживление такое. Борисыч гордо – обиженно протянул: – Нуу чооо она! Он же не настоящий....

Дед, припомнив боевое прошлое артиллериста – наводчика с вялым интересом рассмотрел «экспонат», и вдруг, оживившись, поглядев быстро по сторонам, через закрытую дверь прокричал бабушке: «Мария, ты это... Ты не выходи, пока я не скажу... Он БОЕВОЙ!».

Бабуля с нотками сирены, оповещающей о воздушной тревоге, в голосе и со слезами попросила из – за надёжного укрытия двери летней кухни: – Мииттяяя, побыстрее убери ты его, Христа ради, подааальше!

Борисыч растерянно глядел на деда, силясь понять, что происходит. Как дед мог принять пустую железяку за боевой снаряд? Он наблюдал, как дед молниеносно, быстрее любого молодого забежал в дом, в прихожей открыл антресоли, покопавшись, достал оттуда «пузырь» самогонки, неспеша закрыл антресоли, открыл свой рыбацкий портфель, спрятал в него бутылку и закрыл портфель. Потом степенно вышел во двор, озорно подмигнул, прошептал Борисычу:

– Завтра подберёшь и незаметно для бабушки перепрячешь, понял?

После чего взял в руки снаряд, закинул его в заросли за сараем, и прокричал:

– Машенька, выходи, всё в порядке. Я убрал его на фиг!



Борисыч поторопился скрыться от бабушки в доме.

Ближе к вечеру страсти по снаряду разгорелись с новой силой. Борисыч сидел на кухне над миской горячих вареников, окунал их в сметану, отправлял в рот, жевал и вполуха слушал отца и мать, которые рассказывали о городских родственниках. Во дворе слышался шум двигателя мотоцикла, – кто-то подъехал к дому Борисыча. Через минуту, после вежливого постукивания, в двери вошли сельский участковый, мама Федюни и сам Федюня. Пожелав приятного аппетита, извинившись за вторжение, участковый коротко и толково объяснил причину своего позднего визита.

Борисыч закашлялся, подавившись вареником и, покосившись на красное распухшее ухо Федюни, которое было раза в полтора больше другого, понял, что благополучного окончания у меня не будет.

Он вздохнул, вылез из-за стола, подошёл и встал рядом с Федюней, в то время, как его родители усаживали поудобнее участкового и Федюнину маму.

– Ну что, архаровцы, давайте сдавать боекомплект! – пригласил к добровольной сдаче снаряда участковый. – Где он у вас?

Борисыч и Федюня молчали, как партизаны на допросе.

– Вы половину села перепугали своими штучками. А ведь среди людей есть те, у кого больное сердце. Представьте, если бы кто-то от вашего снаряда с перепугу помер бы? Тогда как?

На жалость и на совесть одиннадцатилетних пацанов взять было трудно. Во всякие допущения они не играли. Ну не помер же никто! Ну и чего дальше?

Тогда участковый, перемигнувшись незаметно с родителями, подошёл к проблеме с другого края.

– Ну, орлы, если вы сами не хотите отдавать снаряд, то.... вы можете идти по своим делам, потому

что ещё маленькие. А протокол составлю я на ваших родителей и заберу их с собой в тюрьму. Вот так!

Мальчишки переглянулись между собой растерянно. Такого поворота они не ожидали. И, похоже, дело пошло на полный серьёз, если участковый открыл планшет, достал из него какие-то бумаги и начал в них что-то записывать.

Подталкивая друг друга локтями, они пошептались, и Борисыч, мужественно сдерживая слёзы, проговорил:

– Подождите, не трогайте родителей. Мы сейчас снаряд принесём.

Участковый внимательно посмотрел на мальчишек и кивнул головой:

– Ну что же, несите сразу ко мне. Во дворе у вас стоит мотоцикл с коляской, вот в коляску и кладите.

Покопавшись в зарослях при свете фонариков, обжегшись об крапиву, оцарапавшись о колючки, два скорбящих друга медленно вынесли на руках драгоценный снаряд и траурно переправили его во двор.

«Бздынннь» – реквиемом раздалось около коляски мотоцикла участкового, и прощание молодых хозяев с безвременно ушедшим макетом боекомплекта завершилось.

Участковый вышел во двор в сопровождении родителей пацанов, что-то договаривая на ходу, пожимая руки мужчинам.

Посмотрел на участников панихиды, оценил мокрые дорожки на щеках.

– Значит так, – обратился он к мальчишкам. Я ещё раньше поговорил с гражданином Алексеем Гороховым по прозвищу «Самовар», и сейчас поговорил с вашими родителями. Я знаю, что Борисыч потерял на обмене свои богатства и сейчас было бы нечестно увезти от вас снаряд просто так. Правда?

Притихшие мальчишки согласно кивнули и слушали внимательно.



Участковый продолжал:

– А я у вас этот снаряд не просто изыму, а... обменяю.

Борисыч недоверчиво исподлобья посмотрел на участкового:

– А на что же вы?...

– Я вас прокачу по всему селу на мотоцикле, и....за околицей дам каждому по одному разу выстрелить из моей ракетницы! Одному красной ракетой, другому – зелёной. Лады?

Мальчишки не могли верить своей удаче. Прокатиться по селу с ветерком! Пальнуть из самой настоящей ракетницы, как взрослые солдаты! Да это же рассказов потом будет на целый месяц, и пацаны обзавидуются!

Тем более, от снаряда, похоже, одни неприятности....

Да ладно, ну его!

А участковый тем временем уже уселся за руль мотоцикла, завёл мотор и приглашающе показал – усаживайтесь, поехали!

Успокоившиеся и утешенные Федюня и Борисыч торопливо заняли места, ухватились покрепче, и, наслаждаясь ветерком в лицо и скоростью, лихо покатали по селу на мотоцикле, поднимающем своим стрекотом собачий лай.

А через некоторое время смеющиеся родители подняли головы и полюбовались ракетами, осветившими ночное небо и рассыпавшимися в нём красивыми красными и зелёными искрами.

Глава 5 Военная хитрость

Военно-спортивная игра «Зарница» проводилась на всём пространстве большой сильной страны. Мальчишки учились выполнять военные зада-

чи, укрепляли боевой дух, готовились идти в армию и незаметно для себя выросли.

Военрук сельской школы сам разработал и придумал все этапы проведения игры со своими старшеклассниками. Уже на «отлично» были проведены эстафеты, смотр строя и песни, сборка и разборка автомата, и даны правильные ответы на задачи по типу: «вспышка слева» и «при восточном направлении ветра на вас движется облако хлорпикрина». Оставался решающий, заключительный этап под названием «Оборона знамени», который военрук решил провести на громадной лесной поляне неподалёку от села.

Суть этого этапа нехитрая.

Девчонки от «санинструктора» – школьного врача, получают задания по доставке «с поля боя раненых», оказания первой помощи «бойцам», и демонстрируют свои навыки по технике перевязки и искусственного дыхания. Понятное дело, что девочки остаются в палатках, поставленных на краю громадной поляны у опушки леса, и ждут «боевой фазы» игры.

А «боевая фаза» заключается в том, что на самой поляне, группой обороны будет возведена лёгкая крепость со знаменем внутри. Группа атакующих будет пытаться это знамя захватить.

Вот и всё. Казалось бы, какая простота! Скорость, неожиданность, Суворовский натиск. Ура! Чудо – богатыри, вперёд! И крепость пала перед превосходящими силами противника!

Ан, нет! Недаром довольно посмеивался и потирал руки опытный, бывалый военрук.

Хороший офицер и отличный педагог хотел, чтобы дети проявили не только силу и ловкость, но ещё и догадливость и находчивость. Чтобы они поняли вкус и прелесть огромной важной силы – солдатской смекалки.



Поэтому в последний этап были введены условия, которые связывали атакующих по рукам и ногам.

Военрук видел, что силы крепких сельских пятнадцатилетних мальчишек примерно равны. Даже маленькая свалка могла разгореться и перерасти в большую драку с непредсказуемыми последствиями.

Поэтому ни в коем случае не допускалась рукопашная схватка.

Команде, представитель которой начал бы бороться или, не дай Господь, ударил бы противника, тут же засчитывалось полное поражение и проигрыш во всей игре.

Глядя на вытянувшиеся лица ребят, военрук объявлял, что по правилам, тот, у кого сорвали повязку, считается убитым. Но попробуй, сорви повязку без борьбы у противника, равного по силе, бок о бок с которыми в одинаковых условиях накачивал мускулы в работе и отдыхе всю свою жизнь.

По всем достижениям и результатам прошедших конкурсов с наилучшими показателями в командиры выходили Федюня и Борисыч, но и они, несмотря на свою силу и ловкость, не сумели бы помешать потасовке.

Поэтому выходило так, что группе обороны можно было и всего-то навсего: построить лёгкую крепость из старых плетней, водрузить в ней выше своё знамя и поставить часовых прохаживаться вокруг крепости, пока не пройдёт контрольное время с девяти часов утра до двенадцати дня. Уцелеет знамя – победила группа обороны.

Даже если атакующие подкрадутся незаметно и нападут на крепость внезапно, часовым достаточно будет взяться за руки и кольцом оцепить крепость, чтобы она стала неприступной.

Пока Борисыч соображал и, посапывая, обдумывал не торопясь общую задачу «боевой фазы»,

Федюня потянул жребий и попал в командиры отряда обороны.

– Ха! Считаю победа у нас в кармане! – хвастливо произнёс он, высокомерно поглядывая на будущих противников.

– Я сейчас наберу «непобедимый гарнизон неприступной крепости», и дальше можно не играть. Борисыч! Ты сдаёшься?

– Подожди, подожди, – качая головой и посмеиваясь, остановил хвастунишку военрук. – Ты хороший боец, но у тебя должен быть и равный по силам противник. Если ты сейчас заберёшь к себе самых сильных бойцов, то игру и правда можно не продолжать, победа действительно будет у тебя в кармане. Верно? – обратился он ко всем ребятам.

– Конечно, верно!

– Федька хитрый и ленивый, не хочет сражаться!

– Выбрал себе, что полегче!, – зашумели ребята со всех сторон.

– А как же дух соревнования и воля к победе? Мы сделаем вот что! – прищурился военрук, – Сначала пускай командиры наберут себе отряды вот так, – по очереди выберут себе по одному человеку до тех пор, пока команды не будут сформированы. Начинай, Федюня!

Попритихший Федюня пригласил к себе первого бойца, за ним то же самое сделал для себя Борисыч.

Когда группы были набраны, командиры повернулись к военруку в ожидании указаний. Он правильно понял ребят и усмехнулся.

– А больше я вам ничего не скажу. Задачу вы знаете. У вас есть свои командиры, вы теперь – отряды, думайте, решайте, планируйте ваши военные действия! Мне осталось только кинуть жребий, у кого какого цвета будут повязки и знамя.

– Красного, советского, конечно! – опять выскокил первым Федюня.



– А почему это у тебя красного? Мы тоже советские не хуже! – насупилась противоположная сторона.

– Тише, тише, вояки, – опять посмеялся военрук. – Чтобы никому не было обидно, цвета знамён и повязок у одних будут синие, а других – оранжевые. Давайте кидать жребий!

Такой подход к определению цветов устроил всех. Оранжевые достались Федюниной группе оборона, а синие взяла себе группа атаки под командой Борисыча.

Командиры получили планшеты с расписанием завтрашнего дня, устроили короткие советы со своими отрядами, определили, кому что подготовить и за что отвечать, и разошлись по домам.

Федюня пришёл домой в прекрасном настроении. Как раз пообедать заскочила домой мама.

Сели за стол. Хлебная щи из кислой капусты, приюхиваясь к чарующему запаху подрумянивающихся на сковороде котлет, Федюня рассказал маме о совещании и своей «военной» задаче.

– И что же ты собираешься делать? – поинтересовалась мама.

Федюня вздохнул и рассказал о том, как они с ребятами решили обустроить крепость, как укрепить знамя, что взять с собой, чтобы комфортно организовать дежурство часовых.

Мама одобрила Федюнины планы и спросила, не нужна ли ему какая –нибудь помощь.

Федюня подумал и выпросил лежащие в сарае старые полотна красной материи, оставшиеся от недавно прошедших выборов.

– Мам, ты понимаешь, мы же солдаты! Мы же советские! А у нас знамя оранжевое, а не красное. Так по правилам. Но у нас крепость получается некрасивая – голый плетень вокруг знамени. А мне

хочется крепость красненьким украсить, да ещё лозунги всякие написать. Ну, там... «Врагу не сдаёмся», «Наше дело правое» и такое всякое. Можно?

– Можно, – посмеялась мама. – Бери, командир, материю, украшай свою крепость. А надписи можешь сделать известью, которой деревья подбеливали. Там ещё осталось.

– Ур-р-р-р-а-а-а-а! – выбежав из-за стола, сделал стойку на голове Федюня.

– Федя! С ума сошёл! После еды нельзя – вверх ногами! – остановила его мама. Глянула в окно на подъехавший, посигналивший ей «Газик».

– Помоешь посуду, приберёшь, подметёшь, и можешь заниматься своей крепостью.

Мама чмокнула Федюньку, как маленького, в макушку, махнула рукой и поехала по своим делам.

В это время Борисычу было не до веселья. Пока легкомысленный торжествующий Федюня уписывал горячие котлеты, мыл посуду, наводил порядок и раскладывал полотна материи, чтобы писать лозунги на транспарантах, Борисыч обдумывал, как же ему за такое короткое время выполнить труднейшую задачу.

Начал размышлять он с того, что военрук невыполнимую задачу не поставил бы никогда. Значит, какое-то решение было. Какое?

В борьбу вступать нельзя, тогда что? Сделать подкоп? В принципе, можно. Но поляна такая огромная, что от опушки леса подкопаться под крепость можно было от сегодняшнего майского дня как раз где – то к Новому году. Не пойдёт.

Накинуть на знамя аркан и выдернуть его из крепости без боя? Никто не умеет ловко кидать верёвочную петлю, всё же не американские индейцы. Не пойдёт.

Сорвать знамя, пролетая на «тарзанке»? Но самая ближайшая подходящая ветка дерева, которая



протянулась по направлению к крепости, находилась не меньше чем в ста метрах от неё.

Не пойдёт, не пойдёт, не пойдёт.

Борисыч перебирал один вариант за другим. Воздушный шар? Не пойдёт.

По телевизору показывали старый популярный фильм, и Борисыч машинально подпевал героям: – Броня крепка и танки наши быстры, и наши люди мужества полны....

Одного мужества недостаточно. Ха! Танк добыть бы где – нибудь!

Выпросить трактор на пару часов? И на тракторе подъехать, как на танке, к крепости? Ну и что? Ну, подъехали, ну десантировались. Не пойдёт.

Подбежать с оранжевыми повязками на рукавах, смешаться с противником, и в суматохе схватить знамя? Всё равно начнётся драка. Не пойдёт.

Борисыч прошёлся по комнате. Двенадцатилетняя сестрёнка Катюшка возилась с сестрёнками – близняшками и стратегического совета от неё можно было не ждать.

А что если?..... Нет, не получится.... А быть может?..... Не – а, не может...

Борисыч подумал, что нужно бы посоветоваться с Федюней, но тут же припомнил, что они противники, в разных командах, и, конечно, Федюня своих секретов выдавать не станет. А каких секретов? Ведь у Федюни секретов нет. Ему только крепость построить и, – считай победил.

Борисыч вконец расстроился и решил к Федюне сходить. Хоть посмотреть, чем он занят, как готовится к утренней борьбе.

– Катюшка! Мама придёт, пойдёшь коровку встретишь, поняла? А я к Федьке сгоняю.

Катюшка кивнула головой, и Борисыч, убедившись, что дома будет полный порядок, поплёлся к другу.

У Федюни был полный разгар работы. На свисающих с маленького столика красных полотнах ткани белели кривые буквы призывов и лозунгов:

«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей земли не отдадим!», «Велика Россия, а отступать некуда!».

Другие читать Борисыч не стал – завтра будет ещё время. Угрюмо спросил у друга:

– Готовишься?

– Ага, – охотно ответил весёлый Федюня, улыбаясь и размазывая по щекам белые известковые полосы.

– Во, завтра крепость свою разукрашу! Будет прелесть! А ты чего, думаешь, как нас победить? Ну, думай, думай. А только ничего у тебя не выйдет! Враг-у-у-у не сда-а-ё-ё-ётся наш гордый «Варяг»... ..А вот это я завтра на своих ребят надену.

И Федюня показал наготовленные красные полосы, с белой гордой надписью «КФК».

– Чего это? – недоумённо спросил Борисыч?

– А вот! Чтобы своих с твоими не перепутать, и чтобы твои не могли под нас маскироваться! – наискосок через плечо, как сваты в деревнях, или красавицы на конкурсе красоты, нацепил на себя ленту Федюня.

– Это я понял. Что это – КФК?

– Крепость Фёдора Кострова! – гордо ответил командир отряда обороны.

– Красиво... – совсем скис Борисыч. – А это куда? – ткнул он пальцем в красные транспаранты?

– Плетень у крепости обмотаю! – отошёл на несколько шагов и издали любовался своей работой гордый художник.

– Ну, мотай, мотай.

Борисыч кивнул головой, расстроено махнул рукой и поплёлся восвояси.

По дороге его обогнал тракторист Степан на своём «Беларусе», и Борисыч подумал опять:



– А хорошо бы танки! Да где ж их взять. Надо всё же найти против крепости какую-нибудь военную хитрость.

Так, в размышлениях, ничего не замечая вокруг, он, подходя к своему дому, чуть не уткнулся в коровку Зорьку, которую загоняла домой Катюшка.

Все дела на сегодня были закончены, и Борисыч мог идти спать.

Уже «утолокшись», он сквозь подступающий сон подумал было, что можно применить химическую атаку и «выкурить» защитников крепости, но когда он начал рассчитывать возможное направление ветра и чего бы такого едкого поджечь, и а-а-а-а-а.....Крепкий сон «подрубил» его на мысли о горящем коровьем навозе и убаюкал до самого утра.

В сладком сне ему виделась красивая Фёдькина крепость, похожая на старинный замок. С развевающимися красными транспарантами, какими-то изумительными красными лентами и защитниками, одетыми в рыцарские латы с красными полотнами через плечо и надписью «КФК». Сам Фёдяня поглядел вниз с высокой крепостной стены на Борисыча и сказал басом угрожающе:

– За нашу Советскую Родину!

И Борисыч во сне маленький и пристыжённый, обнял за шею маленькую коровку Зорьку и пошёл с ней вместе куда-то, горько плача. Но во сне Зорька пожалела Борисыча и сказала ему нежным маминим голосом:

– Хочешь взять крепость без боя? Сделай вот что....

Проснулся Борисыч рано – рано. Свежий, выспавшийся, он вспомнил, какое решение он нашёл во сне, и, приплясывая от нетерпения, начал умываться во дворе, поддавая снизу по выдающему порции воды, гремящему соску железного руко-

мойника, густо вспенивая душистое хвойное мыло в руках и приговаривая:

– Ну, Федька, будет тебе сегодня танковая атака! Броня крепк-а-а-аа и та-а-нки на-аши бы-ы-стры, и на-а-аши лю-ю-ди му-у-у-жества полны-ы-ы!

Он сам отвёл в стадо милую коровушку Зореньку, которая так его пожалела во сне и подсказала, как победить Великолепного Федюню, и побежал по просыпающемуся селу, собирать на большой совет свой отряд, чтобы сообщить ему Великую Военную хитрость.

А Федюня разрешил себе поспать подольше и подошёл на поляну только к восьми часам утра руководить строительством крепости. Впрочем, это было так скучно! Поставить в квадрат плетни до двух метров высотой, связать их между собой так, чтобы каждая сторона квадрата была не больше полутора метров в длину, насыпать в ограду земли и укрепить знамя в центре. Всё.

Отряд обороны выполнил свою задачу быстро, а Федюня долго ещё хлопотал, бегая вокруг «крепости». Он втыкал по её сторонам длинные шесты, обтягивал их красными транспарантами с далеко видными гордыми надписями, и пытался подвязывать какие-то полощущиеся на ветерке длинные тряпочки, чтобы приблизиться хоть сколько-нибудь к образу, ну уж не крепости, так хоть сторожевой башни из рыцарских романов.

Ни на сторожевую башню, ни на крепость Федюнино детище похоже быть упорно не хотело, а издали скорее напоминало силуэт какого-то громадного уroda, одетого во всё красное и приветливо помахивающего всем подряд руками – тряпочками.

Все участники заключительного этапа собрались в условленное время вместе, военрук убедился в общей готовности, засёк контрольное время и дал команду к началу.



Девчонки пошли к своим палаткам, Борисыч увёл отряд атакующих в чащу леса, а Федюня привёл защитников к присяге на верность знамени и торжественно обрядил в красные полосы ткани через плечо.

У защитников крепости забелели крупные буквы «КФК» на груди, девчонки восхищённо заахали и зашептались, поглядывая на командира отряда обороны, а он, прекрасно всё видящий и слышащий, важно вышагивал перед своим гарнизоном красивый и гордый, с театральным бинноклем на груди и помятой алюминиевой солдатской фляжкой на поясе.

Девчонки нарезали тонкие ветки кустов, наплели венков наподобие тех, лавровых, которые возлагали на головы героев в Риме, и покрыли ими головы для украшения и защиты от уже достаточно горячего солнышка.

Федюня подбадривал приунывшие посты часовых, которым не хотелось остолопами торчать около «крепости», и которые с удовольствием бы сейчас пошли бы поболтать и посмеяться с красивенькими девчонками.

Попили водички, походили туда – сюда, посидели... Отряда Борисыча и следа нет. Прошёл час.

– Торчим тут...– затосковал по мирной жизни один из защитников.– Небось они на речке плещутся в своё удовольствие, да над нами – дураками потешаются... Накупаются, позагорают, подойдут к двенадцати, примут проигрыш, да пойдут по домам...

– Цыц! – цыкнул на нытика Федюня. – Где-то тут они, поблизости! У меня нюх на них! Да Борисыча я с детства знаю. Не такой он человек, чтобы без боя сдаться!

– Ну, вообще-то, это да,– признали все и невольно заозирались по сторонам, выглядывая признаки приближения неприятеля.

Федюня оглядел в бинокль кусты окрест.

– А, да вот и они! Хороши, красавцы! Замаскировались! Ползут по-пластунски. А только меня не обманешь. Давайте, давайте, поближе, поближе.

У него, видимо, что-то перемкнуло в голове, потому что он забыл, что он советский командир, и, не отрывая биноклика от глаз, почему-то заговорил ломаным языком немецкого оккупанта:

– Тафай, тафай, партизанен, ком цу мир! Мы тебя путем немношко вешайт, немношко расстреливайт.

Ещё через пять минут он встревожился.

– Так, что – то не то! Я вижу чётко двоих, а где же остальные? И что это за шум такой?

Он и все часовые повернулись в противоположную сторону, посмотреть на источник шума.

Картина, которую они увидели, заставила их замереть, затаить дыхание и облиться холодным потом от макушки до пяток.

На окраину поляны выбежал знаменитый сельский производитель – шестидесятипудовый бык Салат.

Он был подслеповатым и не видел ни защитников «крепости», ни знамени. Он увидел только раздражающий красный силуэт какого-то большого уroda, который стоял в его, Салата, владениях и нагло махал ему руками.

Бык не оценил этой приветливости и, угрожаяще наморщив морду, опустив тяжёлую голову с короткими и острыми, как кинжалы рогами, пару раз ударив тяжёлым копытом о землю, низко и громко, как сирена, укреплённая над сельсоветом, заревел на всю поляну.

Рёв Салата, как ветром сдул сонливость и пробудил такую неожиданную прыть в защитниках крепости, что они добежали до девчачьих палаток на противоположной опушке леса за рекордно короткое время.



Для Салата серия дополнительных раздражающих разбегающихся призраков сделала «урода» фигурой нетерпимой, и бык кинулся на «великана» с тем, чтобы примерно наказать наглеца.

Хлипкая оградка из старого плетня и куски кумача полетели клочьями в разные стороны, а бык бил, поддевал рогами и топтал тяжёлыми копытами лохмотья былого величия. Из земли, насыпанной в центр крепости, одиноко и незащищено торчало сильно покосившееся древко с обвисшим знаменем оранжевого цвета.

Федюня бешено ругался, срывая с себя красную перевязь, тоскливо поглядывал на беззащитное знамя и с трудом удерживался, чтобы не побежать за ним прямо на быка.

Куда там! Характер Салата хорошо знали все сельские жители!

Грозный рёв громадного животного заставил доблестных защитников знамени и «крепости» увести девчонок подальше от греха под защиту леса, и только укрывшийся за деревом, никуда не бегущий военрук видел, как сын пастуха Егорка, солдат из рядов атакующего отряда Борисыча, подбежал к Салату и, подняв прут высоко над головой, завопил: – Пийшов, шоб ти здох!

Бык остановился, попятился и, развернувшись, вдруг... побежал от Егоркиного прута, трусливо задрал хвост и тяжело вскидывая зад, туда, откуда пригнал его Егорка по сговору с хитроумным Борисычем.

Федюня перебрался к краю поляны, осторожно выглянул из-за дерева, увидел оставленное быком поле боя и рванулся, было, к разрушенной крепости, но услышал громовое, перекатывающееся:

– Ур-р-р-а-а-а-а-а! Ур-р-р-а-а-а-а-а!

Обмякнув, он увидел, как на жалкий бугорок земли, оставшийся от «крепости», вскочил, подхва-

тивший чужое оранжевое знамя командир атакующего отряда Борисыч, и горько махнул рукой.

* * *

«Зарница» закончилась. При подведении итогов военрук очень хвалил защитников «крепости» за изобретательность и утешал, признавая, что в такой ситуации вряд ли кто – то сумел бы отстоять знамя. Никакие солдаты: ни американской, ни немецкой армии – перед напором великолепного Салата устоять не смогли бы, признал он. А Борисычу он вручил снятые со своей руки часы «Командирские» и поблагодарил за проявленную солдатскую смекалку, которая позволила «суметь организовать подручными средствами танковую атаку на противника, повергнуть его в паническое бегство и захватить чужое знамя без единого выстрела и без потерь».

Глава 6

«Долларов» самогон

Начался очередной армейский призыв на срочную службу. Почтальоны понесли повестки по всему Советскому Союзу. Пять повесток пришли и в село, в том числе, две из них Федюне и Борисычу. Все засуетились в лихорадочной подготовке проводов юношей в ряды Советской армии.

Матери новоиспечённых призывников всплакнули и начали отбирать вещи и одежду сыновьям в дорогу, готовить «сидорà». Отцы осматривали запасы спиртного, закусок, прикидывали, какой скот будут резать и какую птицу бить к торжественному столу. Родственники припоминали напутственные слова новобранцам и предвкушали обильное застолье.

Семьи будущих солдат совещались, кого из ближних и дальних родственников пригласить на торжество. Сами призывники, сразу поважнев, ста-



рались вести себя, по-взрослому, солидно. Они храбрились и пытались вести себя как крепкие мужчины, защитники Отечества, стараясь этой бравадой скрыть страх перед неизвестностью, о которой бывалые, опытные мужики говорили достаточно много и хорошего и тревожащего, многозначительно – снисходительно похлопывая новобранцев по плечу: «Кто не был, тот будет. Кто был – не забудет!»

Семья Федюни и Борисыча решили проводы устраивать вместе.

Всё-таки парни с детства друзья – «не разлей вода», практически, братья, отправляются выполнять священный долг и почётную обязанность. Кроме того, мама Федюни не рядовой человек, а величина в селе – агроном, а вот родственников у них немного, и проводы «с размахом» не получаются.

Зато у Борисыча не меньше половины села дядьёв, тёток, двоюродных и троюродных братьев, сестёр, и седьмой воды на десятом киселе. Да в соседних двух – трёх сёлах есть кого позвать на такое великое событие, равное которому только свадьба, похороны да рождение ребёнка.

Вот Борисыч с Федюней и выполняли почётное поручение – приглашать родственников к назначенному дню.

Родни набиралось около семидесяти человек. Своё село парни обошли за день. Хотя и наломали ноги, обходя дворы с утра до темноты, но позвали всех, никого не забыли.

Наутро уговорились идти в соседнее село к дяде Борисыча.

Дядя Витя по прозвищу «Доллър» был легендой здешних мест и героем всех правдивых и невероятных историй, которые происходили в этой округе последние тридцать лет. Тридцатисемилетний Любитель крепко выпить, знатный Самогонщик, хороший охотник и рыбак, большой любитель драк и

женщин, он жил одиноко, но на виду у всех, наслаждаясь жизнью во всех её проявлениях.

Родные очень долго совещались, по поводу приглашения «Доллара», но скрепя сердце вынуждены были признать, что «Витя обидится, а это нельзя», и что «без него не проводы».

Так что с наступлением утра Федюня и Борисыч, важные и деловитые, отправились к «Доллару» за три километра в соседнее село.

По дороге любовались окрестностями, старались запоминать их покрепче, чтобы подольше сохранить в душе воспоминания о родных местах. Болтали, предполагали, мечтали.

– Борисыч, скажи, почему такое прозвище у дяди?– спрашивал Федюня своего друга.

– А, это давняя история. Дядя Витя, когда напьётся, кричит, что «не нужен нам берег турецкий», поёт песню «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём», и что американцы за свои «доллары» полмира скупили, а «Россию не купишь! Русские не продаются и Родину не продают!». Так как американцев поблизости нет ни одного, он начинает «за Родину» драться с кем попало. Наутро уже всем известно, где и какая была драка, и спрашивают: «Доллар затеял?». Ещё он гонит такой отличный самогон, что от желающих отбоя нет. Ну вот он ещё выпивши кричит, что ни за какие доллары самогон продавать не станет. Ну так и пошло – Доллар и Доллар. Но в общем, он хороший человек и настоящий мужик!

– И что, самогон у него такой уж особенный?– заинтересовался Федюня материальной стороной вопроса.

– Кто из мужиков пил – хвалят, говорят, чудо, а не самогон!

– А то ты не пробовал?– не унимался Федюня.



– Мне отец башку бы оторвал! Ты ж его знаешь, – даже оглянулся Борисыч, не слышал ли кто такой жуткой крамолы. – Он меня пятьсот раз предупреждал, что «Долларов» самогон пить можно только «крепким закалённым бойцам, а не желторотикам – птенцам».

То есть, конечно, и Федюня и Борисыч попивали до этого втихаря краденое из подвалов у родителей слабенюкое виноградное вино, «не гребовали» крепкими наливочками, и состояние лёгкого опьянения было им уже не в новинку. Но крепчайшие самогоны, которые гнали мужики в сёлах «для сэбэ», были для юношей под большим запретом.

– Борисыч... А давай попросим у Доллара попробовать его самогончика? – предложил Федюня Борисычу перейти запретную черту.

Борисыч сначала даже остановился от негодования.

Но вокруг не было ни души, а сорока, услышавшая жуткое, недопустимо непристойное предложение Федюни, глазами пообещала промолчать.

– А что? – начал защищать свой проект Федюня. – Мы через месяц уже будем опытные бойцы, наравне со взрослыми мужиками Родину защищать, а самогона ещё не пробовали! Узнает кто – ещё на смех подымут!

Борисыч не понял, что смешного или зазорного в том, что юноша не пивал самогона, но слушать стал внимательнее. Коварный Искуситель устами Федюни продолжал:

– А чо? В чужом селе, наших матерей нету. По заднице давать – слишком взрослые.

– Страшновато как-то, – заколебался Борисыч.

– Чо, страшновато? – понесло Федюню. – Мы мужики или нет? То – то без самогона ни один праздник не в праздник! Вспомни, как его наши мужики стаканами хлещут!

У Борисыча перед внутренним взором проплыла картинка, как во время застолья каждый опрокидывает, очень по-своему, стопку самогона. Кто утирается, кто покрякивает. Потом как вкусно начинают эту выпивку закусывать. Намазывают горчицей куски жареного мяса, хрустят огурчиком, редисочкой, «занюхивают» остро пахнущим ржаным хлебом. И от этого кажется самогон таким вкусным, таким привлекательным! И веселеют, «замасливаются» глаза у людей. Теплеют голоса и души. Начинают кто – целоваться, кто – петь, кто – плясать. Веселье приходит к самым хмурым, и вот уже не так тяжела жизнь, расходятся тяжёлые тучи в небесах, и солнышко улыбается всем. И не так страшны несчастья, и ещё радостнее счастливые дни.

И поэтому гнали и гнать будут в сёлах самогон и русские, и нерусские мужики отсюда и до веку. И, глядя со стороны, кажется, что это так здорово: хлопнуть стопочку – другую! И, конечно, великий соблазн! Да и запретный плод, как известно...

Конечно, видел Борисыч и то, что бывает, когда перепивают лишнего, и как мучаются после перепивания на утро. Но ежели только стопочку... Ежели только попробовать... Да и уходя аж на два года в армию...

И они с Федюней уговорились самогончика «на пробу» у «Доллара» попросить.

Когда пришли к дяде Вите во двор, сам хозяин чистил коровник. Был трезв как стекло. В штанах, заправленных в сапоги, с голым торсом и вилами в руках, он сразу остановил работу, радостно встречая племянника с другом.

– Борисыч! Племяш! Вот радость какая! Хорошо, что заглянули, – поможете коровник дочистить! А чего вы нарядные такие?

Юноши обстоятельно обсказали ситуацию по проводам, пригласили дядю Витю, и Борисыч доба-



вил от себя, что отец ждёт брата сегодня, чтобы помогать резать и разделявать кабана для проводов.

Доллър призадумался ненадолго, что-то прикинул в уме.

– Годится! Только вы всё равно переодевайтесь, дочистите коровник, и пойдём вместе к вам. А я пока кое-что тут приготовлю.

Для сельских ребят работа не вопрос. Переоделись, взялись за работу.

Проходящий мимо них то туда, то сюда Доллър помогал им советом, хлопотал, заканчивал какие-то свои дела, понимая, что уходит, может быть, на несколько суток. Сходил к соседям, договорился, что они присмотрят за скотиной, приготовил гладить нарядную одежду, несколько раз спускался в погреб.

Когда проходил мимо юношей с бутылью самогона в руках, Федюня с Борисычем переглянулись и забросили первую удочку.

– Дядь Вить! Это ж самый твой знаменитый самогон и есть?

– Ага, – не догадался, откуда ветер дует, толстокожий дядя Витя.

– Уж так хвалят его наши мужики, так хвалят, – полил медку на душу отечественному производителю льстивый Федюня.

– Ха! Ещё бы не хвалили! Ко мне со всего района руководители втихаря своих водителей посылают! Я ж продукцию по особому рецепту гоню, – простодушно сунул голову в ловушку растаявший Доллър. – Я его фильтрую, очищаю, ещё раз перегоняю, а потом настаиваю на всяких душистых травках, орешках и ещё всяко. Он у меня горит, как бензин! А вони нету, только запах и аромат. Как у лучших коньяков!

– Вот бы нам по глоточку попробовать! – развил успех военной операции Борисыч. – А, дядь Вить?

И заторопился рассеять сомнения, явно написанные на лице дяди:

– Чо! Мы уже взрослые мужики! Чо ж мы «сивухи» не пивали что ли?

– Пивали! – даже не покраснев, поддержал атаку Федюня. – Только мучались потом! Что же, в армию уйдём, даже и не понюхаем такого знаменитого самогончика?

И коварно затянул петлю ловушки:

– А в армии пацанам чо будем рассказывать? Вот пошлют нас в какую – нибудь Эстонию, а нам и погордится нечем, – надавил на патриотизм хитрый Федюня. – У других-то – мужиков самогон – дрянь... Пряма даже не верится, что «шмурдяк» вообще хороший может быть.

– Не верится! – взвился Доллар. – Да вы моего не пробовали!

– Ну так же и мы о том, – совсем невинно подвёл дядю под грех Борисыч.

– Да ладно, что ж я жмотяра какой? – сдался на уговоры дядя Витя. – Дочищайте уже коровник, ладно, плесну помаленьку.

Стоит ли говорить, что после этого коровник был дочищен в рекордное время и с наивысшим качеством?

Предвкушающие неизвестное близкое удовольствие Федюня и Борисыч, с трудом сдерживая нетерпеливое ожидание, вымылись у колодца. Стараясь не растерять мужской настоящей степенности, переоделись в свои нарядные белые рубашечки, глаженные брючки. Уселись чинно в тени за столиком под большим ореховым деревом.

Доллар не обманул их ожидания. Подал крупно нарезанные ломти хлеба, холодное варёное мясо, соль, поставил стаканы.

– Молодцы! Ну что? Ладно уж. Вы пейте, закусывайте и потихоньку отправляйтесь к себе в село. А я



ещё пару дел доделаю, и через часок тоже выйду, в дороге догоню вас. В село вместе придём.

Юноши кивнули головами. На том и порешили. Дядя Витя подождал, пока они отрежут мясо, положат на хлеб, подсолят, и налил по... трети стакана удивительно чистой жидкости.

– Дядь Вить! – разочарованно вытянулись лица страждущих.

– Что? Маловато будет? Мне за вас перед родителями ответ держать! Вы смотрите, больше на закуску налегайте, а не на выпивку. У меня самогон коварный!

– Да мы!

– Да чё тут пить!

– Обижаешь, дядь Витя!

– Не жадничай, дядь Вить! Хоть по половинке что ли налей!

– Мы уж не пацаны, в армейку уходим, Родину защищать!

Покачивая недоверчиво головой, Доллар налил стаканы до половины и бутыль унёс, не обращая больше внимания на призывные взгляды «долить» и недовольные цокания языком.

В доме, установив бутыль на кухне, прошёл в комнату, и старательно, высунув кончик языка, начал выводить утюгом стрелочки на брюках «муха сядет – задницу обрежет!». Довольный, осмотрел результаты своего труда, повесил брючки «отвиснуть».

Сняв рубашку, начал бриться. Взбив помазком в маленькой чашечке белую гору пены от душистого обмылка, нанёс эту пену себе на лицо. Подождал некоторое время и начал бритвенным станком с треском снимать пену вместе со щетиной. В совершенно прекрасном настроении, выбрившись, налил в ладони немного зелёного одеколона «Шипр», и, рыча, похлопал ими по лицу, дезинфицируя и освежая побритые участки кожи.

Аккуратно уложив в рюкзак бутылку самогона, устрашающий самодельный, не один раз испытанный в деле нож – свинорез, он оделся, закрыл дом на ключ, и, напевая песню «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов», взвалил рюкзак на плечо и вышел из дома. Прикидывая, как далеко могли уйти парни, торопливо закрыл за собою калитку в невысоком заборчике и поспешил в сторону почты.

Через пятнадцать шагов он завернул за угол своего дома и наткнулся на Федюню и Борисыча.

Два друга, недовольных величиной налитой порции и обиженных жадностью Доллара, в обнимку, по-братски, как невинные ангелы, сладко спали лёжа прямо на земле, под заборчиком, бескомпромиссно «вырубленные» полстаканчиком Долларова самогона. Куры безнаказанно переступали по телу Борисыча, подбирались поближе к телу Федюни и склёвывали сыплющиеся из кармана его брюк жареные подсолнечные семечки.

* * *

За столом на собственных проводах Федюня и Борисыч сидели скромные, притихшие и в один голос дружно отказывались от предложений «а вот, чуть – чуть винца за удачу!»

Глава 8 Присяга

Прибалтика встретила новобранцев сыростью, холодом, и придирчивостью старшего сержанта латыша Вилли Спрутзана.

Ротное помещение учебки похоже на букву Т, нижняя палка – это длинный коридор, по левой стороне которого находилось шесть дверей, одна



из которых вела в маленький спортзал со всяческим спортивным железом. Дальше шли взводные кубрики на сорок человек, плюс один сержант. Для него была поставлена койка обыкновенная, одноярусная. Между первыми двумя кубриками – ленинская комната, которая в те годы предлагалась личному составу вместо церкви, и в которой был установлен телевизор. Почти в конце коридора по правую руку – туалет, размером с кубрик и рассчитанный на двадцать «посадочных мест», каждое из которых по уставным правилам называлось «очко». За ним умывальник, в котором холодная вода шла из обоих кранов, что само по себе было загадкой, ведь горячая вода была везде, кроме помещения рот. Что же, солдат должен стойко переносить все невзгоды и лишения воинской службы, как сказано в уставе. В верхней перекладине буквы «Г», при входе в роту, слева сержантская каптёрка, дальше кабинет командира роты, в торце коридорчика – канцелярия, где обычно сидят взводные и либо ругают солдат, либо «наставляют» рога на лоб неразумным пудовыми кулаками, либо пьют... По правую руку – бойлерная, где сушатся одежда и обувь, склад, где хранится поношенная одежда и обувь – «подменка», оружейная комната, вся в решётках и с замками, и бытовая комната, где солдату положено бриться, стричься, гладиться и приводить себя в положенный, соответствующий уставному вид. А уставной вид включает в себя столько требований!

Поэтому в первый же вечер всем новобранцам выдали погоны, петлички, шевроны, всё то, что положено пришить на «хэбэшку», «парадку», шинель и бушлат. Кошмар! Пацанам, для которых игла и нитка инструменты чужие, незнакомые и непослушные, нужно было всё выданное пришить и укрепить. Да не просто так, а ровненько, на свои места, именно

на том расстоянии, которое указано на наглядных табличках, ну, там, от плеча столько – то сантиметров до верхнего края шеврона на правом рукаве и прочая и прочая. Ё! Ничего не получается! Какое там «ровненько»! Сколько раз перешивали, с ума сойти! У всех пальцы иголками исковерканы. Борисыча куда-то забрали, а Федюня сидел на табурете, придулившись прямо возле входа в роту, поджидал друга, мучался с подшивкой, накалывал пальцы, шипел, матерился и тоскливо поглядывал на остальных.

Неожиданно в роту зашёл заместитель командира Федюниного взвода, сержант Спрутзан, взял у Федюни из рук хэбэшку и начал показывать, как правильно пришивать погоны... С ума сойти! На Федюниной гимнастёрочке! Белыми ручками! Оп – па!

Спрутзан пришил один погончик, сказал громко:

– Фсем телать, штопы пыло такк!– и пошёл по своим делам, с чувством выполненного долга перед молодыми солдатами.

Повеселевший оттого, что работы стало меньше, Федюня, только опустил на табуретку, собираясь пришивать второй погон, как тут появился командир взвода лейтенант Жук. Он выхватил Федюнину хэбэшку и, любуясь собой, показывая видом: «учись, молодой!», лихо пришил второй погон.

Остальные всё ещё мучались со своими гимнастёрками, а Федюня в прекрасном настроении взял в руки свой парадный китель...

В общем, все офицеры, которые решили в этот день зайти посмотреть на «молодняк», подбодрить, поддержать, подсказать, выхватывали у Федюни очередную вещь из его солдатского гардероба и, высовывая от усердия язык, пришивали: кто погоны, кто петлицы. Комбат, майор Болгак, пришил ему и погоны, и шеврон и петлички на парадку, видимо



получая приятные воспоминания о том, как был новобранцем, и сам впервые делал подшивку себе. Поклон! Качественно были пришиты! Кстати, так до дембеля Федюня их и не трогал. Замполит ротный, пришил правый, а замкомандира батальона левый погоны на шинели. Бушлат Федюне обработал полностью командир его роты, да ещё и на спор с командиром другой роты, кто быстрее пришьёт на бушлат и погоны, и петлицы, так что повезло ещё и подоспевшему, присевшему рядом с Федюней, Борисычу.

Совсем развеселившийся, довольный Федюня, сидел и размышлял о том, как удачно получилось, что кроме командира части и штабных офицеров уже все его отметили своим высоким вниманием. Но ведь ещё подворотничок! И он взял в руки гимнастёрку, начав прилаживать к ней полоску двойного прошитого белого материала. Федюня так распалдучился вниманием командного состава, что даже подосадовал, что подворотничок придётсяшивать самому! Но чудеса продолжались.

Дверь стремительно распахнулась настежь, чуть не пришибив зазевавшегося Борисыча.

В роту залетел начальник физо учебки. Крепенький капитан Капустин с румянцем во всё лицо, с железными зубьями и улыбочкой, как у акулы, с совершенно закономерным дебильным хохотом, шуточками, подколами, выхватил у Федюни хэбэшку и пришил подворотничок. Федюня, обалдевший от такого счастья, долго в душе аплодировал всем, принявшим участие в его подшивке. «Управившись», он отпросился у сержанта Спрутзана в чайную. Сержант долго, не веря своим глазам, проверял подшивку, но придраться к работе профессионалов не смог.

Не торопясь, Федюня попил крепкого, душистого, хорошо заваренного чайку с кренделями, покурил на свежем воздухе и вернулся в роту, в которой

мучения с подшивкой продолжались ещё до самого отбоя.

Понятно, что после таких непривычных трудов и возни с толстой шинельной тканью, все спали как убитые, и первая ночь в учебке пролетела стремительно.

Бог создал ночь и тишину, а чёрт – подъём и старшину.

Ещё поспать бы! Ещё чуть – чуть! Минуточку!

Э-э-э-э! Это тебе не сладкие пирожки у бабушки! Так вот, чтобы служба мёдом не казалась, после первой ночи в учебке – подъём за сорок пять секунд.

– Па-а-а-а-дъём! Отставить! Да-а-а-а полный ... беспорядок! Раз пятнадцать, наверное повторили “взлёт – посадку”, «подъём – отбой». Портянки умели наматывать единицы. Сельским, Федюне и Борисычу, дело было знакомо и привычно. Кирзовые сапоги и портяночки? Плёвое дело. Куда труднее городским. Казалось бы, всего и делов – поставить, к примеру, правую ногу на расстеленную портянку так, чтобы от стопы до правого края тряпки было ровно столько места, чтобы этим кончиком обернуть плотно-плотно один раз стопу и подсунуть оставшийся уголок под саму стопу. Потом так же туго обернуть длинной частью, но так, чтобы пальцы оказались обёрнутыми тоже, потом обмотать щиколотку, и небольшой уголок засунуть в эту же тугую забинтовку на икре сверху, чтобы при беге, ходьбе и прыжках, портяночка не разматывалась. Красотища! Если всё правильно сделано, то нога сама впархивает в сапог. Имея опыт, можно развить первую космическую скорость наматывания, и можно было целый день ходить, не перематываясь.

А у городских откуда же такой опыт? Поэтому – «Подъём-отбой- подъём-отбой».



Да-а-а. Опыт пришёл позже ко всем, но в первые дни были сплошные клоунады.

Вот, например, Борисыч спал на нижнем ярусе. По команде «Подъём!», положено дожидаться, когда со второго яруса спрыгнет боец, только потом вскакивать и начинать лихорадочно одеваться в таком порядке: сначала галифе, потом портянки, нырок ногами в сапоги, натянуть гимнастёрку, на бегу застегнуть ширинку, (проклятые пуговицы!). Тренчик затянуть, такой брезентовый узкий брючный ремешок, застегнуть гимнастёрку, потом надеть ремень с бляхой, и уже в строю загнать под ремнём все складки на спину. Вроде бы просто, да?

Так вот, Борисыч, спавший на нижнем ярусе, при команде «подъём», всё позабыв, вскочил спроне. Тут же, сверху, уверенный в правильных действиях товарища сверзился со своего второго яруса маленького роста калмычонок Микитов и, как в седло, сел на шею Борисычу. Тот, конечно, от неожиданности и тяжести «седока» упал, ударив своим лбом в спину стоящего рядом Федюню. Общий шум, гвалт, неразбериха, стуки, «ржание». Понятное дело: «отставить!» «отбой – подъём – отбой – подъём!» Когда хоть как – то научились подниматься, начались «грехи» другого рода.

Подъём! Калмычонок Микитов летит сверху вниз, быстро начинает одеваться. Раз – два, и уже портянки намотал! Три – четыре, уже и ноги в сапогах. И побежал на построение. Шустро так!

Когда одевающийся вслед за ним Борисыч увидел, что ему оставил Микитов!!!

Понятно, что в сапоги Борисыча сорок пятого размера, калмычонок просто «влетел». Ясное дело, что в богатырский Борисычев пятьдесят восьмой, он «вошёл» как по маслу. А Борисычу – то теперь что делать?

Борисыч припоздал на построение, и все просто «легли» со смеху, когда увидели, как он «шкандыбают» в сапожках тридцать девятого размера и форме – маломерке.

Но когда до всех дошло, в чём дело, и они догадались посмотреть на Микитова...

«Умирали» все со смеху как чумные. Микитов обувался не глядя, и получилось, что сапоги он перепутал. Правый он надел на левую ногу и наоборот. И вот, стоит этот «пингвин», ростом метр семьдесят, в сползающей с него хэбэшке Борисыча пятьдесят восьмого размера, в галифе, свисающих на сапоги, как шаровары у запорожского казака, и с носками сапог, загнутых невероятными изгибами в разные стороны. Цирк! Картинка маслом!

Хохотали так, что у всех не осталось сил и не было в тот день тренировок отбой -подъём!

Потянулся бесконечный месяц курса молодого бойца. Новобранцы постепенно смывали с себя гражданскую пыль, учились подметать ломом и мыться полутора литрами холодной воды на двоих. Изучались уставы, было много строевой подготовки, заучивание наизусть текста присяги, стрельба из автоматов на стрельбище.

«Ломом подметать плац», это изощрённое изобретение армейских умов. Перевести его на понятный для гражданских людей язык, означает примерно вот что: – А где я тебе, салабон, сейчас найду дровко для метлы? Вот тебе веник, иди и привяжи его хоть к лому, но чтобы плац был подметён!!!

В учебке в первую очередь человека нужно утомить работой, бестолковщиной, нарядами, учёбой, лишь бы у него не было времени, желания и сил вспоминать о доме, о девчонках, о жратве, и многих других прелестях гражданской жизни. Поэтому сержант Спрутзан говорил честно:



– Мне не нушна фаша рапотта! Мне нушно, штопы фы устали!

Поэтому любой солдат должен быть всегда занят по горло.

По территории части он перемещается только бегом либо строевым шагом, если офицер идёт ему навстречу. В чайную или в госпиталь, только строем. Даже если вас всего двое, – всё равно строем, с сопровождающим из командиров отделения. Если в госпиталь, то при себе должна быть книга с записью о больных, заверенная подписью начштаба и печатью части!

Придумывались всякие приёмы для достижения «надлежащей» усталости солдат. После первого наряда по столовой все занятые в наряде пребывали в состоянии полной прострации. Всё оттого, что полторы тонны картофеля нужно было перечистить... умышленно не точеными столовыми ножами. Понятно, что чистили с двадцати одного часа одного дня, до пяти часов утра следующего. Дали поспать один час и объявили подъём!

Уборка снега по всей части. Взяли огромные скребки, сделанные из целых дверных полотен, и вперёд! Требования простые: все снежные наносы должны быть сформированы в геометрические фигуры не выше полутора метров и с плоскостями под абсолютным углом в девяносто градусов. Прямые такие стеночки...

А весь лишний снег, не входящий в эти фигуры, надо деть куда угодно, хоть сожрать, но чтобы его не было! Поэтому солдаты начинали забрасывать снег как можно дальше, а ближе к плацу всё выравнивали. На плацу у командира части была трибуна, и с неё отлично просматривались все неровности и шершавости, за которые потом ругали и наказывали всех подряд...

Матерьясь и изнемогая, вместе со всеми и Федюня с Борисычем выполняли много разной ручной работы за это время. Грузили уголь из вагонов на станции в бортовой «Урал» и разгружали этот уголь у котельной. А потом таскали его же на носилках, обходя вокруг котельной, заноса внутрь, оступаясь на ступеньках, ведущих вниз, хотя и было специальное устройство, в которое снаружи засыпался уголь, а внутри, в котельной, довольно было дёрнуть ручку, чтобы посыпался уголёк почти к самой печи.

Таким же нехитрым способом, вручную, разгружали – загружали огромные брёвна, привозили их, потом пилили, кололи на дрова, которыми топили печи на хоздворе, когда варили похлёбку для свиней.

Федюня и Борисыч, пыхтя и упираясь, натягивали колючую сталистую проволоку на столбы, на высоту два метра, с частотой через каждые десять сантиметров по всей длине столба.

– Слышь, Борисыч, а как же без кусачек, без плоскогубцев? Как же излишки проволоки обрезать?

– Всё вручную, лишнюю проволоку хоть зубами грызи, нету ничо. Будем перебивать камнем на камне...

Когда они обтягивали таким образом участок в один квадратный километр, их товарищи осколками битого оконного стекла обдирали от краски всю мебель в казарме, сделанную из дерева: тумбочки, табуретки, столы, оконные рамы, двери, – а потом вскрывали лаком. Красиво!...

И никто из них не знал, что следующий призыв будет делать то же самое, только в обратном порядке. Снимать лак с мебели и красить краской, а «колючку» так же вручную снимать и скатывать в бухты, столбы выкапывать, а ямки от них закапывать.



Следующие же, понятно, лак – на мебель, «колючку» – на место.

Наступила “долгожданная” присяга. На присягу, как водится, приезжают родители тех, чей ореол обитания простирается в пределах области. И хотя цена билетов на самолёт была невелика, Федюня и Борисыч из такого далёка, как родная сторона, своих родителей не ждали.

Попадающим в список счастливчиков, была обещана полуторасуточная «увольняшка» и прочие блага. И вот «День “Ах”» и «Час “П”». Получив автоматы, солдаты высыпали на плац и кое – как сформировали ротные “коробки”. Впереди – покрытые красным атласом столы с текстами присяги, отцы-командиры, а поодаль – они, дорогие, ставшие такими далекими и такими любимыми родители и родственники. Сразу же послышались вопли радости от лицезрения своих чад: – Ой, смотри, какой Петя лысенький! Нет, ну посмотри, как Сашке форма идет! Мишенька, голубчик, исхудалто как!

Бумкнул барабан и что-то невнятно забубнил оркестр. Матери начали хвататься за сердце. Федюня и Борисыч, вытягивая шеи, как ни старались, так и не могли отыскать в толпе знакомые родные лица.

Да они и не знали, дошли ли их письма, хотя конечно, очень сильно надеялись на встречу. Хорошего понемногу, торжественная часть окончилась. Новообращённые воины стали узаконенной собственностью армии на два года и потянулись в казарму сдавать оружие.

Родители неорганизованной толпой, и даже не в ногу пошли за ними, дабы в батальонной канцелярии предоставить документы на право взять напрокат солдата (одна шт.) сроком на сутки, и распи-

саться в книге выдачи. Сдав оружие, присягнувшие на верность Родине, в томительном ожидании маялись в расположении роты.

Дневальный вызывал по списку. Как сырая резина, потянулось время! Прошло два часа, и из роты в сто человек в расположении осталось только с десяток несчастных, чьи родители по каким-то причинам не смогли посетить своих отпрысков.

В их числе кручинились и Федюня с Борисычем. Вот разошлись последние родители, взлётка опустела. Сержант Спрутзан, лучезарно оголяя клыки, поинтересовался: “А какоко хрена, сопссно, фы ситите на сапрафленных койках? Фсяли пыстро по фенику – и фперет!” И тут откуда-то из преисподней загрохотало: – Дежурный по роте, на выход!

Приветливые небеса разверзлись, и архангел в лице сержанта Спрутзана почти миролюбиво «прошелестел»: “Чернышефф, и Кострофф там пришли к фам.... Какова же была радость встречи, когда Борисыч увидел своего батяню, а Федюня – и папу, и маму ВМЕСТЕ! Кстати, именно с той поры его родители по прошествии почти двенадцати лет “разведенки”, второй раз зарегистрировали свои отношения, уехали в город, и так и живут, оставив Федюне дом в селе.

Глава 9

Сапоги

У каждого человека есть свои слабости и странности. Каждый имеет свой пунтик и «тараканов в голове». У Спрутзана был в голове «болт» – сапоги.

Своими требованиями к подошвам, внешнему виду голенищ, каблуков, он мог довести до умопомрачения любого. В тихом исступлении солдаты надраивали свои «кирзачи» в любую свободную ми-



нугу, лишь бы избежать замечания старшего сержанта. Продолжалось «подметание плаца ломом».

– «Лабус» чёртов!, – выходил из себя Федюня.

Шёл третий месяц, как Федюня и Борисыч проходили службу в «учебке».

Язык и ругательства запоминались в основном от сослуживцев – прибалтов, которые призывались в учебку на весь двухлетний срок службы и старались пристроиться в аэродромную службу, в подсобное хозяйство части, на кухню, на склад, где и подчёркивали своё превосходство над молодыми. От частого общения с ними, слова чужого языка начинали запоминаться. Правда, не самые лучшие. По поведению, по интонациям и по отдельным знакомым словам друзья уже могли отличить латышей от эстонцев, а эстонцев от литовцев, но обзывали их всех «лабусами», хотя «лабус ритас, лаб дзень и лаб вакар», то есть «доброе утро, добрый день и добрый вечер», говорили друг другу латыши.

Впрочем, все прибалты смешно, но неплохо разговаривали по-русски и совсем без акцента, избретательно матерились. Ну, «лабусы», в общем.

Федюня и Борисыч служили старательно, но не выслуживались. На учёбе, на стрельбах, на плацу осваивали нехитрую солдатскую науку.

Конечно, оба скучали по родному тёплому дому и тосковали в непривычных условиях, но успели прекрасно проявить себя на стрельбах и, не имея взысканий, даже получили неслыханное поощрение – увольнительные.

Собираясь выйти в город, «нализывались» и начищались до одури, но не потому, что были уж такими чистюлями и аккуратистами, и не по доброй воле. Придирами и требовательностью к внешнему виду солдат замучил старший сержант Вилли Спрутзан, да так, что и увольнительная была уже в не радость,

и выходить в город не хотелось. А он смеялся и «шуршал»:

– Ниччифо, ниччифо, снакоммьтесь с Припппалтикккой! Эстонские хозяйкки то фойны перет своими ттомами троттуары с шампппунем мыли! У них пелые колготтки в национальный косттюм вхоттят! А фы хотитте своим немыттым фитом фесь короток распукккатть? Са сапокки я с фас осоппо спрашшифать путтту! Нато штопы пыло таккк! – и выставлял напоказ свои сапоги тонкой хорошей кожи, начищенные до блеска зеркала.

Ну ладно, старший сержант, сапоги не вопрос, можно и до блеска начистить! Но такая придиричивость, конечно, настроение испортила и заняла очень много времени, отпущенного для прогулки. Если бы не возможность посмотреть на местных жительниц в белых колготках, о которых сказал Спрутзан, если бы не желание поглядеть на улицы, которые намывали с шампунем до войны чистюли – эстонки, то можно было плюнуть и никуда не пойти. Все же глупо отказываться от увольнения, заработанного честным трудом, да и Спрутзан, хоть критически скривился, но выйти в город наконец разрешил.

– «Лабус» чёртов, – ругался Федюня, пройдя через контрольно – пропускной пункт части. – Пожрал почти всё время своими придириками. Куда теперь пойдём, что посмотреть успеем? «Тудырсас»!

«Тудырсас», то есть «грязнуля, неряха», было очень грубым латышским ругательством.

– Ладно, перестань, – попытался успокоить друга Борисыч. – Бог всё видит и Спрутзана накажет. Не ругайся.

Друзья посоветались, поразмышляли, куда пойти, и решили для начала купить «цивильных» сигарет в ближайшем магазинчике.



Облокотившаяся на прилавок толстая молодая эстонка с аккуратно уложенной на белокурой голове косой, сияя голубыми глазами, что-то оживлённо рассказывала своей подружке. Судя по отдельным словам чужой речи, кажется, о свиньях. О! К свинине, в отличие от русских солдат, каждый добропорядочный прибалт испытывает особое почтение и всегда готов поговорить о ней, как англичанин о погоде. Как прекрасен утренний кусок душистого ржаного хлеба, который можно обмакнуть в горячее шипящее свиное сало и есть его, запивая горячим ароматным кофе! А знаменитый латышский копчёный бекон!? М-м-м-м!

В магазине, кроме этих двух девушек, никого больше не было, и Федюня с Борисычем благонаравно «встали в очередь» за спиной подружки продавщицы.

Девушки, не моргнув, продолжали болтать, как если бы в магазин вошли не два плечистых советских солдата, а бесплотные прибалтийские призраки. Времени на знакомство с городком и так оставалось немного. Друзья, переступив с ноги на ногу, переглянулись, и Федюня робко заикнулся:

– Девушка, а можно пачечку ...

Не – а. Никакой реакции.

Борисыч озабоченно проговорил:

– Слышь, Федюня, она, похоже, по-русски ни бельмеса... Ты не помнишь, как по-ихнему будет «сигареты»?

В это время собеседницы нехотя закончили разговор и мило распрощались.

Продавщица покивала вслед подружке, выходящей из дверей, и наконец-то перевела взгляд на солдат. Глаза её из весёлых и приветливых сразу же стали ледяными, бездушными и бесцветными.

– Ну, чего надо? – на чистом русском языке спросила она таким тоном, как если бы друзья попыта-

лись вломиться к ней в белоснежный дом с комьями грязи на сапогах.

– Да вот, пачеч...

Федюня не успел договорить, как продавщица выдернула из его рук мятую мелкую купюру и, швырнув на прилавок пачку просимых сигарет, сыпанула на них сверху горстку монет сдачи и отвернулась, давая понять, что аудиенция окончена.

Солдаты выскочили из магазинчика, как ошпаренные кипятком.

– Ну и зараза! На хрен эту Прибалтику! Похоже, они все такие гады! Спрутзан, эта девчонка! Пошли в казарму! – прошипел задыхающийся от гнева Борисыч.

В казарму они не пошли. Когда давали увольнительную после присяги, походить по городу с родителями не получилось, а заработать вот эту, новую увольнительную, стоило таких трудов, что следующей, скорее всего, не будет.

Так что, всё-таки сходили в местный цирк, поели мороженого и осмотрели небольшой уютный город, показавшийся им ужасно скучным. На этом их знакомство с неармейской Прибалтикой, так неудачно начавшись, и было окончено.

Обиженный Борисыч, конечно, погорячился, и прибалты были не «все гады». Как среди любого народа, было среди них достаточно дряни, но и нормальных, хороших ребят, было много. Например, с литовцем Юозасом Скарчунисом у Федюни и Борисыча даже сложились приятельские отношения. А чего? Такой же солдат, как и они, за одним столом, в бане, казарме и на учениях вместе. Не кривляется, не ломается, ничего из себя не корчит. Хороший парень! Тоже не взлюбил придирчивого латыша старшего сержанта Спрутзана и пытался хоть как-нибудь оказывать ему моральное сопротивление. Особенно, когда дело доходило до сапог.



Потекла дальше череда армейских будней, и Федюня, назначенный запевалой, вместе со всем строем направляясь на стрельбы, в такт шагам выводил:

– Учили нас ножи метать, без шума часовых снимать

*И танки прожигать гранатомётом.
Мосты взрывать и пленных брать,
Друг другу спину прикрывать,
И дни, и ночи лазать по болотам.*

Парашютные прыжки производятся только после принятия присяги. И, в основном, потому что, подписываясь под присягой, ты расписываешься за то, что сам натворишь. Ну, ещё есть журнал по технике безопасности, в котором перед прыжками, тоже ставишь свою закорючку!

Прошла долгая подготовка и наступило время проведения первых парашютных прыжков. Вечером, после отбоя, Федюня и Борисыч, уже улегшись, перешёптывались:

– Чо, братка, боишься прыгать? – спрашивал Федюня Борисыча.

– Да, боязно, – не стал корчить из себя героя Борисыч. – Хрен его знает, что там наверху может произойти! Вон что рассказывают про динамический удар!

– А что?

– Ну, когда купол парашюта раскрывается, то при этом так дёргает, что можешь из штанов вылететь! Это и есть динамический удар. Оторвёт ещё что-нибудь, и будешь потом половым инвалидом... А если вообще купол не раскроется?

– Ага. И мне страшновато. А кто это тебе такие страсти порассказал?

– Юозас. Он до армейки в ДОСААФе сделал прыжков тридцать с парашютом.

Федюня свесился со второго яруса и посмотрел на соседнюю пустую койку.

– Не, это он подкалывает тебя. А сам-то он где?

– Сапоги надраивает, – уже сонно пробормотал Борисыч. – Его Спрутзан перед казармой отловил и начал придирааться. Сказал, что не отстанет, пока сапоги не засияют. Юозас злой на него как собака! А вот он и сам.

В это время подошёл их огорченный товарищ, молча резко разделся и юркнул под одеяло.

Федюня тихонько посочувствовал:

– Что, достал тебя старший сержант?

Юозас яростно засопел и тихо, но внятно сказал:

– Ничего, я ему сделаю завтра хороооший аспирин! Он у меня пропотеет до самых своих сапог. Спите, завтра прыжки.

Усталых солдат уговаривать не пришлось, только Федюня, уже засыпая, удивлённо подумал, чем же сможет досадить простой солдат старшему сержанту?

Синоптики не ошиблись в благоприятном для прыжков прогнозе, наутро погода была изумительная. Построившись на лётном поле, группы под руководством инструкторов надевали парашюты, проверяли карабины, подвязывали сапоги за «ушки» верёвочками к поясным ремням.

Провожали взглядом погружающихся в АН-2 товарищей, и следили взглядом за набором высоты, заходом самолёта на круг, и – раз, два – три – четыре... первые купола парашютов уже забелели в удивительно чистом тёмно-синем небе.

Отработали прыжки первые три группы, по команде подошли к самолёту очеренники.

Перед посадкой в самолёт Юозас обернулся и покивал Федюне и Борисычу, как бы призывая их к



вниманию. Друзья, ничего не подозревая, покивали ему в ответ.

– Наверное, какой-нибудь класс покажет, – предположил Федюня.

Мимо прошагал неторопливо старший сержант, поглядывая на готовящиеся к прыжку группы парашютистов, на взлетающий самолёт.

Рёв мотора перестал заглушать слова, инструктор продолжил проводить подготовку.

Когда самолёт набрал высоту и зашёл на круг, все взгляды обратились к нему в ожидании прыжка.

Отделились от самолёта чёрные «капли». Первый – пошёл, второй – пошёл, третий – пошёл, и вот, весь десяток куполов раскинулся «одуванчиками» в синеве Прибалтийского неба. Молодцы! И уж, было, каждый занялся своим делом, как послышался робкий голос одного из солдат:

– Ой, смотрите, что-то случилось!

Все взгляды, как по команде, направились на десяток парашютов в воздухе. Парашюты были в порядке, девять солдат были в порядке, а вот десятый...

Было такое ощущение, что десятый разваливается в воздухе на части. Во всяком случае, на фоне бездонной глубины синего неба было очень хорошо видно, как от него отделилось что-то крупное и, затрепыхавшись, полетело к земле. Тут же отделилось ещё что-то, покрупнее, а потом ещё и ещё.

– Динамическим ударом разорвало, – еле прошептал онемевшими от страха губами Борисыч.

Они стояли с Федюней, бессознательно сцепившись руками, как маленькие пацаны, с ужасом наблюдали за полётом кусков от «разорванного» парашютиста.

Все заволновались, заговорили, поглядывая на белого, как стена Спрутзана, а тот, не говоря ни сло-

ва, сорвался с места и побежал на поле к месту приземления солдат, опережая командира роты.

Куда баран, туда же и всё стадо. За ним побежали все, потому что «разваливающегося» парашютиста в небе видно было хорошо и зрелище это было, конечно, ужасным. Всем не терпелось узнать, что же такое случилось.

Когда бежали к месту приземления, то сначала слышали дикие вопли, а уж потом увидели красного от гнева старшего сержанта, который, надрываясь как сумасшедший, орал на спокойно подтягивающего к себе парашют за стропы Юозаса. И сам он, и его парашют были в полном порядке, за исключением того, что солдат стоял на земле... босиком.

Когда Спрутзан сделал паузу, чтобы набрать побольше воздуха в грудь, Юозас ему сказал абсолютно спокойно:

– Товарищ старший сержант! Я не виноват, что у меня верёвочки лопнули!

Тон голоса солдата был абсолютно невинным, как у новорожденного, и только в глазах сквозь ангельскую чистоту и непорочность проблескивал хохочущий прибалтийский чёрт.

Побагровевший Спрутзан поперхнулся воздухом от такой наглости, выдохнул только:

– Три нарята фне очерети...

Повернулся на месте и побежал к зданию ангара, за которым торчал небольшой сортир типа «скворечник».

– Та, постирает секотня свои штанишки наш чистюля Вилли, – передразнивая акцент старшего сержанта сказал кто-то.

Все захохотали с облегчением. Стало понятно, что во время прыжка в воздухе с ног Юозаса сначала слетел один сапог, потом на ветру трепыхалась, пока не развернулась и не слетела портянка,



потом полетел вниз второй сапог, потом вторая портянка, которые и обеспечили такую жуть непонятному зрелищу.

А вот действительно лопнула верёвочка, которой положено было сапоги подвязывать за «ушки» к поясу, чтобы они не слетели, или Юозас специально отвязал её, для того чтобы попугать старшего сержанта, так и осталось тайной. Вид невинного босого Юозаса и гневного красного Спрутзана был таким смешным, что у Борисыча и Федюни, прошёл страх перед прыжками, и поднялось настроение.

Прекрасно в этот день «окрестившиеся», испытывавшие полное счастье от первого удачного прыжка и обнявшие руками Прибалтийское небо, шагая вместе со строем на обед, солдаты выводили слова недавно выученной новой строевой песни:

– ...И динамический удар, и приземленье,
И снова небо голубое над тобой!

Юозас оттарабанил все три дня в столовой на чистке картошки и мытье посуды минута в минуту, но Спрутзан сверх меры к солдатским сапогам больше не придирился.

В этот раз срок пребывания рядовых в учебке был сокращён. Когда наступил четвёртый месяц, солдаты погрузились в самолёты и после длительного перелёта ступили сначала на Туркменскую землю, а через месяц оказались в Афганистане.

Обманутая женщина желает...

Расположившись в уголке уютного кафе, почти пустого в это время дня, Елена неспешно попивала свой любимый зеленый чай, рассматривая через окно одиноких прохожих. С самого утра небо над городом хмурилось, угрожая дождем, но на душе женщины сегодня было светло. Дни, когда безмолвно обхватив руками коленки и уставившись пустыми глазами в угол спальни она страдала, переживая свой развод, остались позади. Надо было жить дальше, и Елена решала как...

Чего хочет от жизни самая обыкновенная женщина, возраст которой еще не перевалил за тридцать, не так давно разведенная и с ребенком на руках? Одни скажут: ей следует как можно скорее снова выходить замуж, чтобы не впасть в затяжную депрессию. Другие решат, что со вторым браком однозначно следует повременить, даже если на горизонте замаячил перспективный вариант. Третьи, наиболее обиженные на мужской пол, вспомнят, что само слово «брак» изначально несет в себе элемент испорченности, со всей серьезностью утверждая, что именно



**ВАЛЕРИЙ
БРОДОВСКИЙ**

Проза





от него происходит слово «бракованный», а посему вовсе откажутся от семейной жизни, посчитав, что семье совсем необязательно состоять из семи «я», достаточно и матери с ребенком. Четвертые после одного-двух неудачных браков запишутся в феминистки ровно до того момента, пока не встретят очередную подходящую кандидатуру. Пятые... Да мало ли кто что скажет! И что самое неприятное – каждый по-своему будет прав. Следует также заметить, что есть на свете люди, которые просто не созданы для брака, ибо им вообще не дано любить. И уж совсем не хочется рассуждать, кого среди этих несчастных созданий больше – женщин или мужчин.

Елена была молода, не лишена привлекательности, если не сказать больше, и, конечно же, как все здравомыслящие женщины, снова мечтала о замужестве, потому что сама умела любить и желала быть любимой. Банально? Возможно. Но, как говорят французы: се ля ви! А они знают, в чем ее вкусы.

Что говорить, надежный спутник в жизни – это опора, так необходимая каждому из нас. Первый горький опыт замужества Елена, увы, уже пережила, время бежит, и свободных от уз брака мужчин призывного к ЗАГСу возраста остается не так уж и много. И если еще совсем недавно благовоспитанная женщина плохо относилась к тем из своих знакомых, кто не раз и не два, а то и три выходил замуж, то сейчас она, кажется, начинала понимать, что неважно, какой по счету у тебя брак, лишь бы он оказался настоящим.

Конечно, лучше один раз и навсегда бракосочетаться с любимым мужчиной и, как говорится, родить от него детей, помочь вырастить сад и поддерживать огонь в очаге своего дома, который он для тебя построит. А еще было бы красиво умереть с милым в один день, счастливо дожив до глубокой старости в окружении большого количества потом-

ков. Но человек существо всего лишь предполагающее. Располагает же всем его величество ФАТУМ, а судьба, к сожалению, не ко всем благосклонна.

Быть замужем – это статусно, это престижно. Так, в конце концов, заведено в нашем обществе, еще не совсем испорченном влиянием некоторых западных культур. И вообще быть одной – просто неудобно и... неприлично! Эту мысль мама Елене прививала с детства, а родители, как известно, плохого не внушат.

За Сергея она выходила по любви. Он был завидный жених: из обеспеченной семьи, с престижной профессией юриста. На нем останавливали взгляд все ее подруги, но Сергей выбрал ее – скромную, надежную. Конечно, ей завидовали. Елена и сама не верила в свое женское счастье.

С самого начала у них с мужем все складывалось хорошо. Лена ликовала, ведь не всем ее подругам так повезло с браком. Танька вон уже с каким по счету мужчиной жила, да все не те попадались: кто пил, кто бил, кто изменял. Да и у Светки со своим все не по-людски складывалось: сходились – расходились. Елена решила, что у них с Сережей все будет замечательно, уж она постарается.

Брак у молодых людей чаще складывается больше эмоциональный, чем разумный. Вот и мучаются потом некоторые всю жизнь, когда эмоции уступают место разуму. Любил ли ее Сергей или всего лишь был влюблен, сейчас Елена уже не могла себе ответить. Она любила: страстно, безоглядно, не ведая по молодости лет, что не сдерживаемые чувства со временем начинают утомлять одного из супругов. Когда пары влюбленности улетучились, Сергей стал уставать от их отношений. Она не сразу это поняла. Молодая была, неопытная. Поздно заметила охлаждение к себе. К этому времени муж стал страдать немотивированной ревностью, чего раньше за ним не наблюдалось. Это чувство возни-



кает чаще от тщеславия, чем от любви, но люди часто обманываются, принимая одно за другое. Даже формулу дурацкую придумали себе в оправдание: «Ревнует – значит, любит!»

В начале совместной жизни, когда человек убеждается, что его любят, он становится смелым, затем самоуверенным, а потом... наглым, дерзким. Когда любовь проходит, а она имеет такое свойство, то обычно трансформируется в уважение к тому, с кем соединен узами брака. Если же любви не было изначально, то душу некоторых людей часто опутывает равнодушие к партнеру, а это легко спрятать за ревностью, как и собственные пороки.

У Сергея были эти самые пороки. Как водится, Елена последней узнала об изменах мужа. Некоторое время женщина еще боролась за свое семейное счастье, а потом силы угасли, и она махнула рукой. Разбитую вазу склеить, конечно, можно, если она дорога, но хранить в ней возможно будет только мертвые цветы. Живым отношениям нужна живительная влага. Когда Елена это поняла – ушла от мужа. Ушла гордо, не требуя унижительных объяснений.

Она тяжело переживала свой развод: горевала, занималась самоедством, затем медленно приходила в себя. Сегодня утром, то ли выпалась наконец, то ли солнышко пригрело ее помятую душу, но проснулась, потянулась на кровати и, взглянув на случившееся обстоятельство с другой стороны – она снова была свободна! – послала все пережитое к чертям. «Нет, теперь я буду осторожней в выборе, даже прагматичней», – думала Елена о мужчинах, все же надеясь рано или поздно снова кого-нибудь повстречать.

Но сначала нужно было устраиваться на новое место работы. В прежнюю фирму, где оставался бывший муж, женщина возвращаться не желала. Встретиться с ним в одних коридорах было выше ее сил.

Глотнув остывающий чай, Елена взяла в руки газету, которую приобрела в киоске по пути и, пробежав глазами по объявлениям, остановилась на одном из них...

В центральный офис фирмы, которая занималась продажей строительных материалов, Елена входила в надежде получить должность бухгалтера. В приемной директора ее приняла молодая, не улыбка дама с весьма неприятным выражением лица, словно только что вкусила лайм. Как выяснилось, она одновременно выполняла функции секретаря и начальника отдела кадров. Просмотрев необходимые для принятия на работу документы, дама задала пару вопросов, касающихся профессии, и, кинув на Елену равнодушный взгляд, неожиданно заинтересовалась:

– Замужем?

– Недавно развелась, – честно призналась последняя.

Елена слышала, что в некоторых фирмах при приеме претенденток на работу интересовались их семейным положением, но сама с этим столкнулась впервые.

– Это плохо. – На лице секретарши появилась гримаска недовольства. – Ну, не знаю, не знаю, сможем ли вас взять! – протянула она. – Вообще-то мы приветствуем замужних.

– Почему только замужних? – удивилась кандидатка на вакансию бухгалтера.

Тонко выщипанные брови женщины, которая была немногим старше Елены, выгнулись дугой.

– Это же очевидно! Замужняя на работе – работает! А такие как вы, хм... – Отрепетированным движением руки она изящно поправила прическу. – Вы извините меня, я буду откровенна: незамужние женщины думают не столько о работе, сколько о том, как устроить свою личную жизнь. Вы согласны со мной?



– Но для этого в сутках есть другое время, – парировала Елена, догадываясь, что по этому адресу ей вряд ли удастся получить работу.

– Ерунда! Вот встретите кого-нибудь, выйдете снова замуж, забеременеете и уйдете. У нас так уже две девушки ушли в декретный отпуск, а нам приходится искать новых, обучать...

– А, вот вы о чем? – Елена улыбнулась. – Ну, на этот счет можете не волноваться, – успокоила она секретаршу, радеющую за карман своего хозяина. – В ближайшее время я замуж точно не собираюсь выходить, тем более рожать.

– Как знать, как знать! Все так говорят при устройстве на работу. – Секретарь продолжала изучать ее. – Девушка вы интересная, я бы даже сказала – красивая. – При этих словах в ее голосе Елена уловила нотки зависти. Сама женщина особой красотой не отличалась, но грамотный макияж и стильная одежда делали ее привлекательной. Еще раз просмотрев бумаги, она выдавила из себя: – Характеристика с прежнего места работы у вас хорошая. В принципе, вы нам подходите. – Секретарь поднялась из-за стола. – Ладно, идемте к шефу, и если вам повезет... – По ее губам скользнула ухмылка. – Сегодня одна претендентка уже была, э... Не прошла фейс-контроль!

– О, как у вас тут все серьезно! – воскликнула Елена, готовая немедленно покинуть этот странный офис, претендующий на некую исключительность. Ей не понравилась дама. Собственно, уже заочно не нравился и сам директор фирмы, который, как выясняется, отбирает сотрудников по каким-то внешним данным, но из чистого любопытства Елена все же последовала за ней. Ей стало интересно взглянуть на руководителя фирмы, а заодно провериться, способна ли она пройти этот самый фейс-контроль, унижительный для любого человека.

За большим пузатым столом в кабинете директора сидел мужчина лет тридцати пяти. С первого же взгляда Елена нашла его... красивым. Под дорогим деловым костюмом бизнесмена угадывались крепкие плечи бодибилдера. Он явно относился к той молодой формации бизнесменов, которые тратят много времени в тренажерном зале, дабы хорошо выглядеть. Модная, аккуратно подстриженная бородка придавала его облику некую респектабельность.

Подойдя к своему начальнику, секретарь низко наклонилась к его уху и, едва не касаясь грудью плеча, что-то прошептала.

Директор деловито просмотрел принесенные документы, многозначительно нахмурил брови и неожиданно, впрочем, очень мягко, спросил:

– Моего секретаря волнует вопрос о вашем семейном положении...

Елена полагала, что ее личная жизнь никоим образом не должна была становиться темой для обсуждений при устройстве на работу. Она приготовилась ответить колкостью, но директор опередил ее:

– ...Впрочем, меня он совсем не трогает. – Мужчина широко улыбнулся. – Думаю, любой человек в моем коллективе имеет право на личную жизнь. Не так ли, Валентина Сергеевна? – спросил он помощницу, пристально глядя ей в глаза.

Секретарь вымученно улыбнулась.

– Да, конечно, Владислав Иванович! Просто, защищая интересы нашей фирмы... – начала она, но директор ее перебил:

– Повторяю: личная жизнь каждого, в том числе и моя, не должны вас беспокоить! – произнес он несколько сухо, затем попросил секретаря вернуться в приемную.

Оставшись вдвоем, мужчина уже другим, более веселым голосом промолвил, показывая на дверь:



– Моя помощница почему-то решила, что должна оберегать меня от молодых женщин. Видимо, хочет взять на вакантное место бухгалтера пенсионерку.

Елена улыбнулась.

– Ну что же, с документами у вас все в порядке, так что с завтрашнего дня можете приступить к работе. – Вновь позвав секретаря, он приказал: – Оформляйте...

– Поздравляю, вы ему понравились, – едва они покинули кабинет, произнесла помощница.

И снова в ее голосе Елене послышались нотки зависти.

– В каком смысле понравилась? – насторожилась она.

– Ну что, не понимаете? Все при вас: лицо, фигура. К тому же – блондинка. Владислав Иванович таких любит; я его вкусы знаю.

Елена хотела прекратить этот разговор.

– Он, наверное, женат и любит свою жену...

– О, уже заинтересовались?

– Да нет, – смутилась Елена, – совсем нет.

В очередной раз смерив тяжелым взглядом теперь уже новую сотрудницу, секретарь произнесла:

– Нет, не женат и никогда не был. Владислав Иванович убежденный холостяк. – Забрав документы, она сухо произнесла: – Жду вас завтра к началу работы...

Покинув офис, Елена первым делом направилась к своей подруге Светлане, с которой проживала в одном доме. Светка единственная поддерживала ее все это время после развода с Сергеем. Они сидели на кухне, и за чашкой чая Елена рассказывала подруге о своем визите в фирму...

– Убежденный холостяк? – воскликнула Светка, едва Елена закончила говорить. – Ты веришь, что в природе такие существуют? Да эти мужики просто боятся женщин!

– Чего им нас бояться? – не соглашалась Елена.

– Я скажу – чего! Нынешние холостяки – или конченные конформисты-лентяи, которые не хотят брать на себя ответственность за семью и живут ради собственного удовольствия, или, как этот твой директор, избалованы девками. А что?! Если он богатенький Буратино и девки виснут на нем гроздьями, чего ему жениться? Ему и так хорошо. Фейс-контроль придумали, уроды! – возмущалась Светлана.

– Я думаю девушки тут ни при чем, – пыталась переспорить подругу Елена. – Убежденные холостяки, как правило, очень привередливы. К браку они относятся или скептически, или критически. Впрочем, это почти одно и то же.

– Значит, нам с тобой не светит выйти замуж за холостяка, раз они все кретины. Остается остервенеть, причем остервенелость в данном случае от слова «стервы», затем развести какого-нибудь добропорядочного мужика с его бабцой и женить на себе, – заключила без всяких обиняков Светка, которая год назад сама развелась.

– Ага! Для этого дела я рекомендую подыскать нам с тобой орла-стервятника, который питается одними стервами, – пошутила Елена...

На следующий день в назначенный час Елена снова предстала перед Валентиной Сергеевной. Едва проворчав приветствие, секретарь, изящным движением руки поправив на груди блузку с глубоким вырезом, сухо произнесла:

– Учтите, милочка, на работе никаких флиртов, никаких романов, понятно? Владислав Иванович этого не любит. Проводив новую сотрудницу до кабинета, где располагалась бухгалтерия, она распахнула дверь и, бросив внутрь: принимайте! – тотчас ушла прочь, виляя бедрами, словно двигалась по подиуму. Глядя ей вслед, Елена с сожалением подумала: «Наверное, в ее семье тоже что-то не ладится, бедненькая...»

В бухгалтерии новую сотрудницу приняли сдер-



жанно. Кроме Елены в кабинете сидело еще трое человек. Она умела сходиться с людьми и довольно скоро адаптировалась на новом месте. Главным бухгалтером здесь была Вера Ивановна. Женщине было немногим за сорок. К своим обязанностям она относилась ответственно. Приходила, как правило, раньше всех, уходила последней. Не сказать, что сильно любила работу, просто жила вдвоем с матерью, с которой у нее были непростые отношения, и возвращаться в свою однокомнатную квартиру не торопилась. Вера Ивановна выделялась от всех довольно полной фигурой и какой-то флегматичностью. Даже речь ее была вязкой, словно она жеманилась. Одевалась главбух всегда в одни и те же тона, в основном серо-коричневые. Вера Ивановна Елену невлюбила сразу, впрочем, как не любила и остальных. Она вообще к молодым женщинам относилась враждебно, что плохо скрывала.

Красавица Екатерина – длинноволосая блондинка с томным взглядом и пухлыми губами – была самой молодой среди них. За кулисами рабочего кабинета девушка называла их руководительницу не иначе как овцой. «Сидит, понимаешь, в своем углу и блеет: рабооотайте, рабооотайте! – говорила она шепотом Елене, когда та впервые вышла с ними в курилку. – Никакой жизни! Только ухмыляется, если мы с Надькой про мужиков разговариваем. А чего ухмыляться? Сама, небось, пару раз всего пробовала в жизни, что это такое». – «Зато ты у нас напробова-лась, – заступилась вдруг за главбуха Надежда – третья из новых коллег Елены. Она была ровесницей Елены и старалась вести себя более сдержанно, как и подобает замужней женщине. – Смотри, так и замуж не выйдешь. Кому такая, с «пробами», нужна». – «А ты не завидуй! Я – свободная женщина и могу позволить себе немного лишнего. Вот выйду замуж, тогда стану как ты – злой и вредной», – отшучивалась

Катя. За год совместной работы эти две женщины так и не стали подругами, и тому была причина.

– Смотри, у нас тут все по-простому, – учила Екатерина Елену. – На «вы» мы только к шефу и к этой овце Веруньке. – Правда, секретутка Валька иногда тоже требует, чтобы к ней по имени-отчеству обращались, но ты на ее выпендрежи не очень-то реагируй. Это у нее по настроению. Если поссорится с мужем – он, кстати, у нас одним из замов шефа работает – тогда злыдня-злыдней приходит на работу. А так Валька ничего, нормальная.

– А почему «секретутка»? Валентина что, спит с директором? – как бы без интереса спросила Елена.

При этих словах обеих женщин – Екатерину и Надежду – передернуло.

– Еще чего! – возмутилась младшая. – Может эта стерва и хочет, да Влад от нее нос воротит. Валька – жена Ленки, его зама. Они вроде друзья.

– А че, это кого-нибудь останавливало? – глубоко, по-мужицки затягиваясь дымом, многозначительно ухмыльнулась Надежда.

– Неа, не спит. Я это точно знаю. А секретутка... Да просто секретутка и все! Все они стукачки и подлизы, – злобно заметила Екатерина.

– Все-то ты знаешь, – бросила Надежда и, задушив окурок, отправилась в кабинет, успев добавить: – Владька – стрелок! Стреляет по бабам в лет.

– Ага! И некоторые не прочь быть подстрелены, – хихикнула Екатерина, то ли намекая про себя, то ли имея в виду саму Надежду.

Елена также намеревалась вернуться к работе, но Екатерина придержала ее за локоть.

– Не обращай внимания на Надьку. Это она от злости. Одно время встречалась с Владом, да только кинул он ее.

– С директором? Она же замужем!

– И че?..



С самого начала Елена настороженно отнеслась ко всем. В коллективах ей труднее всего было общаться именно с женщинами. Приблизить кого и станет дерзкой, удалишь – озлобится. Молодые сотрудницы довольно часто посещали курилку, что беспрестанно злило некурящую Веру Ивановну. «Вы больше курите, чем работаете!» – возмущалась главбух. Но именно в курилке обычно и узнаешь многое про всех: кто чем дышит, чем живет, против кого склоку ведет. Часто в курилке к ним присоединялись мужчины из торгового отдела, и тогда женщины преображались. Катерина непременно начинала с кем-нибудь заигрывать. Не отставала от нее и Надежда. Остывали они лишь тогда, когда к ним присоединялась Валентина. Секретарь тоже любила подымить.

Скоро Елена уже знала, что еще не обремененная семейными узами, Катерина свободное время обычно проводила либо на всяких тусовках в ночных клубах, либо в тренажерном зале. Семейная Надежда, склонная к полноте, едва выделялся час-другой также бежала в фитнес-центр, где изнуряла себя тренировками.

Услыхав, что Елена ничего не делает для поддержания своей фигуры, Екатерина смотрела на нее с завистью:

– Пять баллов, Ленчик, пять баллов! Фигура – просто отпад!

Любимым занятием секретарши Валентины, имевшей двоих детей-дошколят, с которыми, в основном, занималась свекровь, было посещение косметолога и шоппинг. «Сидеть дома и подтирать малышне сопли – это не мое, – говаривала женщина. – Жить надо пока молоды!»

Ее супруга, Леонида Александровича, в бухгалтерии, куда тот любил частенько заглядывать, все называли по-свойски – Лёней. Вернувшись накануне из очередной командировки по области и узнав о но-

вой сотруднице, тот буквально вихрем влетел к ним. Замдиректора не любил откладывать знакомства на потом. Кругленький как колобок, он оказался весьма подвижным, быстро перемещаясь от стола к столу.

– Ну, давайте знакомиться, что ли: Леонид Александрович! – наконец остановившись перед Еленой, представился он, и, включая все свое обаяние, прильнул губами к ее руке. Судя по тому, как загорелись его глаза, женщина ему явно понравилась. Не отпуская руки, он продолжал: – Нет, не разучилась еще русская земля рождать таких прелестниц! Ладно, уговорили: если будете вести себя хорошо, можете обращаться ко мне просто – Лёня! – пошутил он.

– А хорошо – это как? – смутилась женщина, мило улыбнувшись в ответ.

– Ой, девчонки! – Леонид артистично сложил ладошки на груди, явно подсмотрев этот жест у кого-то из киногероев. Похоже, ему нравилось примерять на себя различные роли. – Она покраснела! Какая прелесть! Оказывается, есть еще женщины в русских деревнях, которые умеют краснеть, а вот вы, дамочки, – он повернулся к остальным, – разучились меняться в лице! М-да! Ну, разве что Верванна бледнеет, когда видит меня.

– Это мне от вашей мужской харизмы дурно становится, – вяло подала голос главбух.

Леонид, привыкший, что при его появлении Вера Ивановна обычно молчит, не ожидал такого выпада в свой адрес. Поставленный в неловкое положение перед остальными женщинами, он несколько секунд нервно раскачивался из стороны в сторону как ванька-встанька, затем, подкатив к ней, схватил за руку, словно намеревался прощупать пульс.

– Дурно говорите? Точно, точно! М-да, зашкаливает. Ну так этому, Верванна, есть объяснение! Пусть я, как говорится, и не Джеймс Бонд, но и в моем присутствии у некоторых женщин случается учащенное



сердцебиение. М-да! При этом, надо сказать, многие краснеют. – Тут он почему-то посмотрел на Елену.

– А приступов падучей у ваших дамочек, случаем, не наблюдалось? – съязвила Вера Ивановна, судорожно выдергивая свою руку обратно, чем вызвала общий хохот. – Может мне следует подушку с собой носить?

– Злая вы, Ворчунья Ивановна, – сокрушенно покачал головой Леонид, продолжая бросать короткие взгляды на новую сотрудницу. – Давно хотел уволить вас за ваш сарказм, да вы же у нас незаменимая! Ну да ладно, работайте пока, бог с вами.

– Благодарствую, барин! – буркнула Вера Ивановна. – Не знала, что у нас поменялся директор.

Есть люди, которые непременно хотят всем нравиться. Леонид явно был одним из них. Пропуская мимо ушей колкости Веры Ивановны, он, как ни в чем не бывало, рассказал парочку свежих анекдотов с пошловатым подтекстом, чем вызвал дикий хохот у Екатерины.

– Пять баллов, Лёничка, пять баллов!

– О, у кого что болит, тот о том и говорит! – съязвила Вера Ивановна, демонстративно зарываясь в свои бумаги.

– Да у нас все в порядке, Верочка Ивановна, – отмахнулся от нее, словно от назойливой мухи, Леонид, которому надоели ее язвительные выпады. – А вот у вас характер портится от оди-но-чества! – вдруг протянул он голосом режиссера Никиты Михалкова, картинно поправляя свой галстук крикливо-желтого цвета. – Да-да! Вот если бы вам было кому погладить сорочку или, там, завязать галстук перед работой, то вы бы знали, что с мужчинами так обращаться нельзя. Нель-зя, Вера Ивановна! Нель-зя! Надо вас срочно выдать замуж.

– Хватит вам и одному такой ошейник носить, – буркнула главбух, делая вид, что занимается рабо-

той. – Буду я еще своему любимому мужчине напяливать удавку цвета детской неожиданности.

– А, ха-ха, вот вы и не правы! – продолжал раздаваться в их помещении голос Михалкова. – Любимого мужчину еще надо иметь. Опять же, были бы замужем, знали бы, что это – последний писк моды!

– Ото и вижу, что одни пискуны носят! – Женщина захлопнула журнал, явно готовясь переходить в решительное наступление.

Не желая далее переводить ситуацию в скандал, Леонид помахал на прощание всем пухлой ладошкой и, не стирая с лица вымученную улыбку, удалился, успев напоследок еще раз сострить:

– Чувствую, Вержанна, что скоро придется вызывать вам неотложку. Столько желчи собралось в вашем желчном пузыре, столько желчи!

– Ничего, я не жадная, поделюсь с вами, дорогой вы наш модный пискунец!

Едва вслед за побагровевшим затылком мужчины закрылась дверь, Надежда, восхищенная остроловием своей начальницы, воскликнула:

– Вы сегодня в ударе, Вера Ивановна! Как вы его отбрили четко!

– Хлыщ, – только и сказала женщина и снова погрузилась в свои бумаги. Ее лицо также горело пламенем.

– А мне его почему-то жалко стало! – вздохнула Елена, смущаясь от того, что явилась невольной свидетельницей этого спектакля. – Человек зашел такой веселый, а вы его...

– Хлыщ! – снова буркнула Вера Ивановна. – А ты, Катька, дура!..

Однако не со всеми мужчинами, кто заходил к ним в кабинет, главный бухгалтер вела себя столь нелюбезно. Некоторые явно вызывали в ней плохо скрываемую симпатию, и тогда она преображалась на глазах. Вера Ивановна отводила свои широкие



плечи назад, выпрямляла спину. Выслушивая собеседника, она, совсем как девчонка, надувала губки, умудряясь при этом втянуть пухлые щеки внутрь, пытаясь таким образом придать своему лицу худощавость. Но, как только мужчина покидал ее общество, лицо Веры Ивановны снова сдувалось, глаза тускнели, фигура съеживалась. Как большинство одиноких женщин, она вечно томилась какой-то печальной жадной любви.

Подсматривая в такие минуты за ней, Катерина с Надеждой многозначительно перемигивались, что, естественно, не ускользало от вездесущего взгляда их начальницы, и тогда она еще больше злилась на них.

Главному бухгалтеру тяжело работалось в одном помещении с молодыми сотрудницами, но Вера Ивановна никогда не соглашалась переехать в отдельный кабинет, положенный ей по статусу, чем безмерно огорчала остальных. Она страдала от любого одиночества.

Очень скоро Вера Ивановна убедилась, что новая сотрудница так же добросовестно исполняет свои обязанности, как и она сама, и начала нагружать ее дополнительной работой. Теперь чаще всех на работе задерживалась Елена.

– Ничего, – говорила Вера Ивановна, успокаивая Елену. – Чую, скоро и ты начнешь по загранкам мотаться, вот там и отоспишься. – При этом она как-то странно кривила губы. – Всяк, кто там побывал, потом ленится работать. Конечно, кто же после такого... хм... заставит! А мне что, пахать за всех? Нечего! Работай, покамест.

Елена не понимала ее намеков и продолжала добросовестно трудиться так, как умела, благодаря судьбу за то, что имела мать, которая помогала с ребенком. Ангелина Андреевна старалась во всем помогать дочери, особенно после ее развода.

Несколько раз после окончания рабочего дня Елену в кабинете заставлял Леонид, якобы забегавший в офис по делам. Каждый раз он пытался флиртовать с ней. Поначалу замдиректора вел себя осторожно, действуя в привычной для него манере – через шуточки-прибауточки. Нетрудно было догадаться, что нужно ему от новенькой хорошенькой сотрудницы. «В этом человеке наружный лоск затмил всю его прогнившую суть», – так очень скоро охарактеризовала Елена для себя Леонида.

Этот человек, видимо, привык жить по принципу: земля крутится, и мы вертимся. Он старался взять от жизни все по максимуму. Как-то вечером замдиректора снова появился в ее кабинете. От него пахло дорогим парфюмом и коньяком. В этот раз Леонид решил действовать решительно, очевидно, искренне полагая, что неотразим. Но, позволив своим рукам лишнее, тут же получил звонкую пощечину, после чего как-то неожиданно быстро сник и ретировался. Уже из коридора, явно перепуганный, он просил Елену не рассказывать о случившемся супруге. С трудом совладав с охватившими ее негативными эмоциями, она ухмыльнулась, – и куда только подевался весь его лоск? – но пообещала. Одарив ее одной из своих дежурных улыбок, в которой, впрочем, Елена увидела трусоватое заискивание, Леонид исчез. «Действительно, хлыщ!» – неожиданно согласилась она с выражением Веры Ивановны.

Как-то вечером, когда Елена снова оставалась одна в кабинете, неожиданно вошел Владислав Иванович. Директор и в рабочее-то время не часто бывал у них, поэтому его визит женщину насторожил. Удивившись, что застал Елену в столь поздний час, Владислав Иванович отметил ее трудолюбие и, пообещав поощрить за сверхурочную работу премиальными, удалился. После этого он еще пару раз заставлял Елену после окончания рабочего дня. Обычно, поздоровав-



шись с ней, директор на несколько минут проходил к себе в кабинет и вскорости покидал офис. Но однажды Владислав Иванович пригласил Елену к себе, предложив чай. Сначала женщину насторожил такой жест с его стороны, но директор вел себя чрезвычайно корректно, и скоро она стала относиться к его участвовавшим предложениям посидеть за чашечкой чая спокойно. В такие минуты, болтая обо всем на свете, Владислав Иванович непременно справлялся о ее ребенке, что глубоко трогало молодую женщину.

Один-два раза в месяц директор вылетал в Стамбул, где у фирмы были налажены партнерские отношения с местными бизнесменами. Как правило, в таких поездках его обязательно сопровождал бухгалтер. Долгое время это была Надежда. Она охотно соглашалась на командировки. Подобные поездки позволяли ей хоть на короткое время отдохнуть от семьи и рутинной работы. Однако с появлением год назад Екатерины Владислав Иванович стал все реже брать Надежду с собой, мотивируя это тем, что негоже отрывать ее от семьи. Полагая, что всему виной Екатерина, Надежда затаила на девушку злобу.

На днях намечалась очередная командировка, о чем заранее сообщила Валентина, как всегда входя к ним в кабинет с угрюмым выражением лица. «Не забудь документы взять! – предупредила секретарь Екатерину, недобро сверкая глазами. – Билеты уже заказаны на послезавтра». Девушка тут же привычно переложила часть своей работы на коллег. Надежда с трудом скрывала свое негодование. В тот же день втайне от Екатерины она попыталась упротить Владислава Ивановича взять в эту поездку ее, но директор, как всегда мягко улыбаясь, остался непреклонен. Счастливая Катюшка, догадавшаяся о ее визите в кабинет главного, едва прятала ухмылку.

Зная об их тайной вражде, Вера Ивановна многозначительно бросила:

– А все-таки хорошо быть молоденькой козочкой с длинными ножками!

После нескольких совместных чаепитий и дружеских бесед Владислав Иванович показался Елене порядочным человеком, и грязные намеки Веры Ивановны не нравились ей. В складывающихся отношениях между нею и директором не было места флирту, о чем Елена, как женщина, возможно, немного сожалела. Все же, Владислав был очень красив! «Некоторым женщинам свойственно обливать мужчин грязью», – защищала она его про себя.

– Не завидуйте, не завидуйте, – ворковала тем временем возле главбуха Катя, собирая нужные к поездке бумаги. – Я же понимаю, что и мой век будет коротким, как у Нади. Вот появится кто-то новый и... фюить, буду и я потом сидеть сиднем на этом проклятом стуле до глубокой старости, если, конечно, к тому времени не выйду замуж за нашего шефа, ну, или за какого-нибудь старого олигарха. Лучше, конечно, за их сыновей. Ау, где вы? – вопрошала она громко, складывая бланки в папку. – Нет, нету! Все уже разобраны дочками магнатов или модельками.

– Хм, появится! Может, уже появилась? – буркнула Вера Ивановна.

В наступившей тишине все неволью обратили свои взоры на Елену. Оглядев ее, Екатерина лишь улыбнулась.

– Ну-ну! – Похоже, Елену как соперницу, она в расчет не брала. – Прав Леонид, Вера Ивановна, злая вы! – сказала Катя. – На все пять баллов злая. Портите своими сплетнями людям жизнь.

По-женски задетая равнодушным взглядом этой молодой пигалицы, Елена впервые возмутилась:

– Не знаю, что у вас там за дела в поездках, но меня, прошу, в это не впутывать!

– Тебя, Леночка, никто и не впутывает! – захлопала накладными ресницами Екатерина. – А что у



нас там за дела... – Она лукаво улыбнулась. – Знаешь, Стамбул – это такой город! Там столько любви!

– Так вы туда по делам выезжаете или за любовь? – Теперь уже Елена смотрела на нее вызывающе.

– Догадайся с первого раза!

– Ну, за этим нехитрым делом совсем необязательно летать так далеко.

– Наша Катенька надеется, что Влад ее замуж позовет! – снова подала голос главбух.

Они оставались втроем. Надежда давно покинула кабинет и теперь нервно дымила в курилке.

– Всё же вы мне завидуете, Вера Ивановна, – деловито перекладывая стопки с документами со стола в тумбочку, нарочито спокойно сказала Екатерина. – Это у вас от неудовлетворенности.

– Ага, сейчас, разбежалась завидовать!

– Завидуете, завидуете. – Девушка медленно встала в проходе между столами и демонстративно провела руками по своим бедрам, туго обтянутым джинсами. – А что: я молода, хороша собой! Таких, как я, мужчины хотят.

– Фу, как пошло! – Вера Ивановна скривилась, еще ниже согнувшись над своими бумажками.

Катерина села на место. Неожиданно ухмылка сошла с ее лица.

– Это не пошлость, Верванна, а правда жизни. Валентина права. Пока мы молодые и красивые, надо пользоваться этим. Потом будет поздно. Да вы и сами все знаете. Потом эти кобели находят себе других, а мы выходим в тираж.

Елене показалось, что глаза девушки в этот момент наполнились слезами. Ей стало жалко ее.

– Дурында, тебе еще замуж выходить! – продолжала тем временем назидательным тоном главбух. – Кто же тебя такую порченую возьмет? Земля слухами полнится! Владька, вон, попользуется и бросит, как Надьку бросил...

– Это я им пользуюсь, понятно! – закричала Екатерина и выскочила в коридор, на ходу вытирая слезы.

– Прямо Санта-Барбара местного разлива со своим змеиным клубочком! – заметила Елена, когда они остались вдвоем с Верой Ивановной.

– Скажешь тоже! Все нормально, все как в жизни, – пробубнила начальница.

– Зря вы так: дурында, порченная. В конце концов, они с Надей взрослые женщины и это их личное дело с кем спать. Не хотели бы – не ездили с директором.

– Ну как не ездить? Дела-то надо делать! Не увольняться же с работы! Да и не думаю, что это оправдано. Катька... Она красивая! Куда не пойдет – везде найдется свинья, которая захочет оприходовать такую девку. Я ей пытаюсь это вдолбить, да она не понимает, злится.

– Кабан!

– Чё кабан?

– Кабан, Вера Ивановна. Он – самец.

– А, ну да, кабан, будь он неладен, свинья вонючая. Влад-то сам в делах фирмы не бельмеса, вот и возит с собой бухгалтера. Ну не меня же ему брать в этот самый Стамбул? – Женщина в сердцах захлопнула гроссбух. – Фирму ему отец подарил, чтобы занять своего отпрыска делом. Я еще у старшего работала. Вот и оставил он меня, чтобы приглядывала за сынком, да не допустила разорения фирмы. Это сейчас Владик весь из себя рес... как его... респектабельный, а еще совсем недавно тунеядствовал, связавшись с какой-то шоблой. Паразит паразитом был! Весь в амурах да тужурах. На полном серьезе думал, что дебит с кредитом – это из мира, как их там... креативных причесок.

– Я понимаю: Катя – свободная! Но зачем Надя соглашалась на это? – недоумевала Елена. – У нее ведь муж есть!



– Ха, муж, объелся груш! Ты бы видела этого мужа! Моль. С таким и в постель стыдно ложиться, а тут – Владька: красавец, городской, с манерами. Ухаживать умеет, наверное.

– Раз вышла замуж, значит, полюбила!

– Полюбила! Ой, я вас умоляю! Квартиру она его полюбила да прописку городскую. Девке из деревни нужно было вырваться.

Елена знала, что давным-давно Вера Ивановна и сама переехала в город из села. Получив образование, здесь и осталась в надежде на личное счастье. Пока не получалось, а годы бежали, вот и злилась по всякому поводу. И словечки некоторые у неё остались из той, прошлой жизни. Даже многолетняя жизнь в городе не смогла до конца искоренить их из ее лексикона.

– Паскудно как-то на душе! – сказала Вера Ивановна, уставившись в окно.

– Неужели муж Надежды ни о чем не догадывается?

– Чего ему догадываться, он все знает. Только некоторым мужикам выгодно так жить, делая вид, что ничего не замечают. Так они оправдываются в своей слабости. – Вера Ивановна безуспешно пыталась снова погрузиться в свои счета. – С ленцой мужик у Надьки. Хмырь, одним словом. Живет, считай, за ее счет. Зарплата-то у ней хорошая! Слушай, а я знаю, что надо делать! – вдруг встрепенулась она. – Это тебе надо с Владиславом ехать! А что: ты женщина серьезная, замужем побывала, дитя имеешь. Опять же, не щенячьего возраста, как Катька. Владька тебя стесняться будет. Глядишь и повзрослеет на радость своему папашке. Пора уж давно с инфантильностью своей распрощаться. А то все по юбкам да по качалкам шастает. Катька что – любовный ветер в юбчонке гуляет, да бабочки в животе волнуют!

– С чего вы взяли, что он кого-то будет стесняться? Да и не буду я ездить с ним.

– Да ты не бойся! – хохотнула начальница. – Ты не в его вкусе; приставать не будет. Это я при Катке специально на тебя указала, позлить. Опять же, поедешь – для дела польза одна. – Она решительно встала из-за стола. – Я переговорю с ним!

– Даже не вздумайте! – Нелестная оценка начальницы о ней, как о женщине, недостойной вкуса директора, задела Елену. С тактом у Веры Ивановны было совсем скверно. – И потом, у меня тоже маленький ребенок!

– Эка невидаль! Ты думаешь, он Надьку и вправду перестал брать с собой из-за ее детей? Да ты глянь на нее – деревня деревней! Только прикид сверху городской напялила, а сама пирожками домашними пахнет. А Катка... Эта и одеться умеет, и поднести себя. С такой не только в Стамбул – в Париж не стыдно ехать. Ты тоже, смотрю, модница-курортница.

– Не думала, что Владислав Иванович такой... – Елена пыталась подобрать слова. – Он мне показался...

– Какой такой? Нормальный мужик! Разве он виноват, что бабы сами к нему липнут?

– Но спать без разбора со своими сотрудницами...

– Э, да ты что, Ленка, с луны свалилась? Моральничаешь? В какое время живем?! Сейчас везде так...

– Я так не думаю...

Случилось так, как и предсказала Вера Ивановна. Очевидно, не обошлось без ее вмешательства. В последнее время молодая фаворитка директора расслабилась и погрязла в бумажной волоките. Привычка Екатерины перекладывать часть своей работы на других, на этот раз успехом не увенчалась. Главбух решительно воспротивилась, и Екатерине пришлось самой заниматься документами. Прислушавшись к своей старшей помощнице, Владислав Иванович потребовал, чтобы в этот раз его в поездке сопровождала Елена.



Отказаться от командировки она не решилась. Это могло испортить отношения с руководителем фирмы, в которой Елена проработала всего ничего. Поездка оказалась удачной. Они с Владиславом Ивановичем заключили несколько важных договоров со своими заграничными партнерами, что давало их фирме новые возможности. Вопреки мнению Веры Ивановны, переговоры директор провел блестяще, свободно владея английским языком. Очевидно, за последнее время он неплохо изучил свой бизнес и поднаторел в бумагах.

Вечером, после сделки, как это было заведено, местные бизнесмены пригласили их в ресторан. За столом с присущей ему галантностью Владислав Иванович ухаживал за своей помощницей, ни разу не допустив в ее адрес какой-либо фривольности. После ужина, распрощавшись с партнерами, он предложил своей спутнице прогуляться по ночным улочкам старинного города. Елена не колеблясь приняла приглашение.

В ее душе боролись два чувства. С одной стороны, пользуясь случаем, она действительно хотела увидеть ночной Стамбул, воспетый поэтами. С другой, несмотря на усталость, женщина не торопилась возвращаться в гостиницу. Она боялась, что все закончится банальным приставанием, ведь наверняка не только ради оформления новых документов Влад взял ее с собой.

С самого начала она опасалась этой поездки и старалась вести себя максимально осторожно, чтобы даже намеком не дать повод своему директору к ухаживаниям. Но ее опасения не оправдались. Они провели чудесный вечер. Владислав Иванович хорошо знал город, много и увлеченно рассказывал о нем, успевая деликатно интересоваться прошлой жизнью Елены. Тактичное обхождение всегда трогает женщину.

Вера Ивановна оказалась права: Владислав действительно умел ухаживать. В гостинице их номера оказались в разных концах коридора. Проводив сотрудницу до ее двери, директор остановился. Елена насторожилась, ожидая от него каких-то слов или определенных действий. Она не горела желанием становиться его очередной фавориткой, поэтому намеревалась дать отпор, как можно деликатно, но решительно. Однако, пожелав хорошего сна, Владислав Иванович тут же удалился. Похоже, он умел выжидать или... Или Вера Ивановна была права, и Елена ему как женщина, действительно, не приглянулась.

Уже потом, после душа, когда вконец утомленная долгим днем Елена упала в постель и смотрела в окно на южное предутреннее небо, усыпанное бледными веснушками звезд, она стала размышлять, вспоминая весь день: «Надо же, ни словом не намекнул на близость!» Нет, Елена совсем не жаждала его ухаживаний, но и так, совсем не замечать в ней женщину... «Неужели я ему, действительно, не нравлюсь?» – смыкая веки, думала она.

Их поездка вскорости повторилась. И снова Владислав Иванович был безупречен. В этот раз он специально отвел один лишний день на то, чтобы показать Елене другой Стамбул, тот, о существовании которого обычные туристы не знают.

Быстро уладив все свои дела, они на пароме переправились в азиатскую часть города и, взяв такси, понеслись в сторону новых фешенебельных кварталов. Такого количества ресторанчиков Елена не видела никогда. Казалось, что их здесь сотни. Похоже, Владислав Иванович знал, куда везти свою спутницу. Отпустив такси, они вошли в зал, украшенный в роскошном дворцовом стиле султанов Османской империи. Увидев отнюдь не бутафорское великолепие убранства, Елена не сдержала восхищения:

– Как же здесь красиво!



Улыбка осветила лицо директора. Откуда-то сбоку к ним подскочил молодой турок и, почти-точно склонившись перед гостями, попросил следовать за ним. Их усадили в маленьком зальчике прямо на ковры, подсунув под спину многочисленные подушки для удобства. Тотчас рядом с ними расположились две молодые женщины в красочных национальных одеяниях и прямо на глазах гостей принялись выполнять заказ.

Это было завораживающее зрелище. Пока одна из турчанок растапливала необычной формы печурку, другая принялась за блюдо. Покрошив на дно глиняной посуды, похожей на прямоугольную сковороду с низкими бортиками, лаваш, она посыпала сверху мелко нарубленной баранины и, залив все йогуртом, положила сверху самые маленькие колбаски, какие только можно представить. Все это было обильно сдобрено различными специями и помещено в печь. Пока основное блюдо готовилось, гостям принесли всевозможные закуски и напитки.

Владислав незаметно наблюдал за Еленой. Изящно подогнув ноги, женщина сидела совсем близко. Запах ее парфюма волновал мужчину.

Перехватив его взгляд, Елена воскликнула:

– Это же очень дорого, Владислав Иванович! Да и куда столько еды?

– О, совсем необязательно все это есть, – благодушно улыбнулся тот. – Но, поверьте, Леночка, мы ничего не оставим. Это о-очень вкусно!..

Назад, в европейскую часть Стамбула, они возвращались поздно вечером, полдня просидев в сказочном ресторане, где слушали живую музыку прошлых времен и смотрели, как молодые мужчины и женщины танцуют зажигательные танцы Востока. Елена была зачарована зрелищем и... сама была очаровательна. Весь вечер Владислав Иванович не отводил от нее глаз.

Как и в прошлый раз, сегодняшний день на этом не заканчивался. Возвращаться в гостиницу было еще рано, и директор предложил своей спутнице посетить чайное кафе, которое располагалось прямо напротив знаменитого пролива и было особо популярно как у местных, так и у приезжих.

Расположившись на высокой террасе, молодые люди наслаждались потрясающим видом на вечерний Босфор, где величаво проплывали огромные океанские лайнеры, а над их терраской к зажигающимся на небе звездам поднимались величественные стены знаменитого храма Святой Софии.

Пара непринужденно беседовала обо всем на свете. Иногда они переходили на воспоминания о своем детстве и юности. Елена была счастлива. Лишь раза два на мгновение где-то глубоко в голове вспыхнуло: «Вот, гаденыш, как же он красиво ухаживает! Теперь я понимаю, почему перед ним не устояли ни Надя, ни Катя». Но эта мысль тут же улетучивалась. «Ну и бог с ним, – думала она, хмелея без вина. – В конце концов мы взрослые люди и оба свободны, и если этому суждено случиться, то почему не здесь, в этом сказочном городе?! А ведь Катя была права: Стамбул – волшебное место!

Испугавшись своих мыслей, Елена тут же прогоняла их. Она прекрасно понимала, что в ее положении с ребенком на руках вряд ли можно рассчитывать на серьезное внимание со стороны такого человека, как Владислав Иванович, а на легкое развлечение Елена все же не была настроена. Но в ее груди, похоже, зарождалось влечение к этому человеку, и оно таило неизъяснимое очарование.

Словно услышав ее мысли, мужчина достал из кармана небольшую коробочку и протянул ей на ладони.

– Леночка, чуть не забыл! Взял для вашей дочки. Думаю, эта штукавина из девятнадцатого века понра-



вится девочке. Продавец утверждал, что этим методом игрались дети какого-то знатного вельможи.

Елена насторожилась. Кажется, начиналось то, чего она боялась – ресторан, подарки – но Владислав Иванович был так естественен и... мил! Она открыла коробочку, где находилась небольшая черепашка из неизвестного ей черного камня с зелеными глазами. «Так вот почему он исчез сегодня днем! – подумала Елена. – Ходил в антикварный магазин! Неужели специально, чтобы сделать мне приятно?» Она все еще не решалась принять столь изысканный подарок.

– Владислав Иванович, – начала она...

– Просто Влад, – предложил он. – Мы сейчас не на работе.

– Хорошо, Влад. И все же, это очень дорогой подарок для маленького ребенка!

– Ничего. Отдадите, когда подрастет. Заметьте: это вашей дочке! Вам я не рискнул бы предложить что-либо, кроме хорошего обеда или ужина. Думаю, вы слишком гордая!

– Вы правы: я не принимаю подарков от мужчин, – сказала Елена. – Мне кажется, что это будет обязывать меня...

Он махнул рукой:

– Ни к чему это вас не будет обязывать, поверьте. Просто захотелось что-то подарить на память о Стамбуле. Хочу обратить ваше внимание на эти зеленые камушки-глаза, – сказал он, прервав возникшую паузу. Взяв черепашку из ее рук, Влад, как бы невзначай, нежно коснулся ее пальцев. – Это редкий оттенок незрелого граната. – Подержав фигурку на весу, Влад вернул черепашку новой хозяйке, снова дотронувшись до ее руки. – Сегодня мы с вами заключили один очень важный для фирмы контракт, так что я могу позволить себе небольшие траты. К тому же, это не так дорого, как может показаться.

Елена не смогла отказаться от подарка, предназначенного ее дочке. Еще немного посидев, они на-

правились в сторону отеля. Чудесный вечер заканчивался и все шло к какому-то завершению. Елена задумалась. В ее голове снова боролись два чувства. Она не знала, как отказать директору, чтобы не обидеть, если тот будет настойчив, и не понимала сама до конца, чего хочет. Как и в первый раз положение спас сам Влад. Заметив на ее лице появившуюся грусть, он лишь на мгновение остановился у ее двери.

– Сегодня был чудесный день! – проронил Влад и, поравнявшись, быстрым легким прикосновением сорвал с ее губ короткий поцелуй.

Кивнув на прощание, он быстро удалился. Елена едва успела прошептать в ответ: «Спасибо за вечер!» Ее лицо горело, ведь трепетнее ожидаемого поцелуя – поцелуй украдкой...

Вернувшись в свой город, каждый из них снова окунулся в привычную жизнь, работу, как будто не было чудесного стамбульского вечера и короткого, но такого многообещающего поцелуя. Екатерина с Надеждой разговаривали с ней сквозь зубы. Елена решила, что ей не за что оправдываться перед ними и погрузилась в текучку.

Но Елена чувствовала: в ее сердце снова поселился чувственный зародыш любви. И всему виной был этот легкий, почти невинный поцелуй. Лишь только по-крестьянски мудрая Вера Ивановна как-то странно поглядывала в ее сторону да прятала вечную ухмылку в своих тонких губах.

Любовь! Сколько об этом чувстве сложено поэм, написано романов, снято фильмов! Если подумать, то почти все, что делает человек, он делает для любви или во имя любви, порою сам этого не осознавая.

Странно, но после их возвращения Влад стал реже видеться с ней, словно избегал. Елена терялась в догадках. Но однажды вечером директор снова застал ее одну в офисе и, как и прежде, пригласил в свой кабинет на чашку чая. Признаться, она ждала



этого и охотно согласилась. Вместо чая Влад разлил по бокалам французское вино и предложил выпить с ним на брудершафт. Елена снова обманывала себя, что еще один невинный поцелуй ничего не значит...

Ах, зачем она села рядом с ним на этот чертов манящий диван в его кабинете, лишаящий рассудка даже такую зрелую умом женщину, каковой она себя считала?!

Все у них завертелось быстро: тайные встречи на работе поздними вечерами, отдельные квартиры, снимаемые Владом почасово, гостиничные номера, командировки в Стамбул. Естественно, теперь только Елена и выезжала с ним в Турцию. Она больше не обращала внимания на пересуды за своей спиной. Только раз, когда они с Владом возвращались из очередной командировки, Елена решила спросить о его прежних романах, но говорить об этом Влад не захотел. «Все, что было до тебя, – сказал он тогда, – утонуло в водах Босфора». В этих словах ей померещилось много чего обещающего, и она ждала.

Ждала серьезного предложения от своего нового возлюбленного. Да, она была влюблена. Естественно, скоро об их связи догадались все. Екатерина, когда-то поставившая перед собой цель женить Влада на себе, рвала и метала. Она все еще не отказывалась от своей мечты. Девушка была уверена, что своими чарами и превосходными внешними данными ей еще удастся вернуть былую благосклонность Владислава, а там немного поднажать и... «Можно даже попытаться стать его законной женой. А что! Для этого всего-то надо будет «залететь». Мужчины все трусы, – полагала Екатерина. – Беременность вводит их в ступор и тогда делай с ними все, что захочешь. Хочешь – в ЗАГС его веди, а нет – роди от него и тащи в суд и пусть обеспечивает своего отпрыска всю жизнь, а заодно и его мамашу». На эту мысль ее натолкнула популярная

у народа передача известного телеведущего на главном канале страны, который любил выносить на всеобщее обозрение грязное белье обывателей. Екатерина решила ждать удобного момента.

Надежда, казалось, успокоилась, вся погрузившись в семью. Как и прежде, в свободное от воспитания детей и работы время, она старалась поддерживать фигуру, изнуря себя до седьмого пота в тренажерном зале. Надежда не требовала от судьбы так много, как Екатерина, но втайне все еще мечтала о возобновлении совместных командировок с Владом в Стамбул, пусть хоть изредка.

Как-то неожиданно для всех удивительным образом похорошела Вера Ивановна. С легкой подачи рекламного проспекта, кем-то из вредности или сочувствия положенного ей на стол, она стала посещать салон красоты, изменив свою внешность до неузнаваемости. Веру Ивановну не портила даже излишняя полнота. Все чаще она появлялась на работе в новых нарядах. По-прежнему заходящий к ним Леонид, похоже, уже не вызывал у нее неприязни. Вера Ивановна благосклонно принимала его комплименты, совершенно при этом преображаясь. Скоро Елена поняла, что явило такие перемены в ее главбухе.

Обычно, закончив работу, она торопилась на остановку, расположенную прямо перед их офисом. Но как-то раз, решив прогуляться по вечернему городу, Елена завернула за угол и, пройдя квартал, увидела знакомую иномарку Леонида. Предположив, что замдиректора ждет свою жену, Елена побежала к машине, чтобы предупредить его: Валентина давно уехала домой. Она уже собиралась привлечь внимание Леонида, когда вдруг заметила, что он не один. В нависающих над городом сумерках Елена успела увидеть рядом с ним... Веру Ивановну. Пара предавалась страстным поцелуям. Опасаясь быть замеченной, она немедленно покинула это место.



Увиденное Елена держала в секрете, не рассказала об этом даже Владу, считая неприличным распространять слухи о своих коллегах. На работе, сидя в одном кабинете со своей руководительницей, ей, конечно, трудно было делать вид, что ничего не знает. Кажется, в тот вечер, увлеченные любовной игрой, замдиректора с главбухом не заметили ее. Встречаясь с Валентиной, она также старательно отводила глаза, боясь выдать себя. Ей, как женщине, было искренне жаль секретаршу, которой изменял муж. Валентина же, напротив, с каждым днем вела себя по отношению к ней все более нелюбезно. Елена терялась в догадках, почему.

Они уже давно не виделись с Владом. В последнее время он все чаще откладывал их встречи, ссылаясь на большую занятость. Это огорчало Елену, как и то обстоятельство, что, живя один, Влад никогда не приглашал ее к себе домой. Елена хотела получше узнать его в быту, быть может помочь. Любящая женщина всегда найдет, чем помочь мужчине в его холостяцкой квартире.

Сегодня был конец рабочей недели. На этот вечер Елена заранее приобрела билеты на концерт московской знаменитости. Ей хотелось сделать своему возлюбленному приятное. Она набрала знакомый номер телефона. Влад ответил сразу, но снова сослался на срочную занятость. Ему необходимо было по делам фирмы выехать в район. Елену это известие немного удивило. Обычно директор перекладывал эту обязанность на своих замов. «Сходи с кем-нибудь из подруг, – предложил Влад как всегда приветливым тоном, – и... готовься к командировке: в понедельник летим!»

Если с утра ей казалось, что их отношения охлаждаются, то после этих слов к ней снова вернулось хорошее настроение. «Значит, у нас все по-прежнему», – обрадовалась Елена и набрала номер Светланы – своей соседки.

Делясь впечатлениями от концерта, женщины пешком возвращались домой, благо расстояние было не велико. Маршрут проходил мимо Елениной работы. Свет в окне Владислава она заметила еще издали и несказанно обрадовалась. «Вернулся!» Елена решила, что непременно должна увидеться с любимым перед сном.

Попрощавшись с подругой, она вспорхнула на нужный этаж и, сняв грохочущие каблучками туфельки, тихо пробралась в приемную директора. Ей хотелось сделать ему сюрприз.

То, что Влад был не один, она поняла сразу: слишком характерные звуки доносились из кабинета. Ошеломленная, Елена застыла на месте, прижимая к груди туфельки. В первое мгновение она соображала, как поступить – удалиться незамеченной или же раскрыть свое присутствие. Но нет, быть обманутой любовником Елена не желала и решительно рванула дверь на себя. На знакомом ей диване, предаваясь любви, лежали Влад и... его секретарь Валентина.

Елене стоило больших усилий совладать со своими эмоциями. Собрав всю волю, она как можно естественнее улыбнулась.

– Закрывать надо, голубки! Даже скотный двор запирают на ночь, – произнесла она и быстро удалилась.

На следующий день, не объясняя причины, Елена подала заявление об увольнении. В любовном «треугольнике» всегда ведется двойная жизнь, где счастливы могут быть только двое, да и то, зачастую, недолго. И третьему лицу нужно вовремя покинуть эту геометрическую фигуру. Елена решила самоустраниться.

В душе она все еще надеялась, что Владислав попросит прощения, попытается объясниться, ведь их связывали несколько чудесных месяцев особых, как ей казалось, отношений. Но Влад не делал ни-



каких попыток встретиться, даже ни разу не позволил. Такое поведение мужчины особенно оскорбляло ее. «Словно ненужную вещь выбросил из своей жизни без сожаления», – мучилась Елена.

Она злилась на себя. В их отношениях с Владом не было зрелости, но Елена осознала это только сейчас. Связь между мужчиной и женщиной всегда приятная, если хотя бы один из них влюблен в другого, но всегда ненадежная, когда второй лишен этого чувства. Владислав, похоже, испытывал к женщинам влечение сродни спортивному – от победы к победе двигаясь дальше. Добившись своего, он переключался на новые цели. Такой подход к жизни при расставании давал мужчине возможность оправдаться перед женщинами, которых он бросал, но главное перед собой: «Дорогая, ты же сама этого хотела!»

Увольнению Елены почти открыто обрадовалась Надежда. Причины ее совсем не интересовали. Она была рада тому, что на одну соперницу станет меньше. Екатерина также встретила эту новость с нескрываемым восторгом, лишь на секунду заломив бровь: «О, ну зачем ты уходишь? Я только начала к тебе привыкать». Но уже через мгновение девушка сияла: «Ты знаешь, ну и правильно! Пять баллов тебе, подруга! Полный респект! Пора и мне сваливать из этого гадюшника», – и, показав «викторию», прошла мимо с улыбкой победительницы. Покидать фирму никто, естественно, не собирался.

И лишь одна Вера Ивановна тщетно пыталась удержать трудолюбивую и покладистую сотрудницу, пока своей настойчивостью не сумела вывести ту на откровенный разговор. Елена решила ничего не скрывать. Узнав, что ей известно о их романе с Леонидом, главбух раскрыла от удивления рот. Впрочем, это продолжалось совсем недолго. Мгновение спустя Вера Ивановна снова уткнулась в свои бумажки, всем своим видом показывая, что бывшая

сотрудница ее больше нисколько не интересуется.

Покидая бухгалтерию, Елене стоило большого труда изобразить на лице улыбку. На душе было мерзко...

И снова потянулись дни самоедства и безысходной тоски. Впрочем, на этот раз она довольно быстро пришла в себя. «Нужно научиться ко всему относиться проще», – рассуждала Елена, но...

Не каждый человек, даже очень миролюбивый, может без конца подставлять судьбе одну щеку за другой. Устав прощать, Елена надумала отомстить Владу, полагая, что тот поступил с ней подло. Вероятно, многие на ее месте решились бы на это. И тут, как говорится, характер мести зависит от воспитания и моральных качеств каждого обиженного...

За что мстят мужчины женщинам, если уж они идут на эту низость? Здесь надо заметить, что настоящие Мужчины женщинам не мстят. Они достойно уходят в сторону. Остальные же особи мужеского пола мстят за свою слабость, неумение нести в себе Мужчину, за свои низменные качества характера.

За что мстит мужчине женщина? Обычно она не мстит из-за страха. Но если все же осмелилась, то можно быть уверенным, причину для этого она всегда найдет. Чаще всего женщина мстит за измену. Ну, это понятно. Остается непонятным, почему многие обиженные женщины мстят и делают гадости сопернице, раз за разом находя оправдания своему мужчине. Еще некоторые современные львицы мстят своим бывшим мужьям, если те при разводе обделили их материально. Тут, как правило, они доводят дело до суда и даже могут нанять киллера. Но самая большая опасность исходит от женщины, которой мужчина отказал во взаимности. О! Тут ждите всего, на что способен ее изощренный ум. Владислав не был Елене мужем, и денежный вопрос между ними также не стоял, и все же она жаждала мести...



И снова она сидела в своем любимом кафе «Ретро», вдыхала аромат душистого напитка и, наслаждаясь пением давно позабытого всеми артиста из шестидесятых годов прошлого столетия, обдумывала план мести Владу.

...О ком мечтает юная Зизи? Мечтает ли она о своем гении? – раздавался из динамика веселый голос. – Его, конечно же, зовут Евгений! О нем мечтает юная Зизи...

Чего только не передумала она за эти дни. Как специалист, допущенный к бухгалтерским документам, оскорбленная Елена, уходя, конечно могла если уж не пустить по миру фирму Владислава, то здорово подпортить с финансовой стороны. Но она желала другого. Решение пришло неожиданно, едва ее взгляд остановился на салфетке, на которой был нарисован улыбающийся розовый поросенок. И в тот момент, когда голос сладкоголосого тенора поднялся на необозримые высоты, ее губы скривились в кривую ухмылку...

Сразу после новогодних праздников, когда все граждане страны возвращались к местам своей трудовой повинности, в известный офис фирмы, которая занималась продажей строительных материалов, прибыл нарочный. Молодой человек с приятной улыбкой на лице поздравил всех с прошедшими праздниками и вручил директору фирмы первый в этом году номер журнала... «Свиноводство», подаренный фирме неким тайным подписчиком. Вместе с журналом на стол руководителя легла маленькая коробочка, завернутая в яркую упаковку. Сделав свою работу, парень тут же удалился, бросив на прощание:

– Подписка годовая! Ждите очередные номера в первых числах каждого месяца.

Еще не вскрыв коробку, Владислав уже знал, что в ней лежит та самая маленькая черепашка с зелеными глазами.

От редакции

В нашем альманахе (№ 4 2011 г.) была напечатана статья А. Фокина и Р. Нутрихина «Был ли Коба в Ставрополе...» Публикация вызвала широкий резонанс и весьма разноречивые мнения. Нет необходимости говорить насколько важен для современной науки этот неизвестный факт из жизни бывшего «вождя всех народов». Сегодня мы возвращаемся к обсуждению возможного пребывания в краевом центре И. Сталина. Свои доводы высказывает кандидат исторических наук, известный краевед А. Кругов.

Не более чем миф...

Из публикации о Сургучевских чтениях в очередной раз узнал, что пребывание в нашем городе Иосифа Джугашвили в 1905 году стало историческим фактом. На этом мероприятии служители церкви говорили, что Илья Дмитриевич Сургучев приютил в своем доме тирана, и не случись, мол, этого, российская история пошла бы по иному пути. Мне, как историку, захотелось по этому по-



**АЛЕКСЕЙ
КРУГОВ**

Краеведение





воду высказаться – исключительно ради установления истины.

Итак, был ли Сталин в Ставрополе летом 1905 года? В «Краткой биографии» вождя об этом ни слова. В современных отечественных и зарубежных биографиях тоже. В Гори, в музее Сталина, об этом также ничего не знают и не слышали. Ясно, что в ставропольских, да и в столичных архивах искать что-либо бессмысленно. Короче, документов, прямо указывающих на пребывание молодого Сталина в нашем городе, нет. Ни одного.

Но есть опубликованный рассказ Владимира Унковского якобы о том, как в 1905 году в ставропольскую гостиницу «Калужское подворье» явился Иосиф Джугашвили. Эту историю о встрече будущего знаменитого писателя и будущего отца народов, напечатанную в мюнхенском журнале «Грани», без слез умиления читать просто нельзя:

– Что вам угодно?

– Позвольте отрекомендоваться: Иосиф Виссарионович Джугашвили. Я вчера бежал из Тифлиса, за мною следит полиция. Мне надобно временно пожить на нелегальном положении. Ваш дом считается в Ставрополе очень благонадежным, шпики сюда не рискнут заявиться. Не возьмете ли вы меня к себе поваром. Я отлично смыслю в кулинарии.

Я пошел к отцу.

– Какой-то Джугашвили – нелегальный – предлагает себя в повара.

– А ты спроси, умеет ли он готовить шашлык по-карски. Если умеет, мы его берем... И он стал служить...»

Что ж, впору на бывшем «Калужском подворье» вешать памятную доску: «Здесь, находясь

в глубоком подполье, готовил вкусный шашлык товарищ Сталин». Найдутся слова и для другой таблички: «Здесь, вооруженный револьвером, товарищ Сталин планировал пополнить партийную большевистскую кассу» – это уже про неудачное ограбление Государственного банка грузинскими бандитами летом того же 1905 года, о чем писали ставропольские газеты.

Согласно популярной версии, в том самом налете на банк участвовал и Сталин, но в отличие от своих поделельников сумел обмануть полицию, скрывшись в гостинице Сургучевых под видом повара. Жандармский ротмистр Владимир Карлович Фридрихов, узнав, какую «рыбу» упустил, наверное, в гробу перевернулся бы.

Обратите внимание на фразу: «Я вчера бежал из Тифлиса, за мною следит полиция...» От Тифлиса до Ставрополя, между прочим, более 500 верст. А если учесть, что путь лежал по Военно-Грузинской дороге, на лошадях... Что-то быстро домчал товарищ Сталин к нам, не иначе как партия остро нуждалась в финансах!

Впервые Джугашвили попал в тюрьму в 1902 году, в общей сложности пробыл в заключении, ссылках и на нелегальном положении пятнадцать лет.

Вплоть до революции он почти постоянно находился под наблюдением, за ним, как это водилось в охране, была закреплена кличка «Молочный». Вероятно, в рационе питания Иосифа Виссарионовича преобладали молочные продукты (к слову, Николай Бухарин имел прозвище «Сладкий»).

Сведения о поведении и передвижении «Молочного» регулярно передавались вышестояще-



му полицейскому начальству. В тюрьмах Батума, Кутаиса, Баку, Петербурга Сталин провел около пяти лет, где и приобрел партийную кличку Коба, что означает «неукротимый». Известный грузинский социалист Ражден Каладзе назвал молодого революционера кавказским Лениным. Только с 1912 г. свои статьи Джугашвили стал подписывать «Сталин».

Не был Коба «компанейским парнем»

Жизнь подпольщика – жизнь вечного беглеца – сделала Кобу холодным, расчетливым, подозрительным. Он постоянно был начеку, менял адреса, явки, пароли, а тут так запросто явился к незнакомым людям в Ставрополе, да еще представился настоящим именем!..

Заметьте, на этот шаг решается человек, который находился на нелегальном положении и, наверняка, имел на руках фальшивый паспорт – за свою жизнь товарищ Сталин сменил их несколько: на имя Чижикова, Каноса Нижрадзе, Оганеса Тотомянца, Закара Крикорьяна-Меликьянца.

Из рассказа Унковского следует, что Сургучев с поваром, «компанейским парнем», ходили по вечерам в театр, а потом спускались в погребок пропустить стаканчик кахетинского, читали друг другу стихи, – и так «проходили недели и месяцы». Надо сказать, что рассказ Унковского, вообще-то, единственное упоминание о пребывании Иосифа Джугашвили в нашем городе в 1905 году, все остальное – лишь попытка навести тень на плетень. Так, ничего не стоит «доказать», что сам Карл Маркс инкогнито встречал-

ся в Ставрополе с Германом Лопатиным, своим первым переводчиком «Капитала». И Владимир Ильич Ульянов-Ленин, возвращаясь из ссылки, сделал тайный марш-бросок на юг, дабы вдохновить на борьбу местных революционеров.

Но шутки в сторону. Жизнь Сталина, как и других известных большевиков, поделена на две половины: до революционного 1917 года и после него. Давайте посмотрим, где был и чем занимался Иосиф Джугашвили накануне своего «визита» в Ставрополь. В декабре 1904 года начальник Тифлисского охранного отделения Ф.А. Засыпкин представил в Департамент полиции обзор наблюдения за городской организацией РСДРП. К обзору прилагался список деятелей из 131 фамилии местной социал-демократической организации. Деятельным в списке значился Сталин:

«Джугашвили Иосиф Виссарионович. Разыскивается циркуляром Департамента полиции за №5500 от 1 мая 1904 года. В 1902 году привлекался обвиняемым при Тифлиском губернском жандармском управлении, последствием чего была высылка под гласный надзор полиции на три года в Восточную Сибирь (предложение Департамента полиции 17 июля 1903 года №4305), откуда 5 января 1904 года скрылся. По указанию агентуры проживает в городе Тифлисе, где ведет активную преступную деятельность».

Охранному отделению известны практически все активные деятели местной социал-демократической организации. В ночь с 16 на 17 января 1905 года жандармы произвели в Тифлисе аресты среди членов РСДРП. Задержанию подверглись 13 партийцев, Кобы среди них не оказалось – ему удалось скрыться.



Далее молодого революционера мы встречаем в Баку. По одним сведениям в феврале 1905 года он находился в городе, где противодействовал армяно-татарской резне, по другим – руководил созданной в Баку боевой группой. Вернувшись в Тифлис, Сталин пишет брошюру «Коротко о партийных разногласиях».

Весна застаёт Кобу в разъездах по Закавказью – политическая борьба захватывает его целиком и полностью. Сталина выдвигают в руководящий комитет Закавказской социал-демократической организации, в чем свою роль сыграла активная работа в подполье и способности публициста. В списке партийных дел – дискуссия с меньшевиками, организация боевых дружин и подпольных типографий, ликвидация провокаторов, координация деятельности партийных комитетов... Именно здесь, в Закавказье, в условиях революционного подъема 1905 года, был востребован Джугашвили, и лично участвовать в ограблении банка не мог. О полной занятости Сталина в Закавказье пишут практически все его биографы – серьезные ученые, опираясь на строго документированные исследования.

Например, Святослав Рыбас: «Краткое перечисление дел, в которых Сталин участвовал в годы первой русской революции, свидетельствует о его авторитете. Это создание типографии в Чиатуре (1904-1905), участие в декабрьской стачке в Баку (1904), сбор денег (1905-1906), вооружение рабочих в Баку во время армяно-татарской резни (февраль 1905), организация «красных сотен» в Чиатуре (лето 1905), попытка захвата Кутаисского цейхгауза (сентябрь 1905), участие в издании большевистских газет (1905-1907)...»

Хлевнюк О.В.: «В Закавказье, пораженном многочисленными социальными и национальными противоречиями, ситуация была особенно острой. Правительство, как обычно, без колебаний пускало в ход оружие. В ответ революционеры убивали сторонников самодержавия, поджигали предприятия... Сталин активно участвовал в этих событиях (1905 г.-А.К.). Он разъезжал по Грузии, готовил забастовки и митинги, писал листовки и статьи... Постепенно он выдвинулся в ряды лидеров закавказских большевиков». Находясь несколько месяцев в Ставрополе, ни в какие лидеры он бы естественно не выдвинулся, не тот уровень для Иосифа Джугашвили. А что сам вождь говорил о том времени: «Я вспоминаю... 1905—1907 гг., когда по воле партии был переброшен на работу в Баку. Два года революционной работы среди рабочих нефтяной промышленности закалили меня, как практического борца и одного из практических руководителей. В общении с такими передовыми рабочими Баку, как Вацек, Саратовец, Фиолетов и другие, с одной стороны, и в буре глубочайших конфликтов между рабочими и нефтепромышленниками – с другой стороны, я впервые узнал, что значит руководить большими массами рабочих. Там, в Баку, я получил, таким образом, второе свое боевое революционное крещение. Здесь я стал подмастерьем от революции. Позвольте принести мою искреннюю, товарищескую благодарность моим бакинским учителям».

1905 год Сталин провёл в Тифлисе

Уточним и некоторые маршруты передвижения Кобы в Закавказье.



Ориентировочно в середине апреля из Тифлиса он выехал в Кутаиси, но делает остановку в Гори. Здесь он принял участие в собрании местной организации РСДРП. Через своего осведомителя о сходке узнала полиция. Джугашвили тогда несказанно повезло – его спрятали в подвале, куда жандармы заглянуть не удосужились. Далее путь Кобы лежал в Чиатуру, тогда небольшой поселок среди горных хребтов Грузии, где он руководил созданием боевых дружин и подпольной типографии. «Он остановился в доме Джакели, где в верхнем этаже помещался комитет Чиатурской большевистской партийной организации... и жил там до отъезда из Чиатур, – вспоминал Георгий Нуцубидзе. – Только в опасные моменты, когда нужно было скрываться от полиции, он покидал эту квартиру и переходил к кому-нибудь из товарищей».

В начале июня от туберкулеза умирает Александр Цулукидзе, один из организаторов Кавказского союзного комитета РСДРП, с которым Джугашвили создавал газету «Брдзола» («Борьба»), считавшуюся лучшим после «Искры» марксистским изданием в России. У могилы партийного товарища Коба выступает с пламенной речью против царизма. Позднее присутствует на дискуссиях между меньшевиками и большевиками, где обсуждались решения Лондонского съезда и Женевской конференции РСДРП. В июле выступает на дискуссионном митинге в Чиатуре, резко осуждая анархистов, федералистов и эсеров.

Наконец, еще одно свидетельство того, что в 1905 году Сталин не покидал Закавказье. Лев Троцкий, один из первых и наиболее пристрастных биографов вождя, писал: «Революция 1905

года прошла мимо Сталина, не заметив его. Он провел этот год в Тифлисе, где меньшевики господствовали безраздельно».

И теперь представьте: с такой-то «репутацией» и при своей-то занятости Сталин приезжает в далекий Ставрополь, чтобы ограбить банк. А потом ищет убежища в гостинице у Нижнего базара, где полно осведомителей, особенно после событий 7 июня, «кровавого дня Ставрополя», когда диспут между православными и старообрядцами перерос в столкновение толпы с полицией и войсками (было убито четырнадцать горожан и ранено семьдесят).

Но если предположить даже, что Коба и впрямь решился на этот безумный поступок, то уж нет никаких сомнений, что его бы тепленьким взяли в ближайшие же дни – досье с фотокарточкой на Иосифа Джугашвили имелось в каждом жандармском управлении. А он, если верить Унковскому, незамеченным гулял по городу несколько месяцев. Наконец, странно, что в полиции, выражаясь современным языком, не раскололи пятерых подельников шестого члена банды, не узнав его имени. Был бы этим шестым Сталин, факт этот непременно бы нашел отражение в полицейских формулярах, но нам ничего об этом не известно.

Из рассказа Унковского:

«Часто мы с нашим поваром вдвоём ходили в театр на галёрку и возвращались поздно, потому что спускались в погребок и попивали кахетинское. Парень он был компанейский. Политических разговоров мы с ним не вели: я всегда был до них не охотник, и он, очевидно, остерегался.



Декламировал из поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре» по-грузински и отчасти казался энтузиастом... Проходили недели и месяцы. Вхожу как-то утром в кухню — пусто. Ни Виссариона, ни чемоданишка. Исчез навсегда. Не забрал следующего ему за полмесяца жалованья...»

Вопрос напрашивается сам собой: что вообще рассказывал Сургучев своему лечащему врачу Унковскому про таинственного нелегального повара, искусного шашлычника? Вероятнее всего, креативный доктор позволил себе слишком вольную интерпретацию какой-то истории, которую поведал ему Сургучев.

«Ужасный край чудес!»¹

По следам кавказских путешествий А.С. Пушкина

«Мы повстречались с ним на Гут-горе»

В кавказской пушкиниане до сих пор существует одна загадка: встретился ли поэт на Военно-Грузинской дороге с Александром Бестужевым или нет? Расскажем об этой загадочной истории подробнее.

Пушкин первым постиг в Бестужеве главное из его дарований – совершенно оригинальный и мощный талант беллетриста и пророчил ему славу русского Вальтера Скотта. Однажды в письме он так и назвал друга – «мой милый Walter» и призывал его всерьез приняться за крупное произведение в прозе: «для себя жду твоих повестей, да возмись за роман – кто тебя держит. Вообрази: у нас ты будешь первый во всех значениях этого слова; в Европе также получишь свою цену – во-первых, как истинный талант, во-вторых, по новизне



**НИКОЛАЙ
МАРКЕЛОВ**

Краеведение



¹Окончание. Начало № 4 2015 г.



предметов, красок etc... Подумай, брат, об этом на досуге... да тебе хочется в ротмистра!»

Провидение, как говорили в старину, имело на этот счет свои планы, и 14 декабря не только погубило предполагавшуюся литературную славу Бестужева в Европе, но и надолго вычеркнуло его имя из литературы отечественной. Пушкин же страдальца не забыл: фразу из его повести «Вечер на бивуаке» он взял эпиграфом к своему «Выстрелу», правда, без указания имени автора, что по цензурным обстоятельствам было тогда совершенно невозможно. Спустя годы несбыточное, уже казалось, предсказание Пушкина о Бестужеве вполне оправдалось: тот испытал ни с чем не сравнимую славу на родине, а лучшая из его повестей – кавказская быль «Аммалат-Бек» – неожиданным образом обрела своего читателя и в Европе.

В письмах Пушкина к Бестужеву необыкновенно много интересного. Их сохранилось девять. Последнее, отправленное из Михайловского в Петербург, датировано 30 ноября 1825 года и пришло по назначению в самый канун декабрьского мятежа. Однажды Пушкин выразил даже желание «заманить» Бестужева к себе в Михайловское, но этого, к сожалению, не случилось. Когда же он сам получил возможность свободно появляться в столицах, то Бестужев эту свободу утратил уже навсегда.

Жизнь Александра Бестужева похожа на авантюрный роман, сюжет которого есть борьба с судьбой, полная героических взлетов, оглушительных ударов и смертельно опасных приключений. Выпавших на его долю несчастий хватило бы на всех русских классиков вместе взятых. Во всяком случае, никто из них, даже Достоевский с его смертным приговором, и даже Грибоедов, павший под ударами разъяренной толпы мусульманских фанатиков, не

мог бы предъявить чего-то исключительного в своем роде, что превзошло бы меру испытаний, посланных Бестужеву за его неполные сорок лет.

Блестящий гвардеец, дуэлянт и поэт. Красавец и сердцеед, сам изведавший муки несчастной любви к дочери своего патрона Матильде Бетанкур. Критик и беллетрист, заслуживший из уст Белинского почетный титул «зачинщика русской повести». Издатель «Полярной звезды», друг Рылеева и Грибоедова. Адъютант герцога Вюртембергского, младшего брата Марии Федоровны – матери русских императоров Александра и Николая. И – политический заговорщик с умыслом цареубийства, готовый принять на себя эту роковую роль. Потом водоворот декабрьского мятежа, каменный гроб Петропавловской крепости, кандалы и смертный приговор, замененный двадцатью годами каторги с лишением чинов и дворянства. Ссылка в Сибирь, после которой он воевал на Кавказе, как Лермонтов или Лев Толстой, но почти все восемь лет рядовым и, подобно Александру Полежаеву, узнал на собственном опыте все прелести штрафной кавказской солдатчины. Дым, кровь, пот, холод, болезни, ночные атаки. Гибель любимой девушки, выстрелившей в себя из его пистолета. Безмерная, невероятная слава и страшная, невероятная смерть, предсказанная им самим.

После погрома на Сенатской площади Бестужев в отличие от многих своих товарищей по путчу не пытался ни скрыться, ни спастись бегством за границу, а сам на следующий же день явился на гауптвахту Зимнего дворца и сдался властям. Находясь в Петропавловской крепости, он составил для императора Николая письмо, в котором откровенно излагал свой взгляд на «исторический ход свободомыслия в России». Двадцать лет каторги ему скостили до пятнадцати, но это был только символический акт, на



деле же монаршее милосердие шло гораздо дальше: ни двадцати, ни пятнадцати, и вообще ни единого дня каторжных работ Бестужев не изведal. Отбыв чуть больше года в финляндском форте «Слава», он сразу же был отправлен на поселение в Якутск. Начавшаяся война с турками дала ему повод обратиться к начальнику Главного штаба И.И. Дибичу с просьбой о переводе в действующие войска. Письмо Бестужева было доведено до государя и возымело действие. Николай препятствий переводу его в армию чинить не стал, хотя и бдительного надзора не ослаблял. Вскоре состоялось повеление «Александра Бестужева определить рядовым в действующие полки Кавказского корпуса с тем, чтобы и за отличие не представлять к повышению, но доносить только, какое именно отличие им сделано».

Из холодной Якутии декабриста перевели в «теплую Сибирь». «Бог велик и государь милостив, – писал он с дороги братьям Николаю и Михаилу, томившимся в Читинском остроге. – Оба услышали мои мольбы, я солдат и лечу к стенам Эрзерума. Путь мой верхом по берегам Лены был труден и опасен, редкий день проходил без приключений, но каждый час сближает меня с битвами за правое дело и я благословляю судьбу».

Бестужев участвовал в штурме турецкого города Байбурта и одним из первых ворвался в крепость через пролом в стене. Вместо награды его на четыре года заперли в линейном батальоне, несшем гарнизонную службу в Дербенте, на берегу Каспия.

Здесь Бестужеву представился случай к выслуге: осенью 1831 года город осадили отряды имама Казимуллы. Отбивая атаки горцев с крепостной стены и участвуя в вылазках, он надеялся отвагой вернуть себе офицерский чин и заслужить царское прощение. Тревоги войны бодрили его душу. «Я дышал эту

осень своею атмосферой: дымом пороха, туманом гор, – пишет он братьям в Сибирь. – Я топтал снега Кавказа, я дрался с сынами его – достойные враги... Как искусно умеют они сражаться, как героически решаются умирать... И что за горы! О, как бы любили русские этот край, если бы он был их отчизною! Не умею пересказать вам, как он прелестен, и в одежде лета, и в алмазах зимы! Я был в нескольких жарких делах: всегда впереди, в стрелках, не раз был в местах очень опасных... Трудно верить, как метко и далеко они стреляют...»

Ни геройство при защите Дербента, ни участие в походе на аул Эрпели, где в жестоких схватках с мюридами, по выражению Бестужева, «не было ни пленных, ни раненых», на его положении никак не отразились. «В батальон прислано два Георгия; – сообщает он вскоре брату Павлу, – один, по избранию нижних чинов, ротных командиров и батальонного командира, присужден мне... Я заслужил этот крест грудью, а не происками, и желаю иметь его поминкой Кавказа». Скромный серебряный крестик, то есть солдатский «Георгий» – знак отличия военного ордена, Бестужеву не достался, но в Дербенте он сумел все же вырвать у судьбы свой шанс: здесь он вернулся к писательской работе. Завязав переписку с издателями «Московского телеграфа» братьями Николаем и Ксенофонтом Полевыми, он отправляет им свои первые кавказские вещи. Рядовому Александру Бестужеву было разрешено выступать в печати, но без указания имени автора. Его очерки и заметки печатались без подписи, иногда ее заменяла пометка «Дагестан». Большинство своих повестей и рассказов отныне он публикует под псевдонимом Марлинский. Очень скоро это имя завоевало всю читающую Россию. За восемь лет на Кавказе, среди походов и сражений, в переездах от Каспийского моря до Чер-



ного и от Тифлиса до Ставрополя, Бестужев создает свыше тридцати произведений, в том числе и свои лучшие повести «Аммалат-Бек» и «Мулла-Нур».

Популярность Марлинского в русском обществе была огромной; издания его книг, по выражению Белинского, «таяли на полках, как подмоченный сахар». Его с увлечением перечитывал юный Лермонтов, перенося восхитившие его образы и строки в свои первые стихи. «Белеет парус одинокий...» – эта знакомая каждому лермонтовская строка на самом деле впервые вылилась именно из-под пера Бестужева. И.С. Тургенев признавался, что когда-то в молодости «целовал имя Марлинского на обертке журнала». В какой-то мере увлечение его кавказскими повестями повлияло и на молодого Л.Н. Толстого в решении отправиться на Кавказ и поступить там на военную службу.

В 1858–1859 годах путешествие по России и Кавказу совершил знаменитый французский романист Александр Дюма. В Дербенте, где когда-то солдатскую лямку тянул Бестужев, автору «Трех мушкетеров» рассказали историю Амалата. И Дюма настолько увлекся Марлинским и его героем, что, вернувшись на родину, выпустил роман «Sultanetta», представляющий собой перевод-перделку повести «Аммалат-Бек». «Постараюсь воскресить во Франции то, что забыто в России», – восклицал он, прозрачно намекая на то, что имя государственного преступника Бестужева долгие годы у нас находилось под запретом.

Что касается путешествий 1829 года, то Пушкин, возвращавшийся из Арзрума, и Бестужев, направлявшийся в Арзрум, разминувшись вблизи Крестового перевала на Военно-Грузинской дороге или, что тоже весьма вероятно, просто не узнали друг друга, так как до этого состояли в переписке, но никогда

еще не встречались лично. Пушкин прекрасно рисовал, но среди многочисленных выполненных им портретных зарисовок мы не найдем лица Бестужева: поэт просто не знал, как тот выглядит.

Несколько лет спустя в письме к издателю «Тифлисских ведомостей» П.С. Санковскому Пушкин так обрисовал эту несостоявшуюся встречу со старым другом: «Если вы выдаете А. Бестужева, передайте ему поклон от меня. Мы повстречались с ним на Гутгоре, не узнавши друг друга, и с тех пор я имею о нем сведения лишь из журналов, в которых он печатает свои прелестные повести. Здесь распространился слух о его смерти, мы искренне оплакивали его и очень обрадовались его воскрешению...»

Это чрезвычайно важное свидетельство: поэту были известны не только новые произведения, но и некоторые подробности боевой судьбы «милого Вальтера». Бестужев также потом выражал крайнюю обиду на случай, отнявший у него последнюю возможность обнять друга: «Давно ли, часто ли вы с Пушкиным? – спрашивал он в одном из писем Ксенофонта Полевого. – Мне он очень любопытен; я не сержусь на него именно потому, что его люблю. Скажите, что нет судьбы! Я сломя голову скакал по утесам Кавказа, встретя его повозку: мне сказали, что он у Бориса Чилиева, моего старого однокашника; спешу, приезжаю – где он?.. сейчас лишь уехал, и, как нарочно, ему дали провожатого по новой окольной дороге, так что он со мной и не встретился!.. Я рвал на себе волосы с досады, – сколько вещей я бы ему высказал, сколько узнал бы от него, и случай развел нас на долгие, может быть, на бесконечные годы».

Через несколько лет известие о смерти Пушкина застало Бестужева в Тифлисе и заставило заново пережить горькие утраты прежних дней – гибель Рылеева и Грибоедова. Вот как рассказал об этом



сам Бестужев в письме к брату Павлу: «Я был глубоко потрясен трагической гибелью Пушкина, дорогой Павел... Я не сомкнул глаз в течение ночи, а на рассвете я был уже на крутой дороге, которая ведет к монастырю святого Давида, известному вам. Прибыв туда, я позвал священника и приказал отслужить панихиду на могиле Грибоедова, могиле поэта, попираемой невежественными ногами, без надгробного камня, без надписи! Я плакал тогда, как плачу теперь, горячими слезами, плакал о друге и о товарище по оружию, плакал о себе самом; и когда священник запел: «За убиенных бояр Александра и Александра», рыдания сдавили мне грудь – эта фраза показалась мне не только воспоминанием, но и предсказанием... Да, я чувствую, что моя смерть также будет насильственной и необычайной, что она уже недалеко – во мне слишком много горячей крови, крови, которая кипит в моих жилах, слишком много, чтобы ее оледенила старость... Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней!.. Вот уже трое погибло, и какой смертью все трое!.. Вы, впрочем, слишком обвиняете Дантеса – нравственность, или, скорее, общая безнравственность, с моей точки зрения, дает ему отпущение грехов: его преступление или его несчастье в том, что он убил Пушкина, – и этого более чем достаточно, чтобы считать, что он нанес нам непростительное, на мой взгляд, оскорбление. Пусть он знает (свидетель бог, что я не шучу), что при первой же нашей встрече один из нас не вернется живым».

Судьба распорядилась иначе. Летом того же года Бестужев погиб при высадке десанта на мыс Адлер. Цепь стрелков, в рядах которых находился писатель, была смята и рассеяна горцами в густом прибрежном лесу. Его изрубленное шашками тело после боя обнаружить не удалось. В составе той же экспедиции находился и азербайджанский поэт

Мирза Фатали Ахундов, служивший переводчиком в штабе корпуса. За несколько дней до гибели Бестужев перевел на русский язык его поэму «На смерть Пушкина», отдав тем самым свой последний долг другу и литературному собрату.

Зачинщик русской повести окончил свой путь в возрасте сорока лет, в пору писательской зрелости и расцвета творческих сил. Как и другие наши герои, он сгинул в огненном урагане бесконечной Кавказской войны, оставив по себе яркую память как об одном из лучших русских беллетристов девятнадцатого века. «Здесь все его оплакивают, как родного, – писал матери из Сибири Николай Бестужев, – мы уверены, что и у вас память его не умрет безгласна. И в самом деле: поставленный судьбою в положение самое трудное для сил человека, и моральных и физических, он, силою ума и твердостью поведения, одержал совершенную победу...»

«Не знаю ничего завиднее последних годов его бурной жизни»

В Москве, в экспозиции Алмазного фонда, среди прочих исторических реликвий можно увидеть алмаз «Шах». Это драгоценный камень большой чистоты, чуть тронутый желтизной, с искусной арабской гравировкой на трех гранях. Рядом выставлен миниатюрный портрет А.С. Грибоедова. Говорят, что за любым крупным бриллиантом тянется шлейф преступлений и крови. Не стал исключением и алмаз «Шах», которым иранские власти расплатились за кровь русского дипломата и поэта.

Пушкин и Грибоедов были знакомы с лета 1817 года. По словам современника, «Пушкин с первой встречи с Грибоедовым по достоинству оценил его светлый ум и дарования». Впоследствии на страни-



цах «Путешествия в Арзрум» Пушкин вспоминал о своем поэтическом собрате, что «расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия». Последняя, печальная, встреча двух поэтов произошла в Закавказье: 11 июля 1829 года Пушкин недалеко от крепости Гергеры видел арбу, на которой из Тегерана везли тело убитого Грибоедова.

При определении на дипломатическую службу Грибоедов получил скромное место секретаря русской миссии. От него самого зависел важный выбор: ехать в Америку или Персию. Он выбрал последнее, и его судьба навсегда оказалась связанной с Кавказом.

Отправляясь в путь, он писал другу Степану Бегичеву, и в этом письме сквозит еще не ясное предчувствие: «Ах, Персия, дурацкая земля! Гейер приехал с Кавказу, говорит, что проезду нет: недавно еще на какой-то транспорт напало 5000 черкесов; с меня и одного довольно будет...»

С черкесами, впрочем, на этот раз всё обошлось, и до Тифлиса добрались благополучно, но в другой из многочисленных проездов Грибоедова по Военно-Грузинской дороге он, действительно, едва не угодил в плен к горцам. В столице Грузии поэта ждала новая напасть: известный на Кавказе храбрец Александр Якубович, служивший здесь в драгунском полку, с нетерпением готовился к приезду старого знакомого. Дело в том, что дуэль между ними, не состоявшаяся в Петербурге, была отложена до первой же встречи. Поединок состоялся ноябрьским утром в окрестностях Тифлиса. Выстрел противника повредил поэту левую кисть, – по этой примете его обезображенный труп был опознан после тегеранской трагедии.

Грибоедов вернул из персидского плена 150 русских солдат. Из опостылевшего Тавриза («Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной

Персии!» – восклицал он) поэт совершил поездку на Северный Кавказ в ставку Ермолова, а потом, в 1822 году, перешел к нему на службу секретарем по иностранной части, считая грозного проконсула Кавказа «одним из самых умнейших и благонамереннейших людей в России». Получив в крепости Грозной приказ об аресте Грибоедова по делу о 14 декабря, Ермолов предупредил об этом поэта, и тот успел сжечь все опасные бумаги.

Выйти из-под следствия с «очистительным аттестатом» Грибоедову помог всеильный граф Иван Федорович Паскевич, любимец царя Николая, женатый на двоюродной сестре поэта. Паскевич сменил Ермолова на Кавказе, и при нем Грибоедов достиг своей дипломатической вершины: он оформил Туркманчайский мирный договор с Персией, то есть документально закрепил то, чего фельдмаршал добился силой оружия.

За Туркманчай Грибоедов получил свой единственный российский орден – святой Анны второй степени с алмазами. А вот персидский шах награждал его дважды: орденом Льва и Солнца 2-й и 1-й степени, причем последний с алмазами и золотым ожерельем с финифтяной отделкой. Последняя должность, которую Грибоедов занимал, – российский императорский чрезвычайный посланник и полномочный министр при дворе персидском. Карьера давалась дорогой ценой. «Грибоедов на пути от Тавриза сюда, – сообщал Ермолов в Петербург, – имел несчастье переломить в двух местах руку и, не нашедши нужных в дороге пособий, должен был по необходимости обратиться к первому, который мог дать ему помощь, и от того произошло, что по прибытии в Тифлис надлежало ему худо справленную руку переломить в другой раз...» Иранский удушливый зной доводил его до обмороков. Он перенес серьезную болезнь на-



кануне собственной свадьбы. «Я нашел Грибоедова больным, – пишет секретарь посольства Карл Аделунг, – он боролся с болями в желудке и кишечнике и не знал куда деваться от жара...» На церемонии венчания поэт едва стоял на ногах.

Он досыта наглотался российской и иранской пыли, дорогу на Кавказ в сердцах называл проклятой и считал себя «скитальцем в восточных краях». Он мечтал о миссии пророка, а в жизни имел чин статского советника. Приступы отчаянной тоски иногда доводили его до предела, до мысли о самоубийстве. Он собирался «зажить отшельником в Цинондалах», посвятив себя литературе, но так и не вырвался из круга земных забот.

Он любил повторять восточную мудрость: «Худшая из стран та, где нет друга». На аудиенции у шефа жандармов Бенкендорфа он добился разрешения писать осужденному на каторгу Александру Одоевскому и заклинал Паскевича «спасти страдальца». Он взял с фельдмаршала слово благодетельствовать и другому декабристу – Александру Бестужеву и даже выпросить его из Сибири на Кавказ. Бестужева перевели рядовым в войска Отдельного Кавказского корпуса, но Грибоедов к тому времени уже покоился на горе святого Давида в Тифлисе.

«Не знаю ничего завиднее последних годов его бурной жизни, – писал Пушкин. – Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна».

Земля Кавказа дарила его вдохновением. Здесь к нему пришел замысел, и началась работа над бессмертной комедией «Горе от ума». Кавказ всегда манил русских поэтов, и здесь побывали Пушкин, Лермонтов, Есенин. Судьбе было угодно, чтобы Грибоедов остался здесь навсегда.

Обстоятельства гибели Грибоедова до конца не ясны. Исследователи выделяют восемь, по меньшей мере, различных версий злопамятной тегеранской катастрофы. «Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства, – замечает А.С. Пушкин. – Обезображенный труп его, бывший три дня игральщиком тегеранской черни, узнан только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею».

Через неделю после разгрома русской миссии тело Грибоедова извлекли из общей могилы и похоронили в ограде армянской церкви в Тегеране. Еще две недели спустя останки поэта отправили в Тифлис, и близ крепости Гергеры с ними встретился Пушкин, направлявшийся в русскую армию в Арзрум. Он оставил воспоминание об этой встрече: «Да вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. “Откуда вы?” – спросил я их. – “Из Тегерана”. – “Что вы везете?” – “Грибоеда”. – Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис».

Во время путешествия в Арзрум у Пушкина произошла еще одна встреча. На Военно-Грузинской дороге близ Ананура он встретил посольство, направленное персидским шахом в Петербург с извинениями за смерть Грибоедова. Возглавлял посольство внук правителя Ирана Фетх-Али-шаха, седьмой сын наследника престола Аббас-Мирзы шестнадцатилетний принц Хозрев-Мирза. «Я пошел пешком не дождавшись лошадей, – пишет Пушкин, – и в полверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Через несколько часов после нашей встречи на принца напали горцы. Услышав свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости...»



В Тифлисе посольство Хозрев-Мирзы принимал командующий русскими войсками на Кавказе Паскевич. Принцу были оказаны всевозможные почести. Дальнейший путь его лежал через Владикавказ, Георгиевск и Ставрополь на Москву и Петербург. Вот тогда персидское посольство заехало и на воды в Пятигорск. Довольно подробно об этом рассказал в своей книге очевидец событий Ф.П. Конради, в то время главный врач кавказских курортов:

«В прошлом 1829 году мы имели счастье видеть у себя персидского принца Хозрев-Мирзу, который на пути в С.-Петербург заехал на наши воды. Генерал от инфантерии Еммануель принял Принца с надлежащими почестями в гостинице, где для него были отведены лучшие комнаты. В честь ему давали балы и собрания, и вообще делали все, что могло бы доставить удовольствие юному Принцу. Он осмотрел все источники и заведения; несколько раз купался в дождевых ваннах, – которые на сие время были предоставлены в распоряжение Принца и свиты его, – и хвалил прекрасное устройство оных. Желая лично обозреть все заслуживающее внимания, Принц всходил даже на вершину Машуки. Генерал Емануель тогда же приказал поставить на Машуке монумент, с приличною надписью, дабы передать потомству память сего происшествия. Хозрев-Мирза собственною рукою написал имя свое и несколько изречений на Персидском языке на каменной доске, приготовленной для монумента... В скором времени монумент занял место свое на вершине Машуки. Я прилагаю к сему сочинению литографированный вид памятника и надпись, с русским переводом оной. Принцу весьма понравились наши места...»

Через Новочеркасск и Воронеж посольство 14 июля прибыло в Москву, встретившую персидского гостя стройными рядами войск и приветственной

стрельбой из орудий. В белокаменной Хозрев-Мирза осмотрел Оружейную палату в Кремле, посетил Московский университет, питомцем которого был некогда Грибоедов, и нанес визит его матери.

В начале августа посольство прибыло в Петербург, где Хозрев-Мирза был удостоен высочайшей аудиенции в Зимнем дворце. Он лично вручил Николаю I «извинительное письмо» – шахскую грамоту. Выслушав ее, царь произнес: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Хозрев-Мирза и вся его многочисленная свита получили щедрые царские подарки. Иранский престол расплатился за кровь русского поэта и дипломата алмазом «Шах».

А в Пятигорске начальник войск Кавказской линии Г.А. Емануель, много сделавший для благоустройства молодого курорта, пожелал увековечить память о пребывании здесь Хозрев-Мирзы. В марте 1830 года генерал направил строительной комиссии следующее предписание:

«Я бы желал, чтобы на гору Машуху можно провести удобнейшую тропинку для незатруднительного на вершину оной ходу, а потому и полагаю такую тропинку зигзагом, т.е. змейкой, предположить с той стороны, откуда я в бытность мою в прошлом лете с его высочеством принцем персидским Хозрев-Мирзою спускался к Горячеводску. Сие возложить на г. Иосифа Бернардацци, чтобы он поспешил снять на плане удобнее и ближе, и потом оный предлагаю комиссии на рассмотрение ко мне представить».

Тогда же был сооружен и монумент. Деньги на него, 100 рублей, Емануель внес из своих собственных средств. На вершине Машука был воздвигнут памятник, представлявший собой невысокую каменную колонну. К вершине проложили удобную тропу, вдоль которой были расставлены скамьи для



отдыха. На памятнике сделали надпись со словами Хозрев-Мирзы:

«Добрая слава, оставляемая после себя, лучше золотых палат.

Любезный брат! Мир здешний не останется ни для кого;

Привяжись сердцем к создателю

И не полагайся на блага мирские;

Ибо многих, подобных тебе, Он сотворил и уничтожил.

Хосров-Мирза, 1244 (1829) г.»

Текст надписи мы приводим так, как он представлен в большой статье «Хосров-Мирза», принадлежащей перу выдающегося кавказоведа Адольфа Петровича Берже. Там же можно найти описание внешности принца во время пребывания его в России: «он был среднего роста, строен, имел очаровательные глаза и необыкновенно приятную улыбку; держал себя с достоинством, обладал живостью в разговоре, и был замечательно приветлив в обращении».

Трудно ожидать от шестнадцатилетнего юноши (пусть даже и маленького принца) столь глубокой философской сентенции, да еще изложенной в поэтической форме. Дело в том, что эти слова принадлежат вовсе не Хозрев-Мирзе, а величайшему из персидских поэтов Фирдоуси, автору знаменитой поэмы «Шахнаме» («Книга царей»), и юный принц, конечно, знал на память многие строки оттуда.

Скажем и о других литературных последствиях, которые имел приезд Хозрев-Мирзы в Россию. Принц стал персонажем двух произведений русской классики – повестей Н.В. Гоголя «Портрет» и «Нос». В первом случае речь идет о гравированном «портрете Хозрева-Мирзы в бараньей шапке», выставленном в витрине книжной лавки. Фигура иранского

гостя в восточном наряде на улицах нашей северной столицы выглядела довольно необычно, но у Гоголя в «Носе» ситуация как бы перевернута: не принц обращает на себя внимание столичной публики, а сам поражен фантазмагорией, разыгравшейся в Петербурге: «Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы».

Да, добрая слава прочнее самого долговечного материала. Не оправдались слова царя о том, что он предаст «вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Это оказалось не в его силах, и трагическая смерть Грибоедова памятна каждому русскому. Недаром на могиле поэта начертаны слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской...»

Слова Хозрев-Мирзы, вырезанные на белом машукском камне, не стали пророчеством его собственной судьбы: доброй славы по себе он не оставил. Участь его на родине оказалась печальной: в результате дворцовой интриги он был ослеплен и удален в ссылку.

Памятник, посвященный Хозрев-Мирзе, недолго простоял в Пятигорске. Однако и сам визит принца на воды, увенчанный восхождением на вершину Машука, и каменное изваяние, воздвигнутое в память об этом событии, вызывали живой интерес современников. Известный в прошлом журналист Е. Вердеревский (автор нашумевшей в свое время книги «Плен у Шамиля») на вершину к памятнику не поднимался, но в очерках «От Зауралья до Закавказья», относящихся к 1853 году, отметил, что каменный монумент в хорошую погоду виден даже с расстояния в пять верст. Наконец, и знаменитый исследователь целебных ключей Пятигорья Ф.А. Баталин, кратко



передав историю памятника, грустно констатировал в книге, вышедшей в 1861 году, что «от этого монумента ныне не осталось и следов».

«Могучий мститель злых обид»

Он стал четвертым и последним из русских полководцев, удостоенных всех четырех степеней ордена святого Георгия. Его ратный путь был так долог, что он служил четырем царям. Ему посвящали стихи Жуковский и Пушкин. Его блестящие титулы потускнели от времени, теперь о них редко вспоминают, а когда-то его полное имя звучало следующим образом: генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, генерал-инспектор всей пехоты, шеф пехотного и егерского его имени полков, наместник в Царстве Польском, член Государственного совета светлейший князь Иван Федорович Паскевич-Варшавский, граф Паскевич-Эриванский. В течение пяти лет он был связан с Кавказом, заключая здесь в своих руках всю полноту военной и гражданской власти.

Иван Федорович Паскевич (1782–1856) происходит из древнего и богатого украинского рода. Он получил воспитание в Пажеском корпусе, откуда был выпущен поручиком лейб-гвардии Преображенского полка и тогда же назначен флигель-адъютантом императора Павла. Воевал с турками, отличился при взятии Базарджика, под Варной и Батыном. Пять лет под турецким огнем принесли ему опыт, пригодившийся потом в азиатских войнах.

Отечественную войну тридцатилетний генерал встретил в звании командира 26-й пехотной дивизии, почти целиком polegшей на Бородинском поле. Паскевич участвовал в боях под Салтановкой, Смоленском и Вязьмой, а потом в «Битве народов» под Лейпцигом и во взятии Парижа. В последние годы

царствования Александра I он получил под начало I гвардейскую дивизию, бригадами которой командовали великие князья Николай и Михаил. Первый из них, уже будучи государем, называл Паскевича «отцом-командиром» и питал к нему безграничное доверие. В 1826 году, когда наследник персидского шаха Аббас-Мирза с огромным войском вторгся в российские пределы, царь отправил Паскевича на Кавказ, где в победоносных войнах с Персией и Турцией тот достиг вершин своего полководческого искусства.

Аббас-Мирза был разбит под Елизаветполем (Ганджой), Паскевич взял Эривань, чего не смогли сделать до него ни Цицианов, ни Гудович. По словам Хачатура Абовяна, «разрушение ада не имело бы для грешников той цены, как взятие Эриванской крепости для армян...» Потом взял Тавриз, а в войне с турками – Карс, Ахалкалаки, Ахалцих и Баязет. Разгромив две турецкие армии на Саганлуге, он занял и Арзрум. В 1831 году Паскевич был отозван с Кавказа в Польшу.

В 1796 году, в ходе турецкой войны, Екатерина II основала орден святого Великомученика и Победоносца Георгия, предназначенный для награждения воинских чинов «за храбрость, ревностность и усердие к воинской службе и для поощрения в военном искусстве». Орден имел четыре степени; знаками его служили белый эмалевый крест и золотая прямоугольная звезда с девизом «За службу и храбрость», принадлежавшая двум высшим степеням.

Награждение Георгиевским крестом считалось чрезвычайно почетным, но и цена такой награды была очень высока. За всю историю ордена полными георгиевскими кавалерами стали только четыре человека: М.И. Кутузов, М.Б. Барклай де Толли, И.И. Дибич и И.Ф. Паскевич.



Четвертую и третью степени ордена Паскевич заслужил в боях с турками при штурме Базарджика и под Варной. За взятие Эривани получил вторую и был возведен в графское достоинство с титулом Эриванский, за Арзрум – первую степень.

Закавказские победы громким эхом отозвались в столице империи. В одном из писем к фельдмаршалу Грибоедов приводит свежее свидетельство об этом своего петербургского приятеля: «Вот вам депеша Булгарина об вас, можете себе представить как это меня радует:

«Граф Паскевич-Эриванский вознесся на высочайшую степень любви народной. Можно ныне смело сказать, что он, победив турок, победил и своих завистников. Общий голос в его пользу. Генералитет высший, генерал-адъютанты, офицеры, дворянство, чиновники, литераторы, купцы, солдаты и простой народ повторяют хором одно и то же: «молодец, хват Эриванский! Вот русский генерал! Это суворовские замашки! Воскрес Суворов! Дай ему армию, то верно взял бы Царьград!» и т.п.

Повсюду пьют за здоровье Эриванского: портреты его у всех. Я еще не помню, чтобы который-нибудь из русских генералов дожил до такой славы. Энтузиазм к нему простирается до невероятной степени...»

Взятие восставшей Варшавы покрыло полководца новыми лаврами: государь возвел его в княжеское достоинство с титулом светлейшего и назначил наместником Царства Польского.

В историю русской литературы Паскевича вписал Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года». Одни приняли эту книгу как сатиру, другие находили, что Пушкин проделал столь долгий путь, «чтобы воспеть подвиги своих соотечественников». Отвергая и то, и другое, поэт замечал в

предисловии к «Путешествию»: «Я устыдился бы писать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время среди своих великих забот оказывать мне лестное внимание».

В войсках Паскевича Пушкин провел более месяца и присутствовал при сдаче турками Арзрума. «Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, – пишет поэт. – Но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении». На сабельном клинке была сделана надпись: «Арзрум, 18 июля 1829».

Менее известно другое. В 1831 году, во время польского восстания, Паскевич взял Варшаву. Это событие пришлось на день Бородинского сражения – 26 августа. И Пушкин написал стихотворение «Бородинская годовщина», в котором две лестные строфы посвятил Паскевичу:

*Победа! Сердцу сладкий час!
Россия! Встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг орда, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.*

*Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!*



*Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.*

То, что было понятно современникам Пушкина, сегодня требует пояснений. Призыв к тишине «вокруг орда, где он лежит», и слова о страдании связаны с тем, что во время сражения Паскевич был контужен. Тавр – горная система в Турции, где наши кавказские полки завершили свой победоносный поход. Упоминание же великого Суворова, несомненно, должно было польстить Паскевичу и здесь не случайно, так как Пушкин напоминает о взятии Варшавы Суворовым в 1794 году, когда основной бой шел за Прагу – предместье польской столицы. Донесение о своей победе Паскевич отправил в Петербург с внуком Суворова.

Что касается выражения «тройная брань», то объяснение ему дает сам Пушкин – в письме к Н.И. Ушакову, где называет Паскевича «покорителем Эривани, Арзрума и Варшавы», подчеркивая тем самым три его главные победы.

«Бородинская годовщина» вместе со стихотворением «Клеветникам России» вышла отдельной брошюрой под названием «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина». Там же помещена была и «Русская песнь на взятие Варшавы» Жуковского, пославшего несколько экземпляров брошюры Паскевичу, и тот в ответном письме благодарил поэтов: «2 окт., 1831, Варшава. Прошу Вас принять мою благодарность за присланные строфы и сообщить таковую же Александру Сергеевичу Пушкину, столь много обязавшему меня двумя отличными своими сочинениями. По желанию Ва-

шему я имел счастье передать Его Имп. Высочеству один экземпляр полученных стихов».

У себя в доме, на Мойке, Пушкин хранил дорогие сердцу предметы, напоминавшие ему Кавказ. Любимую картину – единственную, которою он украсил свой кабинет, – «Дарьяльское ущелье» Никанора Чернецова и кривую турецкую саблю – подарок Паскевича.

В разговоре с Пушкиным о победах Паскевича Ермолов заметил, что они одержаны слишком дорогой ценой. «Можно было бы сберечь людей и издержки», – сказал он. Сберечь людей... Может быть, поэтому Ермолова так любили в кавказских войсках. Вспомним, как приосанился лермонтовский Максим Максимыч, упомянув о своей службе «при Алексее Петровиче». Паскевич, имевший все высшие награды империи, такой любви удостоен не был.

Глядя с исторического выскока, мы можем относиться к Паскевичу как угодно. Мы не можем только отменить ни его заслуг, ни его наград. Гордый своими победами, Паскевич заявлял: «везде Россия, где властвует русское оружие». Он, как никто из российских полководцев, углубился далеко на юг: в Персии взял Тавриз, а в Турции его полки достигли берегов Евфрата, и казаки напоили коней из библейской реки. Персия с той поры более никогда не пыталась тягаться с Россией силой оружия.

В ставке Паскевича судьба уготовила поэту возможность познакомиться с влиятельным полевым командиром Бей-Булатом Теймазовым. Чтобы внятно обозначить его роль в кавказских делах, пришлось прибегнуть к современной терминологии. Историк Кавказской войны В.А. Потто называл Бей-Булата «искателем опасных приключений», «одним из искуснейших и храбрейших предводителей чеченских шаек». Источники советского времени



зачисляют его уже в «руководители национально-освободительного движения против колониальной политики царизма в Чечне». Средства, примененные к нему властями, являют собой классический образец политики кнута и пряника. Ермолов, обычно не любивший заигрывать с горцами, тем не менее, прижал его поручиком на русскую службу. В дальнейшем на изменника Бей-Булата устраивали безуспешные покушения, в одном случае предполагалось, как пишет Потто, «бросить через трубу в его саклю мешок с порохом и взорвать ее вместе с ним и его семьей». В 1825 году Бей-Булату удалось поднять мятеж во всей Чечне, он появился у стен Грозной и даже попытался укрепиться в Ханкале. Крупная партия чеченцев имела шансы захватить в плен самого Ермолова. Во времена Паскевича Бей-Булат считал за лучшее вновь изъявить покорность властям. Именно этот момент запечатлел Пушкин в последней главе «Путешествия в Арзрум»: «Славный Бейбулат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмущившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бейбулат, мужчина лет 35-ти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы в Кабарду».

Через несколько лет, столкнувшись с кровником на узкой дорожке, Бей-Булат был застрелен в упор из пистолета. Дважды его имя в своих ранних поэмах упомянул и Лермонтов.

«Машук, податель струй целебных»

В августе 1829 года, возвращаясь из Грузии, Пушкин вновь заехал на Кавказские воды. Несколько

дней он провел на Горячих, а большую часть времени на Кислых, коротая досуг в обществе своих спутников – Михаила Пущина и Руфина Дорохова, вместе с которыми в коляске проделал сюда часть пути. «Во Владикавказе, – вспоминал об этом поэт, – нашел я Дорохова и Пущина. Оба ехали на воды, лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы».

Михаил Иванович Пущин – младший брат лицейского друга Пушкина, поручик лейб-гвардии Коннопионерного батальона. За участие в восстании 14 декабря был разжалован в рядовые. Воевал в Закавказье, где в войсках Паскевича встретился с Пушкиным. За боевые заслуги вновь получил офицерский чин, окончил службу в звании генерал-майора. Много лет спустя после кавказских событий по просьбе Л.Н. Толстого, работавшего над романом о декабристах, написал заметки, сохранившие для нас подробности этих дней.

«В Пятигорске я не намерен был оставаться, – писал Пущин, – для раны моей мне надлежало ехать прямо в Кисловодск. Приехавши в Пятигорск, я собирался сейчас же все осмотреть и приглашал с собою Пушкина; но он отказался, говоря, что знает тут все, как свои пальцы, что очень устал и желает отдохнуть. Это уже было в начале августа; мне нужно было спешить к Нарзану, и потому я объявил Пушкину, что на другой же день намерен туда ехать...»

Поэт отвечал, что не замедлит последовать за своим спутником, только хочет день-другой отдохнуть. На деле же вышло иначе: Пушкин и Дорохов провели более недели в пятигорской Ресторации за картами и явились в Кисловодск, «оба продувшиеся до копейки. Пушкин проиграл тысячу червонцев, взятых им на дорогу у Раевского».

Игра возобновилась и в Кисловодске, где поэт сумел немного отыгаться, и продолжалась еще по-



том, уже по дороге в Москву, когда попутчик Пушкина, сарапульский городничий Дуров выиграл у него пять тысяч рублей.

«Несмотря на намерение свое много заниматься, – повествует Пущин, – Пушкин, живя со мною, мало чем занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную, часто обедали у Шереметева, Петра Васильевича, жившего с нами в доме Реброва. Шереметев кормил нас отлично и к обеду своему собирал всегда довольно большое общество».

В Кисловодске Пушкин делал то, что и все остальные посетители вод, – принимал ванны и пил нарзан. Михаил Пущин писал об этом брату в Сибирь: «Лицейский твой товарищ Пушкин, который с пикою в руках следил турок под Арзрумом, по взятии оного возвратился оттуда и приехал ко мне на воды, – мы вместе пьем по несколько стаканов кислой воды и по две ванны принимаем в день. Разумеется, часто о тебе вспоминаем».

Слава волшебных кавказских ключей к тому времени уже получила известное распространение в России. В 1825 году газета «Северная пчела» восторженно сообщала: «Нет почти недуга, который бы не мог быть исцеленным на Кавказе, самая старость отряхивает здесь свою дряхлость и шестидесятилетние больные получают бодрость юности».

Скажем несколько слов и о Руфине Ивановиче Дорохове – личности незаурядной, яркой, оставившей к тому же своеобразный отпечаток на страницах отечественной словесности. Пушкин, по словам Пущина, находил «тьму грации в Дорохове и много прелести в его товариществе». Его отец генерал-лейтенант Иван Семенович Дорохов в 1815 году скончался от ран, полученных в войне с Наполеоном. Руфин, выпущенный из Пажеского корпуса в Учебный карабинерный полк, отличался необузданным

нравом и склонностью к дерзким выходкам. Вскоре приобрел устойчивую репутацию бретера и дуэлянта. Дважды разжалованный, он оказался в действующих войсках Кавказского корпуса, где проявил себя в боях против персов и турок. Был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость» и вернул себе офицерские эполеты. Вышел в отставку, женился, но укротить свой буйный нрав по-прежнему не мог. За нанесение кинжальных ран отставному ротмистру едва не угодил на каторгу, вновь был разжалован в рядовые и вновь воевал на Кавказе. «Это был человек, – вспоминает современник, – даже на Кавказе среди отчаянно храбрых людей, поражавший своей холодной, решительной смелостью». В 1840 году во время военной экспедиции в Чечне познакомился с Лермонтовым. Поначалу их отношения едва не закончились дуэлью, но жизнь под чеченскими пулями быстро сблизила их. Старый кавказский рубака, Дорохов имел под началом «летучую сотню», которую, выбыв по ранению из строя, передал Лермонтову.

«...Я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков, – сообщает другу поэт, – разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут...» Человек, чья легендарная храбрость не только не требовала сравнений, а сама служила известным мерилom, Руфин Дорохов высоко оценил воинскую отвагу поэта: «славный малый – честная прямая душа – не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах. Какое-то черное предчувствие мне говорило, что он будет убит... Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр – не сносить ему головы».

Дорохов был близко знаком с младшим братом Пушкина – Львом. С ним и с Лермонтовым встре-



чался в 1841 году в Пятигорске. В январе 1852 года Руфин Дорохов погиб в бою с горцами в Гойтинском ущелье. Полагают, что Дорохов послужил прототипом Долохова в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».

В Пятигорске до наших дней сохранилось здание Ресторации, где останавливался Пушкин. Оно исполнено в строгом классическом стиле и отделано белым машукским камнем. На балах в Ресторации собирался цвет «водяного общества». Своих героев приводит сюда и Лермонтов: дважды здесь встречаются Печорин и Мери. Печорин отмечает в своем дневнике: «Завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку». Сам Лермонтов останавливался здесь на одну ночь, последний раз приехав в Пятигорск в мае 1841 года. В разные годы здесь находили приют А.А. Бестужев-Марлинский, В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой.

Что касается дома Реброва в Кисловодске, где Пушкин прожил полмесяца, то принадлежал он человеку, хорошо известному на Кавказе. Статский советник Алексей Федорович Ребров был знаком с Ермоловым и Грибоедовым. В том же доме в сентябре 1850 года он принимал наместника Кавказа М.С. Воронцова и наследника престола цесаревича Александра Николаевича. Кисловодский особняк Реброва, выделявшийся своеобразной архитектурой, хорошо известен как «дом княжны Мери» из лермонтовской повести. «Мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская...» – говорит Вера, приглашая Печорина приехать в Кисловодск. Именно здесь происходит их ночное свидание, после которого счастливый любовник, связав две шали, спускается с верхнего балкона. В темноте подле дома происходит стычка Печорина с драгунским капитаном и Грушницким, наделавшая такой переполох в городе. Разумеется,

это только вымышленные события, тем не менее, дом Реброва оказался запечатленным на страницах одного из лучших русских романов.

8 сентября Пушкин навсегда покинул воды, увозя с собой изрядный запас впечатлений: увиденное и услышанное здесь послужило материалом для его новых замыслов.

На берега Подкумка он приводит своего главного героя – путешествующего по России Евгения Онегина. Очевидно, что в данном случае персонаж во многом повторяет маршрут кавказского путешествия самого автора. Современный комментатор романа Ю.М. Лотман по этому поводу заключает следующее: «В печатном тексте «Путешествия», как и в сводной рукописи предполагавшейся восьмой главы, Онегин после Астрахани попадает на Северный Кавказ на пятигорские воды. Однако в черновике этому, видимо, предшествовал переезд через Дарьяльское ущелье в Грузию, что разрешило бы некоторые хронологические трудности, возникающие при истолковании нынешнего текста».

Поручик М.В. Юзефович, познакомившийся с Пушкиным в Закавказье, вспоминал, что поэт в дружеском кругу «объяснял нам довольно подробно все, что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов».

Так или иначе, мы застаем Онегина на Кавказских водах, «в соседстве Бештау и Эльбруса», где его взору предстали живые картины «водяного общества»:

*Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук,*



*Машук, податель струй целебных;
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой;
Кто жертва чести боевой,
Кто Почечуя, кто Киприды;
Страдалец мыслит жизни нить
В волнах чудесных укрепить,
Кокетка злых годов обиды
На дне оставить, а старик
Помолодеть – хотя на миг.
Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? – ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? Тоска, тоска!..*

Все это заставляет вспомнить другого героя из другого романа, который здесь же, у «дымных струй», задавал себе подобный вопрос: «Чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего».

Мы имеем в виду Печорина. Новый материал требовал, видимо, новой, прозаической формы – и роман о Кавказских водах не замедлил явиться в свет, причем один из главных романов в нашей литературе, но написал его другой автор – Лермонтов. Впрочем, замысел кавказского романа был и у Пушкина.

«Кавказский пленник-2», или опасные приключения Якубовича в Пятигорске

В 1825 году в «Северной пчеле» была опубликована статья «Отрывки о Кавказе. Из походных записок». И хотя автор укрылся под инициалами «А.Я.», большой тайны тем не сделал. Догадку об авторстве первым высказал Пушкин, писавший из Михайловского Александру Бестужеву: «Кстати: кто написал о горцах в Пчеле? Не Якубович ли, герой моего воображения?» Пылкая, сильная натура кавказского воина невольно привлекала творческое внимание поэта, уже создавшего в «Кавказском пленнике» грандиозные картины Кавказа, но еще не нашего достойного их героя. «Когда я вру с женщинами, – продолжает Пушкин, – я их уверяю, что с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева... Жаль, что я с ним не встретился в Кабарде – поэма моя была бы лучше».

Побывав на Горячих водах в 1829 году, Пушкин стал вынашивать замысел кавказского романа. И судя по всему, тема пленника еще не казалась ему исчерпанной до конца. В сентябре 1831 года он набросал отрывок, представляющий собой начальные страницы крупного, как можно судить, произведения в прозе, рисующие сборы московской барыни и ее дочери на Кавказ: «В одно из первых чисел апреля 181... года в доме Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха. Все двери были растворены настежь; зала и передняя загромождены сундуками и чемоданами; ящики всех комодов выдвинуты; слуги поминутно бегали по лестницам, служанки сутились и спорили; сама хозяйка, дама 45 лет, сидела в спальне, пересматривая счетные книги...»

Причину столь дальней поездки объясняет сама Томская: «Доктора объявили, что моей Маше



нужны железные воды, а для моего здоровья необходимы горячие ванны. Вот уже полтора года, как я все страдаю, авось Кавказ поможет». Героиня кавказского романа – «девушка лет 18-ти, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами».

Представление о дальнейшем развитии действия можно получить из многочисленных планов, составленных Пушкиным. Как прежде поэма «Кавказский пленник», так и новый прозаический сюжет разворачивается на Горячих водах. Героиня получает имя Алины, сюжетные ходы тут постоянно варьируются, но общее направление, хотя бы приблизительно, понять можно. Основная интрига строится на противоборстве двух главных героев – бретера и картежника Якубовича и раненого кавказского офицера Гранева, недавно побывавшего в плену у горцев. В ряде случаев он даже назван в набросках Кавказским Пленником. Оба противника, чем-то напоминающие будущих Швабрина и Гринева из «Капитанской дочки», добиваются любви Алины. Якубович с помощью знакомого узденя подстраивает нападение черкесов на воды и похищает Алину, увезя ее в аул. Гранев спасает ее. Их соперничество завершается дуэлью, а в одном из вариантов – и смертью Якубовича. Предполагался эпизод, возвращающий нас к сюжету поэмы «Кавказский пленник»: Якубович предает Гранева черкесам, а черкешенка освобождает его. Все события, так или иначе, связаны с курортной жизнью на водах. Здесь и больные, жаждущие исцеления, и лекаря; и калмыцкие кибитки, в которых приезжие обитали за недостатком жилья; и излюбленные развлечения водяного общества – карточная игра и прогулки верхом к Бештау (cavalcade, как пишет об этом Пушкин).

Все изложенное напоминает сюжет лермонтовской «Княжны Мери», где соперничество двух героев, оспаривающих любовь хорошенькой московской

княжны, также оканчивается дуэлью и смертью одного из них. Подобное сходство обнаруживают и женские персонажи: княгиня Лиговская, как и Томская, – «женщина сорока пяти лет», которой прописаны горячие Ермоловские ванны. Ее дочь Мери (то есть Мария, Маша – как первоначально и у Пушкина) – молоденькая, стройная, наделенная магнетической силой глаз, в которых иногда блещет «самое восхитительное бешенство». У Лермонтова, правда, горцы никого на водах не похищают, но, тем не менее, ночная стычка Печорина с Грушницким и драгунским капитаном, закончившаяся криками и ружейной пальбой, спровоцировала в городе толки и о нападении черкесов.

Напомним читателю, что пушкинский замысел основан на реальных событиях: московская знакомая поэта Мария Ивановна Римская-Корсакова два сезона (1827 и 1828 гг.) провела на водах, с зимовкой в Ставрополе. Вместе с нею здесь побывали две дочери – Александра (предмет увлечения Пушкина в начале 1827 года) и Екатерина и сын Григорий (светский приятель поэта). Полагают, то именно Александра и явилась прототипом главной героини намеченного романа. О поездке Корсаковых на Кавказ Пушкин упомянул в письме к брату Льву, отправленном из Москвы в Тифлис 18 мая 1827 года: «Письмо мое доставит тебе М.И. Корсакова, чрезвычайно милая представительница Москвы. Приезжай на Кавказ и познакомься с нею – да прошу не влюбиться в дочь».

Летом 1828 года в Москве и Петербурге распространились слухи о нападении черкесов на посетителей вод. Так, А.Я. Булгаков писал брату в Петербург: «Слышал ли ты, что горцы сделали набег на всех ехавших от теплых вод на кислые. Тут попалась и М.И. Корсакова, которая была ограблена до рубашки...» Другие добавляли, что горцы «увели у нее дочь



и всех людей». Тут же звучали и литературные предположения, которыми Е.Н. Мещерская (дочь Н.М. Карамзина) спешила поделиться с П.А. Вяземским: «Слыхали вы о похищении М-ше Корсаковой каким-то черкесским князем? Об этом здесь рассказывают, но не думаю, чтобы этот слух стоил доверия. Вы об этом должны знать больше, находясь ближе к Кавказу. – Если б это была правда, какой прекрасный сюжет для Пушкина как поэта и как поклонника...» Трудно сказать, сколь сильно этот «прекрасный сюжет» повлиял на творческие планы Пушкина. По-видимому, драматический эпизод кавказского путешествия Корсаковых мог служить ему лишь отправной точкой в развитии курортного романа.

Теперь поведаем подробнее об одном, можно сказать, сюжетообразующем персонаже пушкинского замысла, обозначенном в черновых вариантах плана как Якубович или Кубович. Личное знакомство Пушкина с Александром Ивановичем Якубовичем продолжалось недолго – несколько месяцев в 1817 году в Петербурге, после чего тот был выслан на Кавказ за участие в нашумевшей «четверной» дуэли. Завадовский тогда застрелил Шереметева, в роли секундантов выступали соответственно Грибоедов и Якубович. По некоторым сведениям, пулю, извлеченную из тела убитого, Якубович показал Грибоедову и добавил: «Это для тебя». Их поединок состоялся через год, ноябрьским утром 1818 года в окрестностях Тифлиса. Грибоедов дал промах, а Якубович намеренно, как полагают, метил ему в руку, чтобы лишить удовольствия играть на рояле. Об этой ране Грибоедова Пушкин упомянул на страницах «Путешествия в Арзрум»: «Обезображенный труп его, бывший три дня игрилицем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею».

Воспитанник московского университетского пансиона, Якубович начал военную службу в лейб-гвардии Уланском полку. «Способный, – как пишут о нем, – на любые крайние подвиги личной отваги», он вскоре получил репутацию вспылчивого задиры и дуэлянта. О его жизни на Кавказе следовало бы написать приключенческую повесть. В звании штабс-капитана Нижегородского драгунского полка он командовал казачьими резервами, расположенными на реках Малке, Баксане и Чегеме. Известность его, добытая дерзкой удалью и кровью, долгие годы гремела в горах. «Слава о нем, – пишет военный историк В.А. Потто, – разнеслась по целому Кавказу, как между русскими, так и между горцами. Самые отважные наездники искали его дружбы, считая его безукоризненным джигитом... Влияние Якубовича в горах было огромно; одного имени его, предположения присутствия его, слуха о нем иногда достаточно было, чтобы удержать горцев от нападения на Кабардинскую линию. Впоследствии самая наружность его, с высоким челом, у самого виска пробитым черкесской пулей, и никогда не заживающей раной, прикрытой черной повязкой, производила впечатление на умы горцев».

С небольшим отрядом Якубович бесстрашно проникал в глухие ущелья, добираясь иногда до самого Эльбруса. Добытые трофеи, коней и овец всегда делил поровну между своей командой, себе не оставляя ничего. Имея в горах знатных кунаков, вызволял русских пленных, своих же пленников великодушно отпускал без всякого выкупа. Как видим, этот психологический абрис во многом совпадает с тем, что было намечено Пушкиным в его неосуществленном кавказском романе. Известен портрет Якубовича, выполненный поэтом по памяти. «Портрет Якубовича, – замечает современный исследователь, – сделан Пушкиным в альбоме его приятельниц Ушаковых



по возвращении из путешествия в Арзрум, вероятно, под впечатлением рассказов, слышанных поэтом на Кавказе, о приключениях Якубовича. Пушкин не видел его двенадцать лет, но выразительная внешность знаменитого бретера, героя бесчисленных приключений, воскресла в артистическом рисунке поэта. Пушкину не пришлось видеть Якубовича в повязке, он не знал, что тот ходил коротко остриженный, и нарисовал ему стоящие дыбом волосы, дополняющие его дикий взор и выражающие неукротимость его натуры».

Но бывал ли Якубович в Пятигорске? Ответ на этот вопрос можно получить из ведомостей посетителей Горячих вод в сезон 1821 года, где определенно указано, что прибывший из Тифлиса штабс-капитан Нижегородского драгунского полка А.И. Якубович останавливался в доме подполковника Толмачева.

Пробыв на Кавказе с 1818 по 1823 год, Якубович вернулся в Петербург. В событиях 14 декабря его роль до сих пор остается не проясненной до конца. «Образ Якубовича представляется неясным и противоречивым, – находит историк. – Нет единодушия по отношению к нему и среди самих декабристов: одни считали его искренним и пылким революционером, другие – хвастуном и бретером». Осужден он был по первому разряду, то есть на вечную каторгу, и окончил свои дни в Сибири.

На каторге Якубович с увлечением перечитывал кавказские повести Александра Бестужева и просил его передать привет прежним своим знакомцам. Страна дикой вольности и опасных приключений по-прежнему манила его. «Якубович благодарит тебя за поклон и приписку, – сообщал из Сибири Бестужеву брат Николай, велит сказать, что ему снится и видится Кавказ...»

г. Пятигорск

Провинция и столица

По страницам повествования
«Провинциалы»
Виктора Кустова

Читая романы-книги Виктора Кустова, объединенные общим названием «Провинциалы», я вдруг уловил себя на мысли, что это большое, в течение длительного периода создаваемое повествование Виктора Кустова открывает новые страницы в отечественной литературе. Особенно в познании той действительности, о которой признанные мэтры не догадывались либо не могли сказать правду в полный голос из-за бдительной цензуры да и сидевшего в них самих внутреннего охранителя.

Виктор Кустов нарисовал собирательный образ русского писателя и журналиста на сломе эпох, в годы героических и трагических испытаний своего народа. Главный герой Александр Жовнер, уроженец смоленского городка, буквально выдирается из глуши в большой мир. Переживая взлеты и падения, он осознает сложность социальной задачи и вместе с тем личное предназначение – быть



**ИВАН
ПОДСВИРОВ**

**Литературо-
ведение**





защитником справедливости и человеческого достоинства. Герой Кустова человек бывалый, в нем живет потребность сполна высказаться, излить и очистить свою душу. Его коллегам, родившимся в Москве и Санкт-Петербурге, было, конечно, легче пробиваться «в люди». Не мог он похвастаться и поддержкой столичных знакомых. Судьба распоряжается таким образом, что в поисках своего «я», квартиры и заработка Жовнер трудится во многих регионах страны – в Сибири, на Крайнем Севере, в Красноярском и Ставропольском краях. Повествование ведется изнутри народных масс и демократических слоев, от имени непосредственного свидетеля и участника перемен. Это не голос извне с заведомо осуждающей либо хвалебной интонацией. Выбрав себе труднейшую профессию, герой сам распахнул двери в широкий мир, изъездил всю страну. Несмотря на горечь неудач, он смотрит вокруг себя глазами неисправимого влюбленного романтика. А в это время его столичные ровесники устраиваются в центральных ведомствах, собкорами и дипломатами за рубежом – в Париже, Вене, Нью-Йорке...

Проза Виктора Кустова всем строем и целевой направленностью также резко контрастирует с уничижительными суждениями новомодных столичных литераторов о России и русских. Литературные сюжеты в «Провинциалах» вполне уживаются с сугубо журналистскими наблюдениями, историческими, философскими отступлениями и не вызывают диссонанса. Повествование многомерно, объемно. Происходит взаимное обогащение стилей, придающее убедительность, энергию и динамичность тому, о чем рассказывает автор. Вновь подчеркну существенную особенность этого произведения: сцены и события изображены отнюдь не посторонним, а непосредственным свидетелем и

участником перемен, проводимых «реформаторами». В книгах-романах наряду с местными властью имущими действуют московские властители и их зарубежные наставники, что значительно расширяет обзор повествования. В сложной ткани обнаруживаются кажущиеся неувязки, недомолвки, замаскированный подтекст, так что романы надо читать внимательно. Они вызывают ответные раздумья о времени и себе, заставляя переживать и размышлять вместе с автором. Повествование захватывает, и уже не хочется придирается к поспешным фразам, ибо они, эти фразы, рождались по горячим следам, с пылу, с жару, и передают дух времени, бескомпромиссного и жесткого.

Виктор Кустов искренне верит в благотворность демократических преобразований, сочувствует благородным труженикам и ненавидит корыстных приспособленцев. Его главный герой Александр Жовнер – живой, узнаваемый человек. В самоотверженной борьбе за справедливость он наживает себе врагов и единомышленников, влюбляется в женщин и во всё прекрасное, словом, горит, а не тлеет. Ничто человеческое ему не чуждо. Персонажи книг писателя, совершенно разные по воспитанию и происхождению, по социальному положению, из разных уголков страны и мира, – селяне и горожане, «стукачи» и новоиспеченные «вожди», строители, инженеры, туристы и бизнесмены, руководители коллективов, партийных и комсомольских организаций, случайные прохожие, обладатели переменчивых взглядов и настроений – это такое вавилонское столпотворение, и в нём каждый по-своему пытается выжить, осмыслить происходящее, как-то приноровиться к обстоятельствам.

В “Провинциалах” нашли достаточно подробное отражение детство и юность Жовнера, становление



будущего журналиста и писателя, картины «перестройки», погубившей страну и всё же открывшей дорогу свободе и гласности. Родился Саша в глухой провинции, в небольшом городке, затерянном между Смоленском и Витебском. Семья ютилась на окраине у деревянного мостка через ручей, впадающий в Двину. Выше, по течению ручья, стоял каменный мост, через него большак вёл на Невель. Здешней примечательностью были уцелевшие быки от большого моста, паромная переправа и разрушенный в войну собор на противоположном крутом берегу реки; мимо святого места быстро проходили люди, а старухи приостанавливались и поспешно крестились. При Хрущеве оставшиеся стены сравняли с землей, битый красно-красной кирпич вывезли, а спуск к переправе замостили булыжником.

Родители Саши трудились в леспромхозе. По утрам они расходились у деревянного мостка в разные стороны, мать шла в контору, отец торопился к узкоколейке и с лесорубами уезжал на дрезине в лес. А сын отправлялся в школу, стоявшую в привычном пространстве между мостком и переправой; там его встречала учительница Варвара Ефимовна, чем-то похожая на умершую бабушку Саши. И так изо дня в день, по замкнутому кругу. Но в этом круге, угнетавшем взрослых, были детские радости, не сравнимые с нынешним сидением в квартирах-клетках за компьютерами. Летом ребята купались, загорали, ходили в лес, зимой катались на коньках. Приучались пить вино, играть в карты, курить, целоваться и познавать тайны любви.

В такой вот обстановке, среди рабочей среды и окружающих лесов, воспитывался Сашка, формировался его характер. Вопреки грубоватым местным нравам, нередко граничившим с необъяснимой жестокостью, он выделялся врожденной интелли-

гентностью, начитанностью, любовью к матери, преданностью друзьям. Чувство справедливости было своеобразным протестом против бездушия и огрубелости окружающего мира. Представительницы прекрасного пола чувствовали в нём (поначалу неосознанно) некое превосходство над другими ровесниками, совестливость и особые, возвышенные свойства души. Оттого и тянулись к нему.

Пылкая влюбленность Сашки в заносчивую красавицу Катю Савину, сначала выказавшую предпочтение его рослому другу Вовке, затем полюбившую Сашку, стала первым уроком в отношениях с девушками. Пробудившееся впоследствии влечение к её подруге, менее яркой, но «правильной», умеющей ждать Наде Беликовой, платоническая тяга к другим школьницам говорят о непосредственности художественной природы героя, мечтающего об идеале и «синей птице». Постепенно и трудно происходит нравственное и физическое взросление. После на жизненном пути Жовнера возникнут иные, уже взрослые, умные и очаровательные женщины. Они будут любить его: одни преданно и страстно, другие расчетливо, эгоистически, пока через ошибки и заблуждения, умудренный опытом, он не сделает выбор на одной, единственной.

Реалии сурового городского и сельского быта, начиная с пятидесятых-шестидесятых годов, естественно отразятся на всем творчестве Жовнера-героя и писателя Виктора Кустова, как бы идущих рядом и помогающим друг другу в осмыслении действительности. Кому, если не им, рассказать о подлинной жизни в провинции? Столичные писатели, выросшие на гладеньком асфальте, тем более в пределах бульварного кольца, вряд ли поймут жизнь провинциальных обитателей, да им она и неинтересна. Обычно они представляют русскую



деревню и заштатные городки с точки зрения отдыхающих. Ничто их, кроме природы и, может, путевого флирта, не волнует. Жизнь аборигенов проходит за стеклом. Если столичные и соприкасаются с местными жителями, то видят их сквозь призму туристских впечатлений: просто занятные, колоритные типы, однако чужие, посторонние люди. Иное же дело, когда ты один из них. Посторонних для тебя нет, кругом все свои, родные – трудяги, пропойцы, праведники и мерзавцы. Их беды и радости тоже твои. Провинциальному писателю близок и очень важен каждый периферийный человек, памятен и трогателен воспоминания о людях минувшей поры.

Вот Жовнер вспоминает, как с рослым, спортивного склада другом Вовкой они катаются на льду Двины, соревнуясь между собой перед одноклассницами. Вовка щеголяет дутышами старшего брата, ушедшего служить в армию, у Сашки – старые «снегурочки».

«А дальше всё так быстро произошло, что сообразить ни он, ни Вовка не успели: всё вокруг затрещало, ноги разъехались, и вместе с поднимающейся вверх водой до макушки захлестнул страх, а ноги с коньками всё опускались и опускались, не встречая опоры, и Сашка стал цепляться руками за встающие торчком льдины, за Вовкину руку, но это лишь замедлило погружение, и наконец вода коснулась лица и накрыла его с головой. И только когда он ощутил дно под ногами, подпрыгнул, глотая воздух и пытаясь дотянуться до чего-то, чернеющего впереди, но валенки потянули назад, вода опять обожгла лицо, и снова пришлось отталкиваться... но на этот раз наверху его подхватила за ворот Вовкина рука, и он, прежде чем вновь уйти вниз, успел разглядеть Вовкин задранный над во-

дой подбородок и где-то далеко и размыто – сбегающих по тропинке парней, а еще выше мелькнули теперь уже не празднично сидящие, а напряженно замершие фигурки одноклассниц и застывшая вокруг них малышня».

Подобные случаи, когда мальчишек, да и взрослых, внезапно настигало несчастье, даже смерть, были нередки и воспринимались буднично, как природное течение жизни. Чего на свете не бывает, кто-то утонул в половодье, кто-то подорвался на немецкой mine, а Петруха-рыбак, фамилию которого никто в городке не помнил, однажды свалился с лодки, и тело его прибило волной возле мебельной фабрики. Люди опечалились и вспомнили: фамилия-то у него была – Тимошенко Петр Михайлович. Он служил пограничником, «война застала его чуть ли не в самом Бресте», а после победы появился он здесь в погонах капитана с орденами на груди Боевого Красного Знамени, Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». «Петруха-рыбак» жил неприметно и, кроме прозвища, ничем его не удостоили. Отдельно взятый человек находился вне поля зрения власти, вершившей большие дела строительства коммунизма...

Начальником сплавной конторы был Гордеев, в прошлом командир боевого катера, член КПСС. Его «сорвали с приличного места в Ленинграде» и временно прислали на Двину для организации сплавного коллектива. Дело он поставил умело, строго воспитывал и жучил подчиненных, на праздничных демонстрациях в морском кителе с боевыми орденами «неизменно шагал в первых рядах, вместе с руководителями города и иными героями фронта и тыла». С честью выполнив задание партии, Гордеев порывался вернуться обратно в Ленинград, к жене и дочери, но из-за этого



едва не лишился партбилета. Сухопутный моряк потерял интерес к работе, опустился, в одиночку запил и стал «пришибленным». Так что Мишка-маленький куролесил на территории как хотел, пока не пырнул финкой одного из латышей, схлопотав себе немалый срок. По словам Клавы, его отправили далеко за Урал.

* * *

В «Одиночном плавании» и в последующих книгах перемежаются, о чем упоминалось выше, две сюжетные линии – биография Виктора Кустова и судьба его персонажа – провинциального писателя Александра Жовнера. Их нельзя путать, но о сходстве тоже не стоит забывать. Первые литературные опыты Жовнера, конечно, были еще несовершенны, хотя в них пульсировала искренность, подоплывшее знание жизни. Жовнер нуждался в поддержке, и влиятельный, хотя и странный редактор студенческой газеты Черников вроде бы поддерживал его. Он был старше Жовнера, наверное, более чем на пятнадцать лет. В Москве печатал очерки и статьи, слыл диссидентом и фактически сбежал оттуда в Иркутск, где стал редактировать студенческую газету. Человек многоопытный, с убеждениями идеального «шестидесятника»... Сашка с трепетом неопита впитывал его советы. И вот Черников оказался в опале и в Иркутске, потом в тюрьме.

События развивались как в фантазмагорическом романе. Местные литературные вожди и ценители сами находились в тисках Агитпропа и, погруженные в соляную кислоту условностей и продиктованных свыше предписаний, отклоняли всё, что вызывало сомнения. У более смелой Москвы всё было разложено по рангу: выдающихся числить

в современных «классиках», менее выдающихся пускать по ведомству военных, рабочих, городских, деревенских, детских и прочих литераторов. Национальные авторы принадлежали к специальным когортам, за ними следовали первые, вторые и третьи очереди в сопровождении сопутствующих «обойм». В хвосте покорно плелись периферийные страдальцы. Забегая вперед, отмечу: Виктор Кустов (и Александр Жовнер) были русскими писателями и публицистами из «глубинки». Их творчество на литературных семинарах, редколлегиях газет и журналов похваливали, но оно же и настораживало перестраховщиков, в виду чего печатание прозы в центральных издательствах откладывалось до той поры, пока молодые «созреют». Не думаю, что об этих хитростях догадывались Кустов и его условный двойник Жовнер. И хорошо, что не догадывались. Иначе бы рисковали потерять веру в себя. Но они продолжали упорно писать и лелеяли надежду выбиться в заметный ряд, подтвердить свою талантливость. Пожалуй, это и спасло обоих.

На страницах книг пёстро мелькают имена Сашкиных друзей и знакомцев, просто попутчиков. Таков срез жизни, трудно подчиняющейся литературным канонам. Многие персонажи, в том числе мимолетные, возникнут и в следующих книгах повествования, об одних будет рассказано обстоятельно, другие вспорхнут, как бабочки, и навсегда исчезнут. Так и бывает в повседневности. С некоторыми знакомцами мы встретимся уже во взрослой жизни Александра Жовнера, на разных социальных уровнях. Появятся и новые персонажи, что тоже закономерно. Перед нами земляческое, клановое, профессиональное, карьерное, нравственное размежевание, распад прежних связей и вместе с тем, на фоне утрат и смуты, объединение по интересам и интеллекту, по



родственным и корпоративным связям, по силе памяти прошлого. Что бы ни совершалось в обществе, писатель горячо отстаивает излюбленную мысль о необходимости всегда оставаться людьми, непосредственными и влюбленными, как в детстве. Любовь для Жовнера – высшая ценность. Он отвергает рациональные плотские отношения, не одухотворенные чувством обожания и восхищения. Отвергает, наверное, и потому, что посмотрелся в юности на физические проявления инстинктов и рано понял, к чему ведет необузданность плоти без любви.

* * *

В семидесятые годы наряду с раскрепощением мысли происходило и раскрепощение нравов. В студенческой среде бурлят всякие страсти. Сашка – порождение общества. Он влюбчив, добр, открыт добру, красоте и посторонним влияниям. Вокруг него интеллектуалки и красотики – Зульфия, Нелли, Даша, Елена Жданова, Виолетта... С иными из них, не заботясь о последствиях, он вступает в близкие отношения. Перед нами пока рефлексирующий персонаж, в чем-то напоминающий героев Вампилова. Сашка тоже начал вращаться в той же фрондирующей среде, что и Вампилов, увлекся литературой, стал пробовать писать рассказы, театральные рецензии, заметки. Опекает молодые дарования благодетель и наставник Борис Иванович Черников, приехавший из Москвы. Пописывая «стишки», он сблизился с творческой «неполитизированной молодежью», к которой принадлежали уже заявившие о себе Вампилов и Распутин. У коммуникабельного Черникова обширные связи, его избрали в комитет комсомола института, и он был утвержден редактором студенческой многотиражки.

Попутно с увлечением красивыми девушками и литературой у Сашки проявилась потребность в изучении специальности нефтяника, основ истории и философии. На семинарах и в общении бесконечно ведутся разговоры о техническом прогрессе и будущем России (книга «Уроки истории»). Продвинутая подружка Сашки, москвичка Нелли снисходительно растолковывает провинциалам: в мире существует два исторических пути – капитализм и социализм, и она не уверена, что по закону исторического развития человечество изберет коммунизм с устаревшими идеями марксизма-ленинизма. Слушая экстравагантную подружку, Сашка изнывал от любви и удивления необычностью её суждений. Однажды Нелли с тонкой издёвкой сказала: «Сибирь у нас осваивается исключительно романтиками. Они живут во имя будущих поколений, детей и внуков... И ради них вырубают тайгу, строят вредный для Байкала целлюлозный комбинат».

Дискуссии и споры о том, каким будет советское общество и государство через двадцать лет, когда они станут солидными людьми, шли постоянно, и каждый старался угадать личную судьбу в исторической перспективе:

«У Ромы это был хороший заработок, которого хватило бы на удовлетворение всех желаний, «Волга», четырехкомнатная квартира, дача в хорошем месте с видом на море...»

У Вовы – высокая должность, на которой он мог бы много сделать для людей. («Секретарем ЦэКа Украины станешь?») – «Может, и стану». – «Тогда точно сделаешь. Только для кого...» – это Нелли свою ложку дегтя).

... А у Сашки никакого видения своего будущего не было, разве что хотелось как можно больше узнать и понять... И еще – попутешествовать по миру.



Они вели себя как тундровые петушки по весне, состязаясь друг с другом в интеллектуальной беседе и безоговорочно признавая арбитром Нелли. А она одаривала своей благосклонностью то одного, то другого, то третьего...»

В «Провинциалах» возникает много недоговорок, понятных только вдумчивому читателю. Повествовательный метод Кустова, неспешный и подробный, тем и хорош, что позволяет взглянуть на ситуацию непредвзято, со всех сторон, обдумать вроде бы несущественные детали. Через два дня в кабинете секретаря парткома Черников подал заявление об увольнении и выходе из партии, сдал комнату в общежитии. На первых порах устроился топником в котельной и оборудовал себе у теплых труб комнатку. Пока он мыкался в поисках угла и работы, секретарь комитета комсомола «приторно-тихий» Замшеев пригласил Жовнера в кабинет, где сидел некий Барышников, «куратор». Тот отвел Александра в другой корпус, в потайную комнату, и попросил его рассказать всё о Черникове. Барышников сказал: «Я знаю, что ты с ним встречаешься. Я должен знать, о чём вы беседуете, кто еще общается с ним, какие книги он читает, что пишет?.. Не стесняйся, бери у него почитать, приноси мне, вместе обсудим. И вообще заглядывай... Хотя бы раз в две недели в этот кабинет».

Наступили времена, которые одни называют «губительными», другие – «поющей революцией». Кустов избегает одностороннего определения, подробно фиксируя, с какой головокружительной быстротой в период правления Горбачева и Ельцина меняются судьбы знакомых ему людей. Выдви-

женцы перестройки, недавно клеймившие волюнтаризм Хрущева, в пору объявленной «гласности» сами поступают как заядлые волонтеры, отесняя неугодных и захватывая ключевые места во властных структурах.

Кустов показывает парадоксы нового времени с его невероятными карьерными возвышениями и падениями. Вот, например, Глеб Пабловский, давний знакомец Черникова, в прошлом «худенький юноша с поразительно умными мыслями и отчаянной решимостью». Он видная персона, служит в команде Ельцина. Через много лет встретившись с Черниковым, намерен лично представить Бориса Ивановича президенту, которому нужны «умные головы». Заветные мысли Глеб излагает запальчиво: «...отныне, без коммунистов, россияне будут жить, как весь цивилизованный мир».

В следующий раз Пабловский «прикатил под вечер на служебной «Волге», уверенный и преисполненный понимания своей значимости, из вместительного дипломата вытащил бутылку французского коньяка, баночку черной икры с этикеткой на английском языке, сервелат, сыр, пару банок шпрот, пару лимонов, коробку шоколадных конфет. Быстро сообразил импровизированный стол, болтая о пустяках, погоде, скандалах московских знаменитостей, о просыпающемся энтузиазме народа «от Москвы до самых до окраин», избавляющегося от гнета коммунистов, заставил выпить и похвалить действительно неплохой коньяк и только после этого перешел к делу».

Другой характерный типаж – Михаил Никифорович Полторанин, вице-премьер, министр печати и информации, – «плотный пожилой мужчина с озабоченным выражением добродушного лица». Взваливший на свои плечи непомерную власть, бывший



сборкор «Правды» тяготился высоким назначением и рутинной работой, в то же время было видно, что он гордится выпавшей ему честью заново перекроить прессу и страну. Оттого с виду суров, немногословен, в принимаемых решениях непредсказуем и властен. Он проникся душой к провинциалу Жовнеру и по его просьбе тут же распорядился выделить бумагу для газеты краевого Народного фронта. Дабы придать ей общероссийскую значимость, предложил включить в состав учредителей министерство печати.

Так, сходу, по наитию вершились государственные дела. Писатель изображает изнутри процесс утверждения новой власти. В моменты социального воодушевления иные «счастливицы», как по мановению волшебной палочки, взлетали на вершины и становились либо талантливыми управленцами, либо никчемными чиновниками и ворами. При Ельцине не всем удалось сохранить хотя бы относительную порядочность. Позднее прозрение пришло к ближнему соратнику президента Полторанину. На презентации своей книги «Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса (М., Алгоритм», 2010) Михаил Никифорович покаянно заметил, что вместе с новыми порядками был создан «страшный монстр, с которым уже ничего не могут поделать, даже искренне пытаясь что-то изменить в лучшую сторону».

В отличие от своих покровителей Александр Жовнер не собирался делать чиновничью карьеру. Сердце смолоду не лежало у него к бездумному накопительству денег и материальных благ. «Он вынужден был согласиться с тем, что относится к прослойке интеллигенции, в которую входили Черников, Булавин, Красавин, Ставинский, Кучерлаев, его тесть», хотя и отличался от них.

Александр верил в честное публичное слово, в исцеление человека любовью и правдой, всецело полагаясь на данный ему свыше талант. Под всякими предложениями, но именно за это недоброжелатели устраивали ему подножки, писали доносы. Слово уберегало и спасало его, спасает и доныне.

«Настоящее взросление» пришло к нему со смертью матери. «Мать умерла скоропостижно, неожиданно, хотя болела долго. Умерла, когда поверила, что еще поживет, и эта вера перед переходом в мир иной особенно потрясла Жовнера, как затем и отпевание в церкви, в которой он до этого был лишь несколько раз: в далеком и уже забытом детстве, когда его тайно крестили в соседнем с тем, где они жили, городе, чтобы никто не узнал (покойный дед – убежденный большевик, отец – коммунист), и крещеный, но без крестика, он прожил до сорока лет. <...> Мать ушла туда маленькой, беззащитной, пострадавшей в жизни. Но светлой. И всё равно ему было горько».

Так же, как Черников и Красавин, Александр Жовнер хочет понять, что же случилось со старшими поколениями, их детьми и внуками, с нашей страной:

«Жовнер считал, что его поколение инфантильно.

...Может, оттого, что родители очень были заняты созиданием, у них не оставалось времени, чтобы понять, чем живут их дети. А может быть, вынужденные сами рано распрощаться с детством, они хотели, чтобы их дети доиграли, допережили за них то, что не было дано в полной мере им, и поэтому не требовали раннего взросления...»

Совершенно иной, чем прежде, взгляд главного героя и на свою изматывающую работу в газетах.



Раньше он различал их по значимости и уровню мастерства, теперь же они представлялись ему на одно лицо. Прав был коллега Булавин, говоривший, что все газеты «как одноклеточные близнецы». Везде зависть, таланты не выдерживают. Жовнер полагает, что он был невольным посредником и даже соглядатаем между властью и народом, читавшим газеты. «Отстранившись от привычного дела, он вдруг понял, что в профессии, которую когда-то выбрал из-за относительной свободы от общественных связей и надуманных обязательств» фактически «все эти годы был, с одной стороны, соглядатаем, засланным властью, партией в народ, для того чтобы подглядывать, выслушивать, доносить, с другой – долгожданным слушателем для тех, кем эта власть управляла. И что ему, как соглядатаю, никто и никогда до конца не говорил правды».

Когда Виктор Кустов приступит к повествованию о попытках своего героя опубликовать более-менее серьезные произведения в центральных журналах, это окажется хлопотным, заранее обреченным предприятием. Столичная «элита» приторно возрадуется провинциальному автору, обласкает, журналистские вещи напечатает. Однако повести и рассказы отложит, обольстит обещаниями, выпроводит за порог и тут же забудет. В Москве в разных сферах культуры и искусства давно сложились недосыгаемые когорты «гениев» и «талантов», мэтров и прислужников, воспитанных в циничном пренебрежении к провинциалам. Сквозь плотную заградительную стену не пробиться нынешнему периферийному таланту. Допускается быть только подносчиком блюд, униженным поклонником «избранных». Вампилов – исключение, поколебавшее негласные правила. Но когда это

было? В двадцатом веке, унесшем остатки человечности. В начале нынешнего века что-то не видно вампиловых.

* * *

Все мы свидетели разразившейся катастрофы, породившей неустойчивость мира. «Крещеный, но без крестика» Жовнер, как и большинство представителей его поколения, прожил невоцерковленным до сорока лет. Смерть матери потрясла его, и на отпевании в церкви он душой обратился к Богу. Это еще не покаяние, но шаг к нему, духовное «взросление» при озарении, что на пороге иного мира, перед Господом и вечностью все равны. Истинная вера избавляет от житейской суеты и пороков, возвышая человека божественной любовью к ближним своим, кем бы они ни были, и отрадным чувством всепрощения..

Пятый роман “Время понимать” именно об этом. Это осмысление главным героем: откуда и куда пришла страна, общество, он сам. Все также продолжают действовать Черников и Красавин, хотя им уже немало лет. Черников на своей родине на Дальнем Востоке. Красавин – на Северном Кавказе. Некогда мечтавшие о лучшем обществе, бывшие в числе первых демократов, они, разочаровавшись, ищут опору в том, что вечно. И не успокаиваются, противостоят злу. Этот роман именно о понимании смысла жизни.

Какие бы претензии не предъявлялись к персонажам Кустова – положительным, отрицательным, переменчивым, как погода, – удивительно, что все они вызывают у нас сопереживание и сочувствие. Вероятно, секрет в искреннем тоне повествования. «Провинциалы» одухотворены ве-



рой в человека, в возможность его преобразиться, начать жить заново, по совести. В этом – мудрость и в этом же – прощение и спасение. Не потому ли отпетые негодяи, кляузники, точно тени, скользят в романах-книгах мимо, не погружая читателей в грязь и безысходность?

В завершение открою секрет: поначалу я читал «Провинциалов» с некоторым предубеждением. Но по мере чтения не заметил, что повествование взволновало и захватило меня новизной осмысления прожитого. И подумалось: в отечественную литературу пришли авторы, которым в начале перемен было всего двадцать пять, тридцать лет. А сейчас это зрелые люди сорока, пятидесятилетнего возраста. Виктор Кустов говорит от имени своего поколения, и таких, как он, писателей, прошедших сложный путь становления, много в провинции. Они талантливы, у них добротный русский язык, хорошее знание жизни, свое выстраданное отношение ко всему. С живым явлением нельзя не считаться. Провинциальных литераторов люди знают и чтят на местах, но в стране из-за искусственных барьеров они почти неизвестны.

Москва все время ищет и почему-то не находит национальную идею, которая бы помогла объединить народы России. Мне кажется, надо сделать небольшое усилие – хотя бы внимательно прочесть провинциальные издания и книги. Удивиться знакомству и дать дорогу в столичные издательства и журналы одаренным авторам Центральной России, Сибири, Урала, Кавказа, других регионов – и национальная идея сама собой оформится.

Сведения об авторах

Бродовский (Петросян) Валерий Давидович. Родился в Украине. Окончил Ставропольский медицинский институт. Автор трех книг прозы. Печатался в периодических изданиях, в нашем альманахе. Работает врачом. Живет в Ставрополе.

Бударин Владислав Пантелеевич. Родился в 1947 году в Ставрополе. Прошел большой трудовой путь, освоив многие профессии. Член Союза писателей России. Автор четырех поэтических книг. Живет в г. Минеральные Воды.

Иванова Елена Львовна. Родилась на Брянщине. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в газетах, на телевидении. Автор многих сборников стихотворений. Член Союза писателей СССР и России. Лауреат премии губернатора Ставропольского края. Живет в Ставрополе.

Кругов Алексей Иванович. Родился в 1959 году в Перми. Окончил Ставропольский педагогический институт и Институт российской истории РАН. Автор монографий, учебников и учебных пособий, публикаций по вопросам аграрной истории и краеведению. Живет в Ставрополе.

Маркелов Николай Васильевич. Родился в 1947 году. Окончил филологический факультет МГУ. Автор многих книг и публикаций, посвященных истории Кавказа и связанных с ним выдающихся соотечественников. Член Союза писателей России. Лауреат престижных литературных премий. Награжден Золотой медалью Международного фонда имени Лермонтова. Живет в Пятигорске.

Мельник-Халимонова Алла Владимировна. Родилась в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончила Новосибирскую консерваторию. Автор многих поэтических сборников. Член Союза писа-



телей России. Плодотворно занимается просветительской духовной деятельностью. Живет в Ставрополе.

Подсвилов Иван Григорьевич. Родился в 1939 году в станице Кардоникской Ставропольского края. Окончил Минераловодское железнодорожное училище и факультет журналистики МГУ. Работал в газетах, ответственным секретарем Орловской писательской организации. Лауреат Пушкинской и Чеховской премий. Член Союза писателей России. Живет в Кисловодске.

Скрипаль Сергей Владимирович. Родился в 1960 году в г. Темиртау Казахской ССР. Окончил Ставропольский педагогический институт. Учительствовал. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане, отмечен правительственными наградами. Автор нескольких книг прозы. Лауреат премии губернатора СК им. А. Губина. В течение последних лет работает в газете «Ставропольская правда». Член Союза писателей России. Живет в Ставрополе

Сургучев Илья Дмитриевич. (1881–1956). Выдающийся русский писатель, драматург, публицист. Родился в ставропольской купеческой семье. Первый рассказ опубликовал в 1906 году в «Журнале для всех». Большой успех и известность в стране принесли роман «Губернатор» и пьеса «Осенние скрипки», поставившие его в один ряд с классиками отечественной словесности. Нынешняя публикация романа «Ротонда» – это фактически первое знакомство российского читателя с замечательным произведением нашего земляка.